ФРАНЦ

КАФКА

ПРОЦЕСС



MILLENNIUM

Процесс
Франц Кафка

Аннотация
Франц Кафка. ПРОЦЕСС
Глава первая. АРЕСТ. РАЗГОВОР С ФРАУ ГРУБАХ, ЗАТЕМ — С ФРЕЙЛЕЙН БЮРСТНЕР
Глава вторая. ПЕРВОЕ СЛУШАНИЕ
Глава третья. В ПУСТОМ ЗАЛЕ СУДА. СТУДЕНТ. КАНЦЕЛЯРИИ
Глава четвертая. ПОДРУГА ФРЕЙЛЕЙН БЮРСТНЕР
Глава пятая. КАРАТЕЛЬ
Глава шестая. ДЯДЯ. ЛЕНИ
Глава седьмая. АДВОКАТ. ФАБРИКАНТ. ХУДОЖНИК
Глава восьмая. КОММЕРСАНТ БЛОК. УВОЛЬНЕНИЕ АДВОКАТА
Глава девятая. В СОБОРЕ
Глава десятая. ФИНАЛ
Приложения
Неоконченные главы
Теодор Адорно. ЗАМЕТКИ О КАФКЕ
Герберт Ноткин. ПРИМЕЧАНИЯ

Аннотация

В третий том собрания сочинений Франца Кафки (1883–1924) вошел его роман «Процесс». В качестве приложения к тому публикуются впервые переведенные на русский язык черновые редакции романа и статья Т. Адорио «Заметки о Кафке».

Франц Кафка
ПРОЦЕСС

Глава первая
АРЕСТ. РАЗГОВОР С ФРАУ ГРУБАХ, ЗАТЕМ — С ФРЕЙЛЕЙН БЮРСТНЕР

По-видимому, кто-то написал на Йозефа К. донос, поскольку однажды утром он был арестован, хотя ничего противозаконного не совершил. Каждый день, около восьми часов утра, кухарка его квартирной хозяйки, госпожи Грубах, приносила ему завтрак, но в этот день она не появилась. Такого прежде никогда не случалось. К. еще некоторое время подождал, глядя с подушки на старуху, которая жила напротив, окно в окно, и сейчас наблюдала за ним с каким-то совершенно необычным для нее интересом, но затем, испытывая одновременно неприятное удивление и голод, дернул шнурок сонетки. Тут же раздался стук в дверь, и в комнату вошел мужчина, которого К. в этой квартире никогда не видел. Мужчина был высок и в то же время крепко скроен; одет он был во что-то черное, в обтяжку, напоминавшее походную форму с разными кармашками, застежками, кнопками и ремнем, отчего эта одежда выглядела особенно практичной, хотя и не было

вполне ясно, зачем все это нужно.

— Вы кто? — спросил К., приподнимаясь с подушки.

Но мужчина не обратил на этот вопрос внимания и, как бы давая понять, что с его появлением придется смириться, просто задал встречный вопрос:

— Звонили?

— Мне Анна должна принести завтрак, — сказал К. и попытался, для начала молча, посредством наблюдения и размышления установить, кто такой, собственно, этот человек. Но тот не долго позволял себя разглядывать и, повернувшись к двери, которую слегка приоткрыл, сказал, обращаясь к кому-то, видимо, стоящему прямо за дверью: «Хочет, чтобы Анна принесла ему завтрак». В ответ в соседней комнате засмеялись, но трудно было понять, один там человек или несколько. Очевидно, незнакомец тоже не узнал ничего такого, чего не знал раньше, однако же повернулся к К., произнеся тоном официального уведомления:

— Это невозможно.

— Что-то новенькое, — сказал К., соскакивая с кровати и поспешно натягивая брюки. — Но я все же хочу знать, что там за люди в соседней

комнате и каким образом фрау Грубах намерена ответить мне за это беспокойство.

Ему, правда, тут же подумалось, что не надо было ему говорить это вслух и что он этим в каком-то смысле признавал за незнакомцем некое право надзора, но сейчас это показалось ему неважным. Между тем незнакомец именно так это и воспринял, поскольку сказал:

— Не соизволите ли остаться здесь?

— Не соизволю ни оставаться здесь, ни выслушивать ваши вопросы, пока вы мне не представитесь.

— Вам же хуже, — заметил незнакомец и сам непринужденно распахнул дверь.

В соседней комнате, куда К. вошел медленнее, чем хотел, на первый взгляд все выглядело точно так же, как и накануне вечером. Это была комната фрау Грубах; возможно, в этой перегруженной мебелью, салфетками, фарфором и фотографиями комнате сегодня было чуточку больше пространства, чем обычно, — сразу это трудно было определить, тем более что главную перемену составляло присутствие человека, сидевшего у раскрытого окна с книгой в руках, от которой он теперь поднял глаза.

— Вы должны были оставаться в вашей комна-

те! Вам разве Франц не сказал?

— Да, а в чем, собственно, дело? — сказал К., переводя взгляд с этого нового знакомца на того, названного Францем, который остался в дверях, и затем — обратно.

В открытом окне вновь замаячила та же карга, с неистовым старческим любопытством перешедшая теперь к окну напротив этого, чтобы и дальше все видеть.

— Я все же хочу, чтобы фрау Грубах… — сказал К., сделав такое движение, словно вырывался из рук этих двоих, которые, вообще-то, держались на расстоянии, и хотел идти дальше.

— Нет, — сказал человек у окна, бросая книгу на столик и вставая, — покидать помещение нельзя, вы ведь арестованы.

— Похоже на то, — сказал К. и потом спросил: — Но за что же?

— Мы не уполномочены вам это сообщать. Идите в вашу комнату и ждите. Раз уж дело возбуждено, значит, в свое время все узнаете. Я выхожу за рамки моего задания, разговаривая с вами в таком дружеском тоне, но я надеюсь, что об этом никто не будет знать, кроме Франца, который и сам с вами любезен в нарушение всех предписаний. Если вам и дальше будет так же

везти, как при назначении вашей охраны, то вам не о чем беспокоиться.

К. захотелось сесть, но, как он теперь увидел, во всей комнате сесть можно было только в кресло у окна.

— Вы еще поймете, как это все правильно, — сказал Франц и подошел к К.; одновременно оказался рядом и второй. Этот второй, особенно сильно возвышаясь над К., то и дело похлопывал его по плечу. Оба пощупали пижамную куртку К. и сказали, что пижама, которую ему теперь придется надеть, будет значительно хуже, но они могут сохранить и эту пижаму, и остальное белье, а если вдруг его дело закончится благополучно, то они ему все отдадут обратно.

— Будет лучше, — говорили они, — если вы отдадите ваши вещи нам, а не в сохранку, потому что сохраняющие все-таки воруют и к тому же через определенное время из сохранки все вещи распродают, не обращая внимания, закрыто уже соответствующее дело или нет. А ведь процессы вроде этого тянутся ой как долго, особенно в последнее время. Вы, конечно, в конце концов получите компенсацию, но эта компенсация, во-первых, уже сама по себе ничтожная, потому что при распродаже решает не то, сколько дают за

вещь, а то, сколько дают на лапу, и во-вторых, как показывает опыт, все эти компенсации, переходя из рук в руки, год от году уменьшаются.

К. их почти не слушал, право распоряжаться своими вещами, которое за ним, по-видимому, еще сохранялось, он ценил не очень высоко, куда важнее для него было ясно понять свое положение, но в присутствии этих людей он даже не мог толком сосредоточиться: живот второго охранника — это ведь и могли быть только охранники — то и дело прямо-таки приятельским образом подпихивал его, а когда он поднимал голову, он видел совершенно не подходящее к этому толстому телу сухое, костистое лицо с большим свернутым набок носом, которое было обращено не к нему, а ко второму охраннику: они переглядывались у него над головой. Так что же это все-таки за люди? О чем они говорят? Из каких они органов? В конце концов, К. живет в правовом государстве, где повсеместно царит мир и все законы сохраняют свою законную силу, — кто смеет набрасываться на него в его доме? Он всегда был склонен относиться к жизни так легко, как только возможно, в худшее он начинал верить лишь тогда, когда худшее уже случалось, и о будущем не заботился, даже когда все вокруг

грозило рухнуть. Но сейчас ему показалось, что такое отношение было бы неправильным; и хотя на все это можно было смотреть как на шутку, как на грубую шутку, которую по неизвестным причинам подстроили сослуживцы из банка, — может быть, потому, что у него сегодня день рождения и ему исполнилось тридцать лет, такая возможность, естественно, была, может быть, нужно было только каким-то образом рассмеяться в лицо этим охранникам, и они рассмеялись бы вместе с ним, может быть, это посыльные из угловой лавочки, с виду не так уж непохожи, — тем не менее в этот раз он буквально с первого взгляда на охранника Франца решил не выпускать из рук даже самого микроскопического преимущества, которое у него, может быть, есть перед этими людьми. И если бы даже потом сказали, что он не понимает шуток, то такой уж большой опасности К. в этом не видел, но зато он вспомнил — хотя, вообще-то, не имел привычки учиться на своих ошибках — некоторые, сами по себе незначительные, случаи, когда он, в отличие от своих хорошо соображавших друзей, поступал опрометчиво, нисколько не задумываясь о возможных последствиях, за что и бывал в итоге наказан. Такого не должно было повториться, по

крайней мере — не в этот раз; если это комедия, он тоже сыграет роль.

Пока что он еще свободен.

— Позвольте, — сказал он и, пройдя между охранниками, поспешил в свою комнату.

«Похоже, дошло», — услышал он за своей спиной. У себя в комнате он сразу кинулся к письменному столу и начал выдвигать ящики, там все было сложено в большом порядке, но как раз нужных документов он, волнуясь, не мог сразу найти. Наконец он нашел свои велосипедные права и уже хотел идти с ними к охранникам, но затем документ показался ему слишком незначительным, и он продолжал поиски, пока не нашел свидетельство о рождении. Он возвратился в соседнюю комнату, и как раз в этот момент отворилась дверь в противоположной стене, и на пороге возникла, собираясь войти, фрау Грубах. Она появилась лишь на миг, и стоило только К. ее узнать, как она, очевидно, смутившись, извинилась и исчезла, чрезвычайно бережно закрыв за собой дверь. «Да войдите же», — вот и все, что К. мог в этот миг сказать. Но теперь он застыл посреди комнаты со своими бумагами в руках, все еще глядя на дверь, которая больше не хотела открываться, и вспугнул его только окрик охран-

ников; они сидели за столиком у раскрытого окна и, как теперь К. разглядел, поедали его завтрак.

— Почему она не вошла? — спросил он.

— Ей нельзя, — сказал высокий охранник, — вы же арестованный.

— Как это я могу быть арестован? Да еще таким вот образом?

— Опять, значит, начинаете, — сказал охранник, обмакивая хлеб с маслом в баночку с медом. — На такие вопросы мы не отвечаем.

— Вам придется на них ответить, — сказал К. — Вот мои документы, а теперь предъявите мне ваши, но прежде всего — ордер на арест.

— О Господи! — сказал охранник. — Вы, похоже, никак не свыкнетесь с вашим положением и только стараетесь нас разозлить, а ведь мы сейчас, наверное, самые близкие вам люди на свете; зря вы это!

— Это так, вы уж поверьте, — сказал Франц и, задержав на полпути руку с кофейной чашкой, которую нес ко рту, посмотрел на К. долгим, быть может, многозначительным, но непонятным взглядом.

К. невольно вступил с Францем в некий разговор взглядами, но затем все же хлопнул рукой по своим бумагам и сказал:

— Вот мои законные документы.

— Да на кой они нам сдались? — уже закричал высокий охранник. — Вы ведете себя, как ребенок, и только усугубляете. Чего вы добиваетесь? Вы что думаете, что такое большое дело, как ваш чертов процесс, быстрее закончится, если вы с нами, с охраной, будете спорить о законности и ордерах на арест? Мы кто? Мы — низовые сотрудники, вообще почти ничего не смыслим в документах и к вашему делу никакого отношения не имеем, просто нам платят за то, чтобы мы по десять часов в день вас сторожили. Вот и все, и больше мы никто, но при этом мы способны понимать, что те серьезные органы, в которых мы служим, прежде чем издать постановление о каком-то таком аресте, очень тщательно разрабатывают основания для этого ареста и личность арестованного. Ошибок тут не бывает. Наши органы, насколько я их знаю, а я знаю только самые нижние этажи, вовсе не занимаются какими-то там поисками виновных, но вина, как это и прописано в законе, сама притягивает их, и приходится высылать нас, охранников. Таков закон. И где тут может быть какая-то ошибка?

— Я не знаю такого закона.

— Тем хуже для вас, — сказал охранник.

— И не исключено, что он действует только в ваших головах, — К. хотел как-то проникнуть в мысли охранников, повернуть их в свою пользу или уцепиться за них. Но охранник спорить не стал, сказав лишь:

— Вы еще почувствуете, как он действует.

Тут вмешался Франц:

— Смотри, Виллем, сам признает, что не знает закона, и при этом утверждает, что невиновен.

— Ты совершенно прав, — сказал второй, — но до него же ничего не доходит.

К. больше не отвечал; кому это нужно, думал он, еще больше заморочивать себе голову, общаясь тут с нижними органами — сами признались, что они оттуда. Не все ли равно, что́ они говорят о вещах, в которых просто ничего не понимают. И такая их уверенность возможна только при их глупости. Несколько слов с человеком моего уровня прояснят все несравненно лучше, чем самые долгие разговоры с этими. Он несколько раз прошелся взад-вперед по остававшейся свободной части комнаты; старуха на той стороне притащила к окну деда, который был еще вдвое старше ее, и держала его, обхватив руками. Это представление надо было заканчивать.

— Отведите меня к вашему начальнику, — ска-

зал К.

— Не раньше, чем он этого захочет, — сказал охранник, которого назвали Виллемом. — А теперь я вам советую, — прибавил он, — пойти в свою комнату, вести себя тихо и ждать, какие на ваш счет будут распоряжения. Мы вам советуем не отвлекаться на бесполезные мысли, а собраться: вам будут предъявлены серьезные претензии. Вы не проявили к нам такого отношения, какого заслуживала наша любезность; вы забыли, что уж кто бы мы ни были, но по крайней мере сейчас, в сравнении с вами, мы свободные люди, а это немалое преимущество. Тем не менее мы готовы, — если у вас есть деньги, — принести вам легкий завтрак из кафе напротив.

К. некоторое время стоял молча, не отвечая на это предложение. Может быть, если он откроет дверь в следующую комнату или даже дверь в прихожую, эти двое просто не посмеют его удерживать, может быть, если довести дело до крайностей, все разрешится самым простым образом. Но ведь может быть и так, что они его все же схватят, а уж после такого унижения будут потеряны и все его преимущества по отношению к ним, которые он в определенном смысле все-таки сейчас еще сохранял. Поэтому он предпочел

определенность такого решения, к которому должен был привести естественный ход вещей, и вернулся в свою комнату, причем ни с его стороны, ни со стороны охранников не было больше произнесено ни слова.

Он упал на кровать и взял с умывального столика красивое яблоко, которое он с вечера припас на завтрак. Теперь это и был весь его завтрак, но, как он уверил себя, откусив первый, большой кусок, уж во всяком случае — лучший, чем завтрак из грязного ночного кафе, который он мог бы получить в виде поблажки от этих охранников. Он чувствовал себя спокойно и уверенно; хотя половину рабочего дня он сегодня будет отсутствовать в банке, но при том сравнительно высоком положении, которое он там занимает, это ему легко простят. Следует ли приводить в оправдание действительные причины? Он собирался так и поступить. А если ему не поверят, что в данном случае было бы вполне естественно, он может призвать в свидетели фрау Грубах или же обоих этих стариков с той стороны, которые сейчас, наверное, находятся на марше от того окна к этому. Удивительно было — по крайней мере, если следовать логике охранников, это было удивительно, — что они загнали его в его комнату и

оставили одного, а ведь у него здесь десятки возможностей покончить с собой. Впрочем, он тут же спросил себя, на этот раз следуя своей логике, из-за чего? какие у него могли бы быть причины это сделать? Может быть, из-за того, что эти двое засели в соседней комнате и перехватили его завтрак? Это было настолько нелепо — кончать с собой, — что если бы даже он и захотел, он не смог бы совершить подобной нелепости. И, не будь ограниченность охранников столь явной, можно было бы предположить, что и они так же убеждены в этом, потому и оставили его без надзора, не видя тут никакой опасности. Но вот сейчас они могли бы увидеть, если бы хотели, как он идет к стенному шкафчику, в котором у него стоит бутылочка хорошего шнапса, как для начала он опрокидывает стопочку в качестве замены завтраку, а потом и вторую — для того, чтобы укрепиться духом; последнее — просто на всякий случай, на тот невероятный случай, если бы оказалось, что это нужно было сделать.

Окрик из соседней комнаты так испугал его, что у него зубы клацнули о стекло; «К надзирателю!» — так он звучал. Его испугал только крик — короткий, отрывистый военный окрик, которого он никак не ожидал от этого охранника Франца.

А сам приказ он очень одобрял. «Наконец-то!» — крикнул он в ответ, запер шкафчик и сразу поспешил в соседнюю комнату. Там стояли эти два охранника, и они, так, словно это было само собой разумеющимся, погнали его назад.

— Вы в своем уме? — кричали они. — Вы собираетесь явиться к надзирателю в пижаме? Да он вам таких всыпет — и нам заодно!

— Да оставьте меня, к черту! — закричал К., которого уже оттеснили к платяному шкафу. — Если меня берут из кровати, так нечего ожидать, что я буду в парадном костюме.

— Это не оправдание, — сказали охранники, которые, едва только К. начинал кричать, становились невозмутимо спокойны, даже почти печальны и этим сбивали его — или, в каком-то смысле, приводили в чувство. Он еще бурчал: «Смехотворные церемонии!» — но уже снимал сюртук со стула; некоторое время он держал его обеими руками, словно представляя на утверждение охранникам. Те покачали головами.

— Надо черный сюртук, — сказали они.

В ответ К. швырнул сюртук на пол и сказал, сам не зная, что имеет в виду:

— Это же еще не основное слушание.

Охранники усмехнулись, но стояли на своем:

— Надо черный сюртук.

— Ну, если это ускорит дело, то меня это устраивает, — сказал К., сам открыл шкаф, долго рылся в богатом гардеробе и выбрал свой лучший черный костюм — с талией, восхищавшей его знакомых; выбрал также рубашку и начал тщательно одеваться. Втайне он надеялся на ускорение всего этого дела в связи с тем, что охранники забыли заставить его принять ванну. Однако ведь они могли случайно об этом и вспомнить; К. наблюдал за ними, но им это, естественно, и в голову не пришло, зато Виллем не забыл послать Франца к надзирателю с сообщением о том, что К. одевается.

Совершив полный туалет, он должен был пройти, на шаг впереди Виллема, через пустую соседнюю комнату в следующую; обе створки двери, ведущей туда, были уже открыты. В этой комнате, как было точно известно К., с недавнего времени жила некая фрейлейн Бюрстнер, машинистка, которая обычно уходила на работу очень рано, возвращалась домой поздно, и их общение с К. заходило не намного дальше обмена приветствиями. Теперь ночной столик был передвинут от ее кровати в центр комнаты, и за ним сидел надзиратель. Он сидел, закинув ногу на ногу и

одну руку — за спинку стула.[1]

В углу комнаты стояли трое молодых людей и рассматривали фотографии фрейлейн Бюрстнер, воткнутые в висевшую на стене рогожку. На шпингалете открытого окна висела белая блузка. Из противолежащего окна вновь свешивались те же старик и старуха, но общество там увеличилось: за их спинами, возвышаясь над ними горой, стоял мужчина в распахнутой на груди рубахе, теребя и пощипывая рыжеватую бородку.

— Йозеф К.? — спросил надзиратель, возможно, лишь для того, чтобы перевести рассеянный взгляд К. на себя.

К. кивнул.

— Для вас, очевидно, события сегодняшнего утра были большой неожиданностью? — спросил надзиратель и при этом передвинул обеими руками несколько предметов, которые лежали на ночном столике — свечу, спички, книгу и по-

---

[1] Примечания: 1

Вычеркнуто автором:

Этот допрос, кажется, ограничится взглядами, думал К., — ну, какое-то время надо ему на это предоставить. Знать бы еще, что это за органы, которые ради меня, то есть ради совершенно бесперспективного для них дела могут проводить такие серьезные мероприятия. Потому что все это уже нужно назвать серьезным мероприятием. На меня уже брошены три человека, и две чужие комнаты приведены в беспорядок, и еще там, в углу, стоят трое каких-то молодых людей и разглядывают фотографии фрейлейн Бюрстнер.

душечку с иголками, — словно как раз эти вещи ему требовались для дознания.

— Конечно, — сказал К., и его охватило чувство облегчения: наконец-то напротив него сидит разумный человек, с которым он может обсудить этот казус. — Конечно, это для меня была неожиданность, но отнюдь не большая.

— Не большая неожиданность? — переспросил надзиратель и переставил теперь свечу в центр столика, расположив остальные предметы вокруг нее.

— Вы, возможно, не так меня поняли, — поспешил заметить К. — Я имею в виду, — тут он остановился и осмотрелся по сторонам в поисках какого-нибудь стула. — Я могу все-таки сесть? — спросил он.

— Это не обязательно, — ответил надзиратель.

— Я имею в виду, — продолжил теперь К., не затягивая больше паузы, — что это была для меня, конечно, большая неожиданность, но когда ты уже прожил на этом свете тридцать лет и всего должен был добиваться сам, как это пришлось мне, то это закаляет, и ты перестаешь относиться к неожиданностям слишком всерьез. К сегодняш-

ним — в особенности.[2]

— Почему к сегодняшним в особенности?

— Я не хочу сказать, что я смотрю на все это как на шутку, для шутки предпринятые меры, мне кажется, слишком широки. В ней тогда должны были бы участвовать все здешние жильцы — да и все вы, это выходило бы за рамки невинной шутки. То есть я не хочу сказать, что это какая-то шутка.

— Совершенно справедливо, — сказал надзиратель и проверил, сколько в коробке спичек.

— Но, с другой стороны, — продолжал К., обращаясь при этом ко всем присутствующим и желая даже, чтобы и те трое у фотографий обернулись к нему, — но, с другой стороны, это дело не может иметь и какой-то большой важности. Я вывожу

---

[2] Примечания: 2

Вычеркнуто автором:

Кто-то сказал мне — уже не могу вспомнить, кто именно, — что если, проснувшись рано утром, находишь все хотя бы в общем неизменным и на том же месте, на каком было вчера вечером, то уже это достойно удивления. Ведь во сне, в сновидениях ты пребывал в состоянии, которое, — по крайней мере, так представляется — существенно отличалось от бодрствования, и, как совершенно правильно говорил тот человек, требуется безграничное присутствие духа, или, лучше сказать, боеготовность, для того, чтобы, открыв глаза, в каком-то смысле схватить и удержать окружающее на том же самом месте, на котором вечером ты его выпустил. Поэтому миг пробуждения — самое рискованное мгновение дня, и если ты его преодолел, и при этом ничего у тебя никуда со своего места не съехало, то уже и на весь день можешь быть спокоен.

это из того, что я обвинен, но не могу доискаться даже малейшей провинности, в которой меня кто-то мог бы обвинить. Но и это второстепенно, главный же вопрос: кто меня обвиняет? Какие органы ведут этот процесс? Вы — служащие? Ни одного человека в форме, если только вашу одежду, — тут он повернулся к Францу, — не считать формой, но это ведь скорее какой-то костюм туриста. Я настаиваю на внесении ясности в эти вопросы, и я убежден, что после такого выяснения мы сможем сердечнейшим образом распрощаться друг с другом.

Надзиратель со стуком опустил спичечный коробок на стол.

— Вы пребываете в глубоком заблуждении, — сказал он. — Эти господа здесь и я — фигуры, в вашем деле совершенно второстепенные, мы даже почти ничего о нем не знаем. Мы могли бы быть одеты по самой строгой форме, и ваше положение ничуть не стало бы хуже. Я также совершенно не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь, более того, я не знаю, так ли это. Что вы арестованы, это справедливо, больше я ничего не знаю. Может быть, охранники наболтали

вам что-то другое, так это просто болтовня.[3] Но если я, таким образом, не даю ответов на ваши вопросы, то все же совет я вам дать могу: поменьше думайте о нас и о том, что с вами случилось; подумайте лучше о себе. И не стоит так шуметь о том, что вы чувствуете себя невиновным, это вредит тому не совсем уж плохому впечатлению, которое вы в остальном производите. И особенно в речах вам бы надо посдержанней быть; почти все, что вы только что сказали, можно было понять и из вашего поведения, даже если бы вы всего несколько слов произнесли; к тому же все это не слишком говорило в вашу пользу.

К., не отрываясь, смотрел на надзирателя. Ему читал нотации человек, который, может быть, моложе его? Ему сделали выговор за то, что он был откровенен? И ничего не сказали о причинах его ареста и о том, кто отдал такое распоряжение? Придя в некоторое возбуждение, он прошелся взад-вперед, в чем ему никто не препятствовал, сдвинул манжеты с запястий, провел руками по груди, пригладил волосы, прошел мимо тех троих господ, сказал: «Чушь какая-то», причем они обернулись к нему и вежливо, но серьезно на

[3] Примечания: 3
Вычеркнуто автором:
Вы же знаете, внизу всегда известно больше, чем наверху.

него посмотрели, и наконец вновь остановился перед столом надзирателя.

— Прокурор Хастерер — мой близкий друг, — сказал он, — могу я ему позвонить?

— Разумеется, — сказал надзиратель, — я только не знаю, какой в этом смысл; разве что вы хотите обсудить с ним какое-то приватное дело.

— Какой смысл? — воскликнул К., скорее ошеломленный, чем разгневанный. — Да кто вы, в конце концов? Вы творите самое бессмысленное, что только может быть, и спрашиваете, где смысл? Это же просто уму непостижимо! Сначала эти господа на меня набрасываются, а теперь стоят и сидят тут вокруг и наблюдают, как вы демонстрируете на мне искусство выездки. Какой смысл звонить прокурору, когда мне заявляют, что я арестован? Хорошо, я не буду звонить.

— Да почему же? — сказал надзиратель и сделал жест в сторону прихожей, где висел телефон. — Пожалуйста, звоните.

— Нет, я уже не хочу, — сказал К. и отошел к окну.

На той стороне было все то же общество, и, кажется, только теперь, из-за того, что К. подошел к окну, их зрительский покой был несколько потревожен. Старики попытались приподняться

от подоконника, но мужчина, стоявший позади, их успокоил.

— Вот и там такие же зрители, — во весь голос крикнул К. надзирателю и ткнул пальцем в окно. — Убирайтесь оттуда! — закричал он на ту сторону.

Все трое сразу же отпрянули на несколько шагов, а старики даже оказались за спиной мужчины, который прикрыл их своим широким корпусом и, судя по движениям его губ, что-то сказал, на таком расстоянии непонятное. Однако совсем они не исчезли, а, казалось, сторожили момент, когда смогут незаметно снова приблизиться к окну.

— Назойливые, бесцеремонные люди! — сказал, отвернувшись от окна, К.

Краем глаза он, как ему показалось, заметил, что надзиратель с ним, похоже, согласен. Но было точно так же возможно, что тот его вообще не слушал: он сидел, плотно прижав одну ладонь к столу, и, казалось, сопоставлял размеры пальцев. Оба охранника сидели на покрытом узорчатым ковриком сундуке и потирали колени. Трое молодых людей, засунув руки в карманы, бесцельно озирались по сторонам. Было тихо, как в какой-нибудь заброшенной канцелярии.

— Итак, господа, — крикнул К.; на какое-то мгновение ему почудилось, будто все они повисли у него на плечах, — судя по вашему виду, мое дело можно считать закрытым. Я придерживаюсь того мнения, что будет лучше всего, если мы не будем больше задумываться о том, был ли ваш образ действий оправданным или неоправданным, и, обменявшись рукопожатиями, завершим это дело миром. Если и вы того же мнения, то я готов... — и он подошел к столу надзирателя и протянул ему руку.

Надзиратель поднял глаза и, покусывая губу, посмотрел на эту протянутую руку; К. так и ждал, что вот сейчас они ударят по рукам. Но надзиратель встал, взял круглую жесткую шляпу, лежавшую на кровати фрейлейн Бюрстнер, и осторожно, двумя руками, как это делают, когда примеривают новую шляпу, надел ее.

— Вам представляется, что это так просто? — спросил он при этом К. — Вы, значит, полагаете, что нам следовало бы закончить дело миром? Нет-нет, так дело и в самом деле не пойдет. Но, с другой стороны, я вовсе не хочу этим сказать, что вы должны отчаиваться. Нет, отчего же? Вы только арестованы, и более ничего. Я обязан был вам это сообщить, я это сделал, а также посмот-

рел на то, как вы это приняли. На сегодня вполне достаточно, и теперь уже можно распрощаться — правда, только на время. Вы ведь, я полагаю, намерены сейчас пойти в банк?

— В банк? — переспросил К. — Я думал, я арестован.

К. сказал это с некоторым вызовом, ибо, хотя его рукопожатие не было принято, но он чувствовал себя все более независимым от всех этих людей, в особенности после того, как надзиратель встал. Он играл с ними. Он собирался, в случае, если они станут уходить, бежать за ними до ворот, настаивая на своем аресте. Поэтому он повторил:

— Как же я могу идти в банк, когда я арестован?

— Ах, это, — сказал надзиратель, уже от дверей. — Вы неверно меня поняли. Разумеется, вы арестованы, но это не должно мешать исполнению вами профессиональных обязанностей. Точно так же, как это не должно мешать и вашему привычному распорядку жизни.

— Тогда это пребывание под арестом не так уж и страшно, — сказал К., близко подходя к надзирателю.

— Я никогда не считал иначе, — сказал тот.

— Но тогда и это сообщение об аресте, кажется,

было не так уж необходимо, — сказал К. и подошел еще ближе.

Приблизились и остальные; все столпились теперь на маленьком пространстве перед входной дверью.

— Это была моя обязанность, — сказал надзиратель.

— Дурацкая обязанность, — неуступчиво сказал К.

— Возможно, — ответил надзиратель, — но не будем терять время на подобные разговоры. Я полагаю, вы намерены идти в банк. А поскольку вы скрупулезно относитесь к каждому слову, добавлю: я не принуждаю вас идти в банк, я лишь предполагаю у вас такое намерение. И чтобы облегчить ваше появление в банке и сделать так, чтобы оно прошло по возможности незамеченным, я призвал сюда этих трех господ, ваших коллег, которых вы теперь можете выставить как свидетелей.

— Как? — воскликнул К. и с изумлением уставился на эту троицу.

Но эти безликие, малахольные молодые люди, оставшиеся у него в памяти лишь группой при снимках, и в самом деле были клерками из его банка — не то чтобы коллегами: это было

слишком сильно сказано и доказывало наличие пробела во всеведении надзирателя, но — мелкими клерками из банка они тем не менее были. Как сумел К. это проглядеть? Должно быть, он был целиком поглощен надзирателем и охранниками, раз не узнал своих сослуживцев! Этого угловатого, с болтающимися руками, Лобноместера, блондинчика Покатульриха с глубоко посаженными глазками и Трубанера с его невыносимой, вызванной хронической судорогой мускулов ухмылкой.

— Доброе утро, — сказал К. после некоторой паузы и подал корректно поклонившимся господам руку. — А я вас совершенно не узнал. Так, значит, идем теперь на работу, да?

Господа, улыбаясь, с готовностью закивали головами, словно все время только этого и дожидались; впрочем, когда К. вспомнил о своей шляпе, оставшейся лежать в его комнате, они все, друг за другом, побежали за ней, что все же свидетельствовало о некотором замешательстве. К. оставался на месте, провожая их взглядом сквозь двое раскрытых дверей: последним оказался, естественно, безучастный Лобноместер, который только протрусил элегантной рысцой туда и обратно. Трубанер передал К. шляпу, и К. вы-

нужден был твердо сказать себе — это, впрочем, нередко приходилось делать и в банке, — что в ухмылке Трубанера нет никакого особого смысла, что его ухмылки вообще ни с каким смыслом не могут быть связаны. Затем фрау Грубах, вид которой отнюдь не выдавал очень уж большого чувства вины, открыла для всего общества дверь квартиры, и, как это бывало уже не раз, К., выходя из прихожей, опустил глаза на тесемки ее передника, которые так излишне глубоко врезáлись в могучее тело. Внизу К. взглянул на часы и решил взять авто, чтобы не увеличивать без необходимости и так уже получасовое опоздание. Трубанер побежал на угол ловить машину, двое других, очевидно, пытались развлекать К.; вдруг Покатульрих указал на ворота дома напротив, в которых как раз появился тот крупный мужчина с русой бородкой и, в первое мгновение немного смущенный тем, что он теперь показался во весь свой рост, отступил к стене и оперся на нее. Старики, видимо, были еще на лестнице. К. разозлился на Покатульриха за то, что тот привлекал внимание к мужчине, которого он и сам и раньше уже видал, и даже просто ожидал его появления.

— Не пяльтесь туда! — процедил он, не замечая того, как необычно звучит такой оборот речи при

обращении к взрослым людям.

Но никаких объяснений не потребовалось, поскольку как раз появился автомобиль, они сели в него и помчались. Тут К. вспомнил, что даже не заметил ухода надзирателя и охранников; сначала за надзирателем он не разглядел этих троих чиновников, а теперь уже за тремя чиновниками — надзирателя. Это не говорило о большой собранности, и К. указал себе повнимательнее следить за собой в этом отношении. Невольно он все-таки еще обернулся и даже приподнялся над спинкой заднего сиденья автомобиля, чтобы, если удастся, увидеть напоследок надзирателя и охранников. Но тут же отвернулся и удобно откинулся в уголок салона, не предпринимая уже больше никаких попыток кого-то еще высматривать. Хотя это и не было заметно, но вот сейчас ему бы нужно было с кем-нибудь поговорить; однако теперь господа, кажется, утомились: Лобноместер смотрел в правое окно машины, Покатульрих — в левое, и оставался только Трубанер с его гримасой, шутить над которой, к сожалению, не позволяло человеколюбие.

В эту весну вечера у К. как-то складывались таким образом, что после работы, когда это было еще возможно, — как правило, он сидел в своем

кабинете до девяти вечера, — он в одиночестве или с коллегами совершал небольшую прогулку и потом заходил в пивную, где в обществе большей частью пожилых завсегдатаев обычно просиживал до одиннадцати. Но случались и отклонения от этого распорядка, когда, например, директор банка, очень ценивший его как сильного работника, которому можно поручать все что угодно, приглашал его на автомобильную прогулку или на какой-нибудь ужин на своей вилле. Кроме того, раз в неделю К. посещал одну девицу по имени Эльза, которая всю ночь до позднего утра обслуживала гостей одного кабачка в качестве официантки и днем принимала визиты только в постели.

Но в этот вечер — а за напряженной работой, прерываемой многочисленными почтительными и дружескими поздравлениями с днем рождения, время проходило очень быстро — К. собирался сразу пойти домой. Он думал об этом каждый раз, как только отрывался ненадолго от работы; он не знал точно, что он имеет в виду, но ему казалось, что эти утренние происшествия вызвали какой-то большой беспорядок во всей квартире фрау Грубах, и, чтобы вернуть все на свои места, его сейчас там не хватает — только

его. А когда порядок будет восстановлен, тогда все следы этих происшествий будут стерты и все снова пойдет по-прежнему. В особенности из-за этих троих клерков можно было не волноваться, они вновь исчезли в банке, растворившись в массе служащих, и никаких перемен в них не было заметно. К. неоднократно вызывал их и поодиночке, и всех вместе в свой кабинет единственно для того, чтобы понаблюдать за ними, и всякий раз отпускал их с удовлетворением.[4]

Когда вечером, в половине десятого, он входил в дом, где квартировал, в парадном его встретил какой-то парень; он стоял там, широко расставив ноги, и курил трубку.

— Кто вы? — сразу же спросил К. и приблизил к парню свое лицо: в полутьме подъезда не много можно было разглядеть.

— Я сын сторожа, уважаемый, — сказал парень, вынул изо рта трубку и отступил в сторону.

— Сын сторожа? — переспросил К. и нетерпе-

---

[4] Примечания: 4

Вычеркнуто автором:

Возникшая у него мысль о том, что как раз этим он, быть может, облегчает им наблюдение за собственной персоной, которое им, возможно, поручено, показалась ему настолько смехотворной фантазией, что он закрыл лицо руками и с минуту просидел неподвижно, приводя себя в чувство. Еще несколько подобных мыслей, сказал он себе, и ты в самом деле сдуреешь. Зато после этого он еще более возвысил свой немного дрожавший голос.

ливо стукнул тростью об пол.

— Что-нибудь угодно, уважаемый? Позвать отца?

— Нет-нет, — сказал К. с некой интонацией извинения в голосе, словно бы этот парень сделал что-то дурное, но К. его извинял. — Ну, хорошо, — сказал он затем и прошел вперед, однако прежде чем начать подниматься по лестнице, еще раз обернулся.

Он мог бы пройти прямо в свою комнату, но так как он хотел поговорить с фрау Грубах, то сразу же постучал в ее дверь. Фрау Грубах вязала чулок, сидя у стола, на котором лежала еще целая груда старых чулок. К. рассеянно извинился за столь поздний приход, но фрау Грубах была очень любезна и не желала слушать никаких извинений, с ним она всегда готова переговорить, он прекрасно знает, что он ее лучший и любимейший съемщик. К. оглядел комнату, она вновь была совершенно в своем прежнем виде, и прибор для завтрака, который утром стоял на столике у окна, был уже убран. Все-таки женские руки многое могут тихо сделать, подумал он; эту посуду он бы, возможно, разбил на месте, но уж наверняка не смог бы вынести. Он поглядел на фрау Грубах с чувством некоторой благодарности.

— Почему вы так поздно еще работаете? — спросил он.

Они оба сидели теперь за столом, и К. время от времени запускал руку в ее чулки.

— Много работы, — сказала она, — ведь днем я принадлежу моим съемщикам, и, чтобы привести мои тряпки в порядок, у меня остаются только вечера.

— Я сегодня, наверное, добавил вам еще и дополнительную работу сверх обычной?

— То есть? — спросила она, проявляя некоторую заинтересованность; работа замерла у нее на коленях.

— Я имею в виду этих людей, которые с утра здесь были.

— Ах, этих, — сказала она, снова восстанавливая душевный покой, — с ними никакой особой работы не было.

К. молча смотрел на то, как она занимается своим чулком. Она, кажется, удивлена, что я об этом говорю, думал он, она, кажется, считает неправильным, что я об этом говорю. Тем важнее, что я это делаю. Об этом я могу говорить только с такой старой женщиной.

— Все же работы, конечно, это добавило, — сказал он затем, — но больше такого не повторится.

— Да, такое повториться не может, — убежденно сказала она и почти печально усмехнулась К.

— Вы серьезно так считаете? — спросил К.

— Да, — тихо сказала она, — но вы, главное, не принимайте это слишком близко к сердцу. Чего только не бывает на этом свете! Раз уж вы так доверительно со мной беседуете, то и я могу вам признаться, что я уж немного подслушала за дверью, да и оба эти охранника мне кое-что порассказали. Все-таки речь идет о вашем счастье, а я об этом в самом деле тревожусь, может быть, даже больше, чем мне бы следовало, поскольку я ведь просто сдаю вам в поднаем. Ну, в общем, кое-что я услышала, но не могу вам сказать, чтобы это было что-то уж такое особенно плохое. Нет. Вы, правда, арестованы, но не так арестованы, как воров арестовывают. Когда арестовывают так, как воров арестовывают, тогда это плохо, а такой арест… Он мне кажется похожим на что-то такое умственное — вы извините меня, если я какую-нибудь глупость говорю, — он мне кажется похожим на что-то такое умственное, что я, правда, не понимаю, но и не должна понимать.

— Это совсем не глупо, то, что вы сказали, фрау Грубах, по крайней мере, я придерживаюсь отчасти того же мнения, что и вы, только я оцениваю

все это еще определеннее, чем вы, и считаю, что это не просто что-то умственное, а вообще ничто. На меня напали врасплох, вот что это было. Если бы я сразу, как проснулся, не дал сбить себя с толку этим отсутствием Анны, а встал и, не обращая внимания ни на кого, кто бы мне ни загораживал дорогу, пошел бы к вам, если бы я в этот раз, в порядке исключения, завтракал на кухне и если бы вы мне принесли одежду из моей комнаты — короче, если бы я действовал разумно, то ничего бы дальше и не последовало и все то, что еще только собиралось произойти, было бы задушено в зародыше. Но ведь тут оказываешься так плохо приготовлен. Вот в банке, например, там я хорошо приготовлен, там со мной ничего подобного не могло бы случиться, там у меня личный секретарь, там внутренний телефон и прямой телефон стоят передо мной на столе, там постоянно приходят люди, клиенты и клерки, а кроме того, и это главное, — там я постоянно связан с работой и поэтому бдителен; там для меня было бы просто-таки удовольствием — столкнуться с чем-нибудь таким. Но — дело прошлое, и я, собственно, вообще не хочу даже больше об этом говорить, я только хотел услышать, как вы об этом судите, услышать приговор разумной

женщины, и я очень рад, что здесь мы едины. Ну, и теперь вы просто должны протянуть мне руку, потому что такое единение надо скрепить, обменявшись рукопожатиями.

Пожмет ли она мне руку? Надзиратель мне не пожал руку, думал он, глядя на женщину уже другим, испытующим взглядом. Поскольку он встал, то и она тоже встала; она была в некотором смущении, так как не все в словах К. было ей понятно. И вследствие этого смущения она сказала то, чего говорить совершенно не собиралась и что к тому же было совершенно неуместно.

— Да не принимайте вы это так близко к сердцу, господин К., — сказала она; в голосе ее были слезы, о рукопожатии она, естественно, забыла.

— Не знал, что я принимаю это так близко, — сказал К., с внезапной усталостью поняв, как дешево стоит всякое единение с этой женщиной.

Подойдя к дверям, он еще спросил:

— Фрейлейн Бюрстнер дома?

— Нет, — сказала фрау Грубах и сопроводила этот сухой ответ усмешкой какого-то запоздало-участливого понимания. — Она в театре. Вам что-то нужно от нее? Передать ей что-нибудь?

— Да нет, просто хотел перекинуться с ней парой слов.

— Не знаю, к сожалению, когда она придет, после театра она обычно приходит поздно.

— Да это все совершенно не важно, — сказал К., уже поворачивая опущенную голову к двери, чтобы уйти, — я просто хотел перед ней извиниться за сегодняшнее использование ее комнаты.

— В этом нет необходимости, господин К., вы уж слишком щепетильны; барышня же ни о чем вообще не знает, она с самого утра как ушла, так еще и не появлялась, да и у нас здесь все уже в порядке, посмотрите сами, — и она раскрыла дверь в комнату фрейлейн Бюрстнер.

— Спасибо, я вам верю, — сказал К., но потом все-таки подошел к раскрытой двери.

Темная комната была освещена ровным светом луны. Насколько можно было разглядеть, все действительно было на своих местах, даже блузка больше не висела на окне. Удивительно высокими казались частично освещенные лунным светом подушки на кровати.

— Фрейлейн часто возвращается домой поздно, — сказал К. и посмотрел на фрау Грубах, словно ответственность за это лежала на ней.

— Да уж, молодые, они такие! — сказала фрау Грубах извинительно.

— Конечно, конечно, — сказал К. — Но это мо-

жет слишком далеко завести.

— Это — может, — сказала фрау Грубах. — Как вы тут правы, господин К.! Может быть, даже и в этом случае. Я, конечно, не хочу сказать о фрейлейн Бюрстнер ничего плохого, она хорошая, милая девочка, любезная, опрятная, обязательная, работящая, я все это очень ценю, но одно правда: ей бы надо быть построже, поскромнее. Я ее в этом месяце уже два раза видела на темных улицах, и все с разными господами. Мне это очень неловко, видит Бог, я рассказываю это только вам, господин К., но, делать нечего, придется мне поговорить об этом и с самой барышней. И уж, кстати, не только это мне в ней подозрительно.

— Вас несет совершенно не туда, — сказал К. в бешенстве, которого почти не мог скрыть, — к тому же вы явно неверно истолковали мое замечание о фрау Бюрстнер, ничего подобного не имелось в виду. И я даже прямо предостерегаю вас против каких-то таких разговоров с фрейлейн, вы решительно заблуждаетесь, я знаю фрейлейн очень хорошо, и все, что вы тут говорили, неверно. Впрочем, возможно, это я захожу слишком далеко, я не собираюсь вас удерживать, говорите ей все, что хотите. Спокойной ночи.

— Господин К., — умоляюще проговорила фрау

Грубах, просеменив вслед за ним до самой его двери, которую он уже открыл, — я же еще совсем не собираюсь говорить с барышней, естественно, я сначала еще за ней понаблюдаю, это я только вам, по секрету, сообщила, что знала. В конце концов, это же в интересах каждого съемщика, если содержательница пансиона хочет чистоты, а я здесь ничего другого и не желаю.

— Чистоты! — крикнул К. уже через щель в двери. — Если вы хотите очистить ваш пансион, вам сначала надо выставить меня.

После чего он захлопнул дверь, даже и не думая обращать внимание на легкое постукивание снаружи.

Вместо этого он решил, поскольку спать совсем не хотелось, пока что не ложиться и, раз уж выдался такой случай, то и посмотреть, когда же вернется фрейлейн Бюрстнер. Не исключено, что тогда представится и возможность перекинуться с ней парой слов. Лежа на подоконнике с устало прикрытыми глазами, он даже на минутку подумал, а не стоит ли, в наказание фрау Грубах, уговорить фрейлейн Бюрстнер вместе с ним одновременно хлопнуть дверью. Но ему сразу же показалось, что это будет уж слишком, к тому же он заподозрил себя в том, что он хочет сменить

квартиру из-за сегодняшних утренних происшествий. Ничего не могло быть бессмысленнее, а главное, бесполезнее и презреннее этого.[5]

Когда ему надоело разглядывать пустую улицу, он прилег на диван, предварительно слегка приоткрыв дверь в прихожую, чтобы каждого, кто войдет в квартиру, сразу можно было увидеть прямо с дивана. Примерно до одиннадцати часов он спокойно лежал на диване, покуривая сигару. Но потом уже больше на диване не выдержал и пошел слегка пройтись в прихожую, как будто это могло ускорить возвращение фрейлейн Бюрстнер. Она не была ему так уж особенно нужна, он даже не мог точно вспомнить, как она выглядит, но, вот, хотелось ему сейчас с ней переговорить, и его злило, что своим поздним приходом она и в конец этого дня вносит что-то беспокойное и

---

[5] Примечания: 5

Вычеркнуто автором:

Перед домом равномерным, тяжелым шагом часового расхаживал взад и вперед солдат. Значит, и перед домом теперь установили пост. К. пришлось далеко высовываться из окна, чтобы увидеть солдата, потому что тот ходил у самой стены дома.

— Эй, — окликнул его К., но не настолько громко, чтобы тот мог услышать.

Впрочем, вскоре выяснилось, что солдат просто ждал служанку, которая ходила в расположенный на другой стороне улицы трактир за пивом и теперь показалась в ярко освещенном дверном проеме. К. задал себе вопрос, неужели он хоть на миг мог поверить, что ради него установили пост охраны; ответить на этот вопрос он не смог.

беспорядочное. Виновата она была и в том, что он сегодня вечером не поужинал, и в том, что пропустил намеченное на сегодня посещение Эльзы. Впрочем, он еще мог наверстать и то и другое, если бы пошел сейчас в кабачок, где обслуживала Эльза. И он еще собирался это сделать позднее, после того как переговорит с фрейлейн Бюрстнер.

На часах было уже полдвенадцатого, когда на лестнице послышались чьи-то шаги. К., в увлечении своими мыслями шумно расхаживавший по прихожей взад и вперед так, как будто это была его собственная комната, юркнул к себе за дверь. Появилась фрейлейн Бюрстнер. Она запирала дверь, узкие плечи зябко ежились под шелковым платком. Еще мгновение, и она скроется в своей комнате, куда К. в полночь, естественно, уже не мог вламываться, значит, он должен заговорить с ней сейчас, но, к несчастью, он не подумал зажечь у себя свет, и теперь его появление из темной комнаты было бы похоже на нападение, во всяком случае, должно было очень испугать. Ничего уже нельзя было сделать, но нельзя было терять и времени, и он прошептал сквозь щель в двери:

— Фрейлейн Бюрстнер.

Слова прозвучали не обращением, а мольбой.

— Здесь кто-то есть? — спросила фрейлейн Бюрстнер, озираясь по сторонам расширенными глазами.

— Это я, — сказал К. и вышел из-за двери.

— Ах, господин К.! — сказала фрейлейн Бюрстнер, усмехаясь. — Добрый вечер, — и она протянула ему руку.

— Я хотел с вами переговорить, всего несколько слов, не позволите ли сейчас?

— Сейчас? — переспросила фрейлейн Бюрстнер. — Прямо сейчас? Это немножко странно, не правда ли?

— Я вас с девяти часов жду.

— Ну, я была в театре, я же не знала.

— Причина для того, что я хочу вам сказать, появилась только сегодня.

— Да? Ну что ж, в принципе, ничего не имею против, кроме того, что я просто с ног валюсь от усталости. Ну, давайте зайдем на несколько минут в мою комнату. Здесь мы, во всяком случае, разговаривать не можем, мы же всех разбудим; это была бы большая неприятность, и неприятнее всех было бы нам. Подождите здесь, пока я зажгу в моей комнате свет, и потом выключите свет здесь.

К. все исполнил, но подождал, пока фрейлейн Бюрстнер еще раз тихо не позвала его из своей комнаты.

— Садитесь, — предложила она и указала на оттоманку, сама же осталась стоять у спинки кровати, несмотря на усталость, о которой только что говорила; она даже не сняла свою маленькую, но в изобилии украшенную цветами шляпку. — Итак, что же вам угодно? Я в самом деле заинтригована.

Легким движением она скрестила ноги.

— Вы, может быть, скажете, — начал К., — что это дело совсем не такое срочное, чтобы обсуждать его сейчас, но…

— Прелюдии я всегда пропускаю, — сказала фрейлейн Бюрстнер.

— Это упрощает мою задачу, — сказал К. — Ваша комната сегодня утром, в какой-то мере по моей вине, была приведена в некоторый беспорядок, это сделали посторонние люди и против моей воли, но, как я уже сказал, по моей вине, я хотел попросить за это прощения.

— Моя комната? — спросила фрейлейн Бюрстнер и испытующе посмотрела не на комнату, а на К.

— Так уж случилось, — сказал К., и теперь они в

первый раз посмотрели друг другу в глаза, — как и каким образом это происходило, не стоит того, чтобы об этом рассказывать.

— Напротив, это самое интересное.

— Нет, — сказал К.

— Ну, — сказала фрейлейн Бюрстнер, — я не хочу выведывать ваших секретов; если вы настаиваете на том, что это неинтересно, то мне на это нечего возразить. Извинения, которые вы мне принесли, я охотно принимаю, тем более что не могу найти следов какого-то беспорядка.

Уперев в бедра ладони низко опущенных рук, она прошлась по комнате. Возле плетенки с фотографиями остановилась.

— Ага, вот! — воскликнула она. — Мои фотографии действительно все перетроганы. Но ведь это отвратительно. Значит, кто-то без моего согласия входил в мою комнату.

К. кивнул, помянув про себя проклятого клерка Трубанера, который никогда не умел обуздывать свою пустую, бессмысленную активность.

— Как-то странно, — сказала фрейлейн Бюрстнер, — что я вынуждена запрещать вам то, что вы бы сами должны были себе запретить, именно: входить в мою комнату в мое отсутствие.

— Но я же объяснял вам, фрейлейн, — сказал

К. и тоже подошел к фотографиям, — что это был не я, не я трогал ваши фотографии; но раз вы мне не верите, то я просто вынужден признаться: следственная комиссия выудила в банке и притащила с собой троих клерков, и один из них — я при первой же возможности сделаю все, чтобы его и духу больше не было в банке, — по-видимому, добрался до ваших фотографий. Да, сюда приходила следственная комиссия, — добавил К., отвечая на вопросительный взгляд фрейлейн.

— К вам? — спросила фрейлейн.

— Да, — ответил К.

— Нет! — воскликнула фрейлейн и засмеялась.

— Представьте, — сказал К. — А вы, значит, думаете, что я невиновен?

— Ну-у, невиновен… — сказала фрейлейн, — я не могу так сразу выносить приговор, может быть, чреватый серьезными последствиями, и потом, я же вас не знаю, ведь это какой должен быть опасный преступник, чтобы следственную комиссию ему присылали прямо на дом. Но поскольку вы все-таки на свободе — по крайней мере, если судить по вашему спокойствию, то не похоже, чтобы вы сбежали из тюрьмы, — значит, уж не могли совершить какое-то особенное преступление.

— Да, — сказал К., — но ведь следственная комиссия может же установить мою невиновность, или хотя бы, что я не так виновен, как предполагается.

— Конечно, это возможно, — сказала фрейлейн Бюрстнер, очень внимательно посмотрев на него.

— Дело в том, — сказал К., — что вы не слишком опытны в судейских закорючках.

— Да, такого опыта у меня нет, — сказала фрейлейн Бюрстнер, — но я об этом уже не раз сожалела, потому что я хотела бы все узнать, и как раз судейские закорючки меня необыкновенно интересуют. У суда есть какая-то своеобразная притягательная сила, не правда ли? Но я определенно расширю мои познания в этой области, потому что со следующего месяца поступаю делопроизводительницей в одну адвокатскую контору.

— Это очень хорошо, — сказал К., — вы тогда сможете мне немного помочь с моим процессом.

— Это возможно, — сказала фрейлейн Бюрстнер, — почему бы и нет? Я всегда с удовольствием употребляю мои знания.

— А я серьезно говорю, — сказал К., — или, по крайней мере, так же полусерьезно, как и вы.

Чтобы привлекать адвоката, моя закорючка слишком мелкая, но мне очень может понадобиться кто-нибудь, кто бы мне дал совет.

— Да, но если я должна буду давать вам советы, то я должна знать, в чем дело и какая у вас закорючка, — сказала фрейлейн Бюрстнер.

— Так вот в том-то и дело, — сказал К., — что я и сам не знаю.

— Значит, вы просто развлекаетесь тут со мной, — сказала фрейлейн Бюрстнер; она была слишком разочарована, — тогда уж не было никакой необходимости выбирать для этого такое позднее ночное время.

И она пошла прочь от фотографий, около которых они оба так долго простояли вместе.

— Да нет же, фрейлейн, — сказал К., — я вовсе не развлекаюсь. Почему вы не хотите мне поверить! Все, что я знаю, я вам уже рассказал. Даже больше, чем знаю, потому что это была никакая не следственная комиссия, это я ее так назвал, потому что не нашел для нее другого слова. И никакого следствия не было, меня просто арестовали. Но это была какая-то комиссия.

Фрейлейн Бюрстнер села на оттоманку и снова рассмеялась.

— И как же это было? — спросила она.[6]

— Ужасно, — сказал К., совершенно об этом не думая и завороженно глядя на фрейлейн Бюрстнер, которая сидела, подперев голову рукой — ее локоть покоился на валике оттоманки, в то время как другая ее рука медленно поглаживала бедра.

— Это уж очень откровенно, — сказала фрейлейн Бюрстнер.

— Что очень откровенно? — сказал К., затем опомнился и спросил: — Показать вам, как это было?

Ему хотелось двигаться, но не уходить.

— Я уже устала.

— Вы так поздно пришли, — сказал К.

— Ну да, и теперь все это заканчивается упреками в мой адрес; что ж, это даже справедливо: не надо было вас впускать. Да и надобности в этом не было, как теперь выясняется.

— Была надобность, вы как раз сейчас в этом убедитесь, — сказал К. — Вы позволите мне пере-

---

[6] Примечания: 6

Вычеркнуто автором:

— Вы невыносимы; невозможно понять, серьезно вы говорите или шутите.

— Это не так уж неверно, — сказал К., болтовня с симпатичной девушкой доставляла ему радость, — это не так уж неверно; мне не хватает серьезности, поэтому и в серьезных вещах, и в шутках я вынужден обходиться шутками. Но арестовали меня всерьез.

двинуть ночной столик от вашей кровати?

— Что это вам взбрело? — сказала фрейлейн Бюрстнер. — Естественно, не позволю!

— Но тогда я не смогу вам ничего показать! — произнес К. так возбужденно, словно это нанесло бы ему какой-то неизмеримый ущерб.

— Ну, если это вам нужно для демонстрации, отодвигайте столик, только тихо, — сказала фрейлейн Бюрстнер и после паузы прибавила ослабевшим голосом: — Я так устала, что позволяю вам больше, чем следует.

К. установил столик в центре комнаты и уселся за ним.

— Вы должны правильно представить себе расположение персонажей, это очень интересно. Я — надзиратель, там, на сундуке, сидят двое охранников, возле фотографий стоят трое молодых людей. На оконном шпингалете висит белая блузка, но это я так просто, к слову, упоминаю. И вот теперь все начинается. Да, я забыл себя! Самый главный персонаж, то есть я, стоит здесь, перед столиком. Надзиратель сидит со всеми удобствами, ногу закинул на ногу, руку эдак вот свесил за спинку, — болван, каких свет не видел. И, значит, вот теперь, действительно, все и начинается. Надзиратель кричит, словно ему

приходится меня будить, ну просто-таки вопит; чтобы вам было понятно, мне, к сожалению, тоже придется вопить, — впрочем, выкрикивал он только мое имя.

Фрейлейн Бюрстнер, слушавшая сквозь смех, приложила палец к губам, чтобы удержать его от крика, но было уже поздно, К. слишком вошел в роль. «Йозеф К.!», — протяжно выкрикнул он, не так, впрочем, громко, как грозился, но все же так, что этот внезапно вырвавшийся возглас, казалось, лишь постепенно распространяется по комнате.

Раздался стук в дверь, ведущую в соседнюю комнату; удары были сильные, резкие и равномерные. Фрейлейн Бюрстнер побледнела и прижала руку к сердцу. К. испугался особенно сильно потому, что он еще некоторое время совершенно не способен был думать о чем-то другом, кроме утреннего происшествия и девушки, которой он его изображал. Едва опомнившись, он бросился к фрейлейн Бюрстнер и схватил ее за руку.

— Не бойтесь, — зашептал он, — я все улажу. Но кто это может быть? Здесь же рядом с вами комната, в которой никто не спит.

— Спит, — прошептала фрейлейн Бюрстнер на

ухо К., — со вчерашнего дня здесь спит племянник фрау Грубах, он капитан. И как раз оказалось, что других свободных комнат нет. Я тоже об этом забыла. И надо было вам так орать! Теперь я пропала.

— Но для этого нет никаких оснований, — сказал К. и, поскольку она теперь откинулась на спинку оттоманки, поцеловал ее в лоб.

— Нет, нет, — сказала она и поспешно вновь села прямо, — идите же, идите же, ну что вам надо, он же подслушивает за дверью, он же все слышит. Как вы меня мучаете!

— Я уйду не раньше, — сказал К., — чем вы немного успокоитесь. Перейдемте в тот угол комнаты, там он не сможет нас услышать.

Она позволила увести себя туда.

— Вы просто не подумали о том, — говорил он, — что для вас речь тут может идти хоть и о неприятности, но уж никак не об опасности. Вы знаете, как фрау Грубах, которая ведь в этом деле все и решает, тем более что капитан — ее племянник, меня просто-таки чтит и всему, что я говорю, безоговорочно верит. Она и в ином отношении от меня зависит, поскольку заняла у меня значительную сумму. Предложите, как вы хотите объяснить, что мы тут с вами вместе

делали, я приму любое ваше предложение, если в нем будет хоть капля целесообразности, и я обязуюсь довести фрау Грубах до такого состояния, что она это объяснение не только публично, но действительно и искренне примет. И меня при этом вам никоим образом не нужно щадить. Если вы хотите объявить, что я на вас покусился, то фрау Грубах будет проинструктирована в соответствующем смысле и поверит в это, нисколько не утратив ко мне доверия, настолько она ко мне привязана.

Фрейлейн Бюрстнер молчала и несколько потерянно смотрела перед собой в пол.

— Почему бы фрау Грубах и не поверить, что я на вас покусился? — прибавил К.

Перед его глазами были ее волосы, расчесанные, низко перехваченные и туго собранные, рыжеватые волосы. Он надеялся, что она поднимет к нему лицо, но она, не меняя позы, сказала:

— Извините меня, я больше из-за этого неожиданного стука так испугалась, а не из-за возможных последствий того, что там этот капитан. После вашего крика в комнате было так тихо, а тут — стук, поэтому я так и испугалась, к тому же я сидела близко от двери, и застучали почти возле меня. За ваше предложение я вам благодар-

на, но я его не принимаю. Я сама могу ответить за все, что случается в моей комнате, и перед всеми. Я только удивлена, что вы не замечаете, как оскорбительно для меня ваше предложение, независимо от ваших, естественно, благих намерений, которые я, конечно, ценю. Но теперь идите, оставьте меня одну; теперь я в этом нуждаюсь еще больше, чем прежде. Из тех нескольких минут, о которых вы просили, теперь уже получилось полчаса с лишним.

К. схватил ее пальцы, потом запястье.

— Но вы на меня не сердитесь? — спросил он.

Она стряхнула его руку и ответила:

— Нет-нет, я никогда и ни на кого не сержусь.

Он снова сжал ее запястье, на этот раз она стерпела и так и повела его к двери. Он твердо решился уходить. Однако перед самой дверью остановился, словно не ожидал встретить здесь дверь; фрейлейн Бюрстнер воспользовалась мгновением для того, чтобы высвободиться, открыть дверь, выскользнуть в прихожую и оттуда прошептать К.:

— Ну, идите же, пожалуйста. Вот, видите, — она указала на дверь капитана, из-под которой пробивался свет, — загорелся; теперь тешится на наш счет.

— Я уже иду, — сказал К., выскочил, схватил ее, поцеловал в губы и потом покрыл поцелуями все ее лицо, словно измученный жаждой зверь, хватающий языком воду наконец-то найденного источника. В конце концов он добрался до шеи, до ямочки у горла, и там его губы задержались надолго. Какой-то шорох в комнате капитана заставил его поднять голову.

— Ну, я пойду, — сказал он; он хотел назвать фрейлейн Бюрстнер по имени, но он его не знал.

Она устало кивнула; уже наполовину отвернувшись, она оставила ему, словно ничего об этом не зная, руку для поцелуя и потом ушла, сутулясь, к себе в комнату. Вскоре после этого К. лежал в своей кровати. Заснул он очень быстро, но, перед тем как заснуть, он еще немножко поразмышлял о своем поведении; он был им удовлетворен, но удивлялся, что не был еще более удовлетворен; этот капитан вызывал у него серьезную озабоченность в отношении фрейлейн Бюрстнер.

Глава вторая
ПЕРВОЕ СЛУШАНИЕ

К. известили по телефону, что в ближайшее воскресенье будет проведено небольшое расследование по его делу. При этом он был предуведомлен, что такие расследования будут проводиться регулярно, если и не каждую неделю, то все же достаточно часто. С одной стороны, все заинтересованы в быстрейшем доведении процесса до конца, но, с другой стороны, эти расследования должны быть во всех отношениях основательными и, вследствие связанного с этим напряжения, никоим образом не могут длиться слишком долго. Поэтому и был выбран этот вариант с часто следующими друг за другом, но быстро оканчивающимися расследованиями. Воскресенье было выбрано в качестве дня расследования для того, чтобы не создавать К. помех в его профессиональной деятельности. Предполагается, что он с этим должен быть согласен, если же для него желательны другие условия расследования, то ему, по мере возможности, готовы пойти навстречу. К примеру, допросы могут вестись и по ночам, но

при этом К., возможно, окажется недостаточно свеж. Пока, во всяком случае, поскольку со стороны К. нет никаких возражений, остановились на воскресенье. Само собой разумеется, что его явка категорически обязательна, об этом, очевидно, даже нет необходимости особо его предупреждать. Ему был назван номер дома публичных слушаний, куда он должен был явиться, это был дом на какой-то отдаленной улице в глухом предместье, где К. до сих пор еще никогда не бывал.

Выслушав это сообщение, К. ничего не ответил и повесил трубку; он сразу решил, что в воскресенье он туда пойдет, это было, безусловно, необходимо: процесс начался, его следовало прекратить, первое расследование должно было стать и последним. Он все еще задумчиво стоял у аппарата, когда за его спиной раздался голос заместителя директора, который хотел позвонить, а К. ему мешал.

— Плохие новости? — небрежно спросил заместитель директора — не для того, чтобы что-то узнать, а для того, чтобы убрать К. от аппарата.

— Нет-нет, — сказал К., отступая в сторону, но не уходя.

Заместитель директора снял телефонную трубку и, ожидая связи, сказал, держа трубку в руке:

— Один вопрос, господин К.: не доставите ли вы мне такое удовольствие — не пожалуете ли в воскресенье, с утра пораньше на мою яхту? Будет кое-какое общество, в том числе, наверное, и ваши знакомые. Прокурор Хастерер, в частности. Придете? Приходите, не пожалеете!

К. попытался сосредоточиться на том, что говорил заместитель директора. Это было для него немаловажно, поскольку приглашение заместителя директора, с которым у него никогда не было особенно тесных отношений, означало попытку сближения и показывало, какой вес приобрел он в банке и насколько важной представлялась его дружба или хотя бы его непредубежденность второму по значению лицу в банке. Такое приглашение было несколько унизительным для заместителя директора, даже при том, что высказано было в ожидании связи с трубкой в руке. К. должен был удвоить это унижение; он сказал:

— Весьма благодарен! Но, к сожалению, в воскресенье у меня не будет времени, на воскресенье я уже договорился.

— Жаль, — сказал заместитель директора, поднимая трубку: у него в этот момент как раз наладилась связь.

Телефонный разговор длился довольно дол-

го, но К., пребывая в рассеянности, все время оставался стоять возле аппарата. Только когда заместитель директора опустил трубку, К. вздрогнул и сказал, просто чтобы как-то объяснить, почему так неуместно стоит именно тут:

— Мне должны сейчас позвонить, я должен пойти в одно место, но мне забыли сказать, когда.

— Так переспросите, — сказал заместитель директора.

— Это не так важно, — сказал К., еще больше дискредитируя этим свое предыдущее, и без того уже неубедительное объяснение.

Заместитель директора, уже уходя, затронул еще кое-что, и К. заставил себя откликнуться, но думал главным образом о том, что в воскресенье лучше всего прийти туда часов в девять утра, поскольку в будние дни все суды начинают работу в это время.

В воскресенье погода была хмурая, а К. был очень утомлен; накануне, ввиду некоего торжественного события, отмечавшегося в кругу завсегдатаев одного кабачка, он засиделся там до поздней ночи и теперь почти что проспал. В спешке, не имея времени подумать и подытожить все те разнообразные планы, которые он составлял на протяжении недели, он оделся и побежал, не

позавтракав, в назначенное ему предместье. По дороге, хотя у него не было лишнего времени оглядываться по сторонам, он, как ни странно, встретил всех троих причастных к его делу клерков: Лобноместера, Покатульриха и Трубанера. Первых двое ехали в трамвае, который пересек К. дорогу, а Трубанер сидел на террасе кафетерия и, как раз когда К. проходил мимо, нагнулся, заинтересовавшись оградкой. Все они, наверное, провожали его взглядами и с удивлением спрашивали себя, куда это так бежит их начальник. Ехать К. не хотел из какого-то упрямства, в этом его деле ему была противна любая, даже мельчайшая посторонняя помощь; не хотел он и ни к кому обращаться, тем самым как-то, пусть даже отдаленнейшим образом, посвящая кого-то в это дело, да и, наконец, у него не было ни малейшего желания унижать себя перед следственной комиссией чрезмерно строгой пунктуальностью. И если он теперь все-таки бежал, то только для того, чтобы, по возможности, прибыть на место около девяти часов, хотя он даже и не был вызван на какой-то определенный час.

Он полагал, что уже на расстоянии — по каким-то признакам, которые он сам не вполне точно представлял себе, или по какому-то особенному

движению перед входом, — что уже издалека узнает этот дом. Однако на Юлиевой улице, на которой этот дом должен был находиться и в начале которой К. на мгновение остановился, по обеим сторонам стояли почти однотипные высокие серые доходные дома; здесь жила беднота. Сейчас, в воскресное утро, эта жизнь выплескивалась почти из всех окон. Мужчины в домашних рубашках курили, лежа на подоконниках, или осторожно и нежно держали топтавшихся на краю окна маленьких детей. В других окнах были горой навалены тюфяки, над которыми временами появлялась на мгновение растрепанная женская голова. Из окон через улочку перекликались, один из таких окликов вызвал большой смех как раз над головой К. Вдоль длинной улицы были равномерно распределены продуктовые лавочки; они располагались ниже уровня мостовой, и к ним вели короткие лестничные марши. Женщины сновали по лестницам или стояли на ступеньках и разговаривали. Какой-то торговец фруктами, предлагавший свой товар раскрытым окнам и столь же невнимательный, как и К., едва не сшиб его своей тележкой. И как раз заиграл, издавая убийственные звуки, граммофон, отслуживший свой век в кварталах получше.

К. входил в эту улочку медленно, так, словно у него теперь было время, или так, словно следователь наблюдал за ним из какого-то окна и, таким образом, знал, что К. уже прибыл. На часах было девять с минутами. Нужный дом оказался довольно далеко; он производил почти необыкновенное впечатление своей протяженностью и, в особенности, шириной и высотой своих ворот. Они были явно предназначены для подвоза больших грузов к разнообразным, в данный момент закрытым, складам, заполнявшим пространство большого двора и украшенным вывесками фирм; некоторые из них были К. знакомы по банковским делам. Желая, вопреки своей всегдашней привычке, подробнее ознакомиться со всеми внешними деталями, К. и при входе в этот двор тоже на некоторое время остановился. Неподалеку от него сидел на ящике человек с босыми ногами и читал газету. Двое ребятишек качались на ручной тележке, как на качелях. Возле колонки стояла худенькая молодая девушка в ночной кофте и, пока вода лилась в ее кувшин, смотрела на К. В углу двора между двумя окнами натягивали веревку, на которой уже было повешено предназначенное к просушке белье. Внизу стоял мужчина и, покрикивая, руководил работой.

К. повернулся к лестнице, собираясь подняться в комнату следователя, но затем вновь остановился, так как, помимо этой лестницы, во дворе было еще три подъезда, а кроме того, в конце двора как будто виднелся еще и узкий проход, ведущий во второй двор. Он разозлился, что ему не описали подробнее расположение комнаты следователя, все-таки с какой удивительной небрежностью — или равнодушием — с ним обращаются; он решил, что надо будет очень громко и определенно это констатировать. В конце концов он все-таки поднялся по этой лестнице, мысленно проигрывая в воспоминаниях монолог охранника Виллема о том, что вина притягивает суд, из чего, собственно говоря, вытекало, что к комнате следователя должна вести та лестница, которую К. выбрал наугад.

Поднимаясь, он потревожил множество детей, которые играли на лестнице и, пока он проходил сквозь их строй, зло смотрели на него. В следующий раз, когда мне придется сюда идти, сказал он себе, надо будет взять с собой конфет, чтобы прикормить их, — или палку, чтобы отлупить. Перед площадкой второго этажа он даже должен был задержаться, ожидая, пока завершит свой полет пуля из игрушечного ружья, при этом два

маленьких мальчугана с замысловатыми лицами взрослых босяков держали его за штаны; если бы он захотел их стряхнуть, ему пришлось бы им поддать, а он боялся их крика.

Собственно поиски начались на втором этаже. Поскольку расспрашивать о следственной комиссии он ведь не мог, то он придумал столяра Ланца — это имя само всплыло у него в голове: так звали капитана, племянника фрау Грубах, — и собирался теперь во всех квартирах спрашивать, не живет ли тут столяр Ланц, получая таким образом возможность заглядывать в комнаты. Но оказалось, что это, как правило, можно было сделать непосредственно, так как почти все двери были раскрыты и через них туда и сюда бегали дети. Комнаты большей частью были с одним окном, жили тесно, тут же и готовили. Многие женщины держали на одной руке грудного ребенка, а другой, свободной, орудовали на плите. Прилежнее всех были снующие взад и вперед девочки-подростки, одетые, казалось, в одни только передники. Кровати во всех комнатах еще были в употреблении, в них лежали больные, или те, кто еще спал, или те, кто растянулся на них в одежде. Если двери в квартиру были закрыты, К. стучался и спрашивал, не здесь ли живет столяр

Ланц. Открывала, как правило, женщина; она выслушивала вопрос и обращалась в комнату к кому-то, кто приподнимался в кровати.

— Господин спрашивает, не живет ли тут столяр Ланц.

— Столяр Ланц? — переспрашивал поднявшийся из кровати.

— Да, — говорил К., хотя уже не было сомнений, что никакой комиссии здесь нет и, следовательно, его задача выполнена.

Многие верили, что К. очень важно найти этого столяра Ланца, они долго рылись в памяти, называли какого-нибудь столяра, которого, однако, звали не Ланц, или какое-нибудь имя, очень отдаленно напоминавшее «Ланц», или шли спрашивать у соседей, или брались проводить К. до какой-нибудь весьма удаленной двери, за которой, по их мнению, может снимать угол как раз такой человек или живет кто-то, кто сможет ответить на этот вопрос лучше, чем они сами. В конце концов К. больше уже почти не приходилось спрашивать самому, и его, таким образом, только таскали с этажа на этаж. Он уже раскаивался в своем плане, поначалу казавшемся ему таким практичным. На подходе к шестому этажу он решил прекратить эти поиски, распрощался с

дружелюбным молодым рабочим, который собирался вести его еще выше, и начал спускаться. Но затем он снова разозлился на безрезультатность всего этого предприятия, еще раз повернул назад и постучал в первую попавшуюся дверь шестого этажа. Первое, что он увидел в этой маленькой комнате, были большие стенные часы, которые показывали уже десять часов.

— Здесь живет столяр Ланц? — спросил он.

— Проходите, — сказала молодая женщина с черными блестящими глазами, стиравшая в чане детское белье, и указала мокрой рукой на открытую дверь в соседнюю комнату.

К. решил, что он попал на какое-то собрание. Толпа самой разношерстной публики заполняла средних размеров комнату в два окна, по верху которой, почти под потолком, шла галерея, также полностью забитая людьми, где они могли стоять только сгорбившись, упираясь головой и плечами в потолок; на вошедшего никто не обратил внимания. Для К. там было слишком душно, он вернулся обратно и сказал этой молодой женщине, видимо, неверно его понявшей:

— Я спрашивал столяра, которого зовут Ланц.

— Да, — сказала женщина, — заходите туда, пожалуйста.

К., возможно, и не послушался бы ее, если бы женщина не подошла к нему и не сказала, взявшись за ручку двери:

— Мне надо закрыть за вами, больше туда никому нельзя.

— Очень разумно, — сказал К., — и так уже слишком много навпускали.

Но затем все-таки вновь вошел в комнату.

Между двух людей, беседовавших у самой двери — один из них обеими руками, вытянутыми далеко вперед, делал движения, которыми отсчитывают деньги, а второй пристально смотрел ему в глаза, — протянулась рука; она схватила К. Это был маленький краснощекий мальчуган.

— Идемте, идемте, — говорил он.

К. пошел за ним; оказалось, что в этой беспорядочно роящейся толпе все-таки был узкий свободный проход, возможно, разделявший две партии, за это говорило еще и то, что в ближайших рядах и справа, и слева почти не было таких, кто бы повернулся к нему лицом, — он видел лишь спины людей, чьи речи и жесты были адресованы только людям из их партий. Большинство было в черном; преобладали старые, длинные и обвисшие, парадные сюртуки. Только эта одежда и смущала К., иначе бы он принял все это за ка-

кое-нибудь политическое окружное собрание.[7]

В противоположном конце зала, куда привели К., на очень низком и тоже переполненном людьми подиуме стоял торцом к публике маленький столик, и за ним, близко от края подиума, сидел маленький, толстый, шумно сопевший мужчина, который в этот момент разговаривал с другим, стоявшим за его спиной (этот стоял, опершись локтями на спинку стула и скрестив ноги), и очень смеялся; временами он выбрасывал вверх руку, карикатурно кого-то изображая. Мальчику, который привел К., нелегко было представить свой отчет. Он уже дважды, стоя на цыпочках, пытался что-то нашептывать, но человек сверху не замечал его. Только когда один из стоявших наверху, на подиуме, обратил внимание на мальчика, человек за столом обернулся к нему и, нагнувшись, выслушал его тихий доклад. Затем человек вытащил часы и бросил на К. быстрый взгляд.

— Вы должны были явиться один час и пять минут тому назад, — сказал он.

К. хотел что-то ответить, но не успел, так как едва только человек произнес свои слова, как в

---

[7] Примечания: 7

Вместо слов «политическое окружное собрание» *в первоначальном варианте было* «социалистическое собрание».

правой половине зала поднялся всеобщий ропот.

— Вы должны были явиться один час и пять минут тому назад, — повторил человек, повысив на этот раз голос, и бросил быстрый взгляд теперь уже и вниз, в зал.

Ропот тут же стал громче и лишь постепенно, поскольку человек ничего больше не говорил, затих. Теперь в зале стало намного тише, чем было, когда К. вошел. Только люди на галерее не прекратили отпускать свои замечания. Они, насколько можно было различить в полутьме, в пыли и испарениях, скопившихся вверху, кажется, были одеты похуже, чем стоявшие внизу. У некоторых были с собой подушки, которые они прокладывали между головой и потолком, чтобы не затекала голова.

К. принял решение больше наблюдать, чем говорить, поэтому не стал защищаться от обвинения в том, что он, якобы, опоздал, и сказал только:

— Если я и опоздал, то сейчас я здесь.

Последовали аплодисменты, вновь с правой стороны. Податливые люди, подумал К.; его только беспокоила тишина в левой половине зала — как раз за его спиной, где раздались всего лишь отдельные хлопки. Он размышлял, что бы ему

сказать, чтобы и этих остальных — если уж не удастся сразу всех — хотя бы на время тоже привлечь на свою сторону.

— Да, — сказал человек, — но теперь я уже не обязан вас допрашивать, — вновь ропот, но на этот раз ошибочный, так как человек продолжил, махнув на людей рукой: — Тем не менее сегодня я еще это сделаю в порядке исключения. Но впредь подобных опозданий не должно быть. А теперь идите сюда!

Кто-то спрыгнул с подиума, и К. взошел на освобожденное для него место. Он стоял, вплотную прижатый к столу, толкотня за его спиной была так велика, что он должен был прилагать усилия, чтобы не скинуть с подиума стол следователя, а может быть, и его самого.

Следователя, однако, это не беспокоило, он развалился на своем стуле и, сказав еще несколько заключительных слов человеку у него за спиной, взял в руки маленькую записную книжку — единственный предмет, лежавший на столе. Она была засаленная, как школьная словарная тетрадка, и, из-за большого количества листов, совершенно бесформенная.

— Итак, — сказал следователь, полистал свою тетрадь и обратился к К. в тоне утверждения:

— Вы — маляр?

— Отнюдь, — сказал К., — я первый прокурист в крупном банке.

На этот ответ правая партия отозвалась снизу таким заразительным смехом, что невольно засмеялся и К. Люди упирались руками в колени и сотрясались, как от тяжелых приступов кашля. Даже на галерее кое-кто смеялся. Совершенно взбешенный, следователь, который, по-видимому, был бессилен против людей внизу, постарался отыграться на верхних; он вскочил, яростно грозя галерее, и его обычно малозаметные брови большими черными кустами нависли у него над глазами.

Но левая половина зала по-прежнему молчала, люди там стояли рядами, обратив лица к подиуму, и воспринимали слова, которыми обменивались наверху, так же спокойно, как и шум с другой стороны; они терпели даже то, что некоторые в их рядах время от времени подавали голос вместе с другой партией. Люди из этой, левой партии, менее, кстати, многочисленной, в сущности могли точно так же ничего не значить, как и люди из другой, правой, но, благодаря своему спокойному поведению, они казались значительнее. И, начав теперь говорить, К. был

убежден, что говорит в их духе.

— Ваш вопрос, господин следователь, не являюсь ли я маляром, — более того, вы даже не спрашивали, вы мне прямо это заявили, — весьма показателен для всего характера того дела, которое ведется в отношении меня. Вы можете возразить, что это вообще не дело, и будете совершенно правы, ибо это дело только в том случае является настоящим делом, если я признаю его таковым. Так вот, настоящим я на данный момент его признаю — в какой-то мере из сочувствия. К нему нельзя относиться иначе как с сочувствием, если на него вообще следует обращать внимание. Я не говорю, что вы занимаетесь нечистым делом, но я хотел бы предложить вам самому признать это с полным самообладанием.

К. сделал паузу и посмотрел сверху вниз в зал. Он выразился энергично — энергичнее, чем хотел, — но ведь это было справедливо. Пожалуй, он заслужил аплодисменты с той или этой стороны, однако было тихо, все с явным напряжением ждали того, что за этим последует; быть может, в этой тишине вызревал взрыв, который положит конец всему. Дверь, открывшаяся в этот момент в конце зала, стала помехой; молодая прачка, видимо, окончившая свою работу, вошла в зал и,

несмотря на все принятые ею меры предосторожности, обратила на себя некоторое количество взглядов. Кажется, только следователь откровенно порадовал К., немедленно обидевшись прозвучавшими словами. Кроме того, он, член суда, слушая, все еще стоял, поскольку обращение К. застигло его в тот момент, когда он вскочил на страх галерее. Теперь, в паузе, он постепенно опускался, так, словно хотел, чтобы это было незаметно. Возможно, для того, чтобы успокоить возбуждение, он снова взял свою тетрадочку.

— Это не поможет, — продолжал К., — даже ваша тетрадочка, господин следователь, подтверждает то, что я говорю.

Удовлетворенный тем, что в этом незнакомом собрании звучат только его спокойные слова, К. осмелел настолько, что, не долго думая, выхватил у следователя его тетрадку и, словно брезгуя, высоко поднял ее кончиками пальцев за внутренний лист, так что на обе стороны свесились сплошь исписанные, заляпанные листы с пожелтевшими краями.

— Вот так выглядят акты этого следователя, — сказал он и разжал пальцы; тетрадь шлепнулась на стол. — Можете спокойно читать дальше, господин следователь, такой юридической про-

писи я уж никак не боюсь, хотя она для меня и недоступна, поскольку я брал ее исключительно двумя пальцами — показать, а в руки взять бы не решился.

То, что следователь схватил свою тетрадочку, когда она упала на стол, постарался как-то привести ее в порядок и собирался снова ее читать, могло быть только свидетельством его глубокого унижения или, по крайней мере, должно было производить такое впечатление.

Взгляды людей первого ряда так напряженно были устремлены на К., что и он некоторое время смотрел на них сверху вниз. Это были сплошь пожилые люди, некоторые — с седыми бородами. Может быть, они и были теми, кто решал, кто мог повлиять на всех собравшихся, замерших с того самого момента, как заговорил К., в полной неподвижности, из которой их не могло вывести даже это унижение следователя?

— То, что случилось со мной, — продолжал К. несколько тише, чем прежде, вновь и вновь ощупывая глазами лица первого ряда, что вносило в его речь оттенок некоторого беспокойства, — то, что случилось со мной, — это, конечно, всего лишь частный случай, и как таковой особого значения не имеет, поскольку я не принимаю все

это слишком всерьез, однако это показатель того, как ведутся дела против многих других. И я стою здесь не за себя, а за них.

Он невольно возвысил голос. Кто-то в зале захлопал поднятыми вверх руками и выкрикнул:

— Браво! Почему бы и нет? Браво! и еще раз браво!

Некоторые из первого ряда теребили бороды, на выкрик никто не обернулся. К. тоже не придал ему значения, но все же это была поддержка; К. теперь уже совсем не считал необходимым, чтобы ему все рукоплескали, достаточно, если общество начнет задумываться об этом деле и хотя бы некоторых удастся убеждением привлечь на свою сторону.

— Я не стремлюсь к ораторскому успеху, — сказал К., озвучивая свои размышления, — да он для меня и недостижим. Господин следователь говорит, по всей вероятности, значительно лучше, ведь это — часть его профессии. Что касается меня, то я хочу лишь публичного обсуждения публичного безобразия. Посудите сами: около десяти дней тому назад я был арестован; над самим фактом этого ареста я смеюсь, но это сейчас к делу не относится. Я был захвачен врасплох, утром, в постели; возможно, — судя по тому, что сказал

следователь, этого нельзя исключать, — имелся приказ арестовать некоего маляра, столь же невинного, как и я, но остановились на мне. Соседней комнатой завладели два грубых охранника. Будь я опасным разбойником, и то нельзя было бы принять больших мер предосторожности. Эти охранники, кроме того, были разложившиеся мародеры, они прожужжали мне все уши, они хотели, чтобы их подкупили, они обманным путем пытались выманить у меня белье и одежду, они спрашивали денег якобы для того, чтобы принести мне завтрак, — после того, как мой собственный завтрак бесстыдно сожрали у меня на глазах. Но это еще не все. Меня отвели в третью комнату, к надзирателю. Это была комната одной дамы, которую я высоко ценю, и мне пришлось быть свидетелем того, как эта комната из-за меня, хотя и не по моей воле, была вторжением этих охранников и этого надзирателя в известном смысле осквернена. Мне нелегко было сохранить спокойствие. Тем не менее мне это удалось, и я совершенно спокойно спросил этого надзирателя — будь он здесь, он вынужден был бы это подтвердить, — почему я арестован. И что же ответил мне этот надзиратель — я и сейчас еще вижу его перед собой, сидящего на месте упомянутой

дамы как олицетворение тупого высокомерия? Господа, он не ответил мне, по существу, ничего! Вероятно, он и в самом деле ничего не знал: он арестовал меня и был этим удовлетворен. Он сделал даже больше, чем требовалось, приведя в комнату этой дамы троих мелких служащих из моего банка, которые занимались тем, что трогали, приводя в непредусмотренное положение, фотографии, этой даме принадлежащие. Присутствие этих служащих имело, естественно, еще и другую цель: они должны были — так же как моя квартирная хозяйка и ее горничная — распространить известие о моем аресте, повредить моему общественному лицу и, в особенности, поколебать мое положение в банке. Так вот, ничего этого не удалось достичь, причем ни в малейшей степени, даже моя квартирная хозяйка, личность совершенно простая, — я хочу в почтительном смысле упомянуть здесь ее имя: ее зовут фрау Грубах, — даже фрау Грубах оказалась достаточно сообразительной, чтобы понять, что подобный арест значит не больше, чем нападение каких-нибудь уличных подростков, за которыми отсутствует надлежащий надзор. Я повторяю: для меня все это явилось лишь неприятностью и поводом для мимолетного раздражения, но разве не

могло это иметь и более тяжелых последствий?

Когда К. в этом месте сделал паузу и взглянул на молчавшего следователя, ему показалось, что он заметил, как тот взглядом подал знак кому-то в толпе. К. усмехнулся и сказал:

— Только что господин следователь, вот тут, рядом со мной, подал кому-то из вас тайный знак. Среди вас, следовательно, есть люди, которыми дирижируют отсюда, сверху. Я не знаю, должен ли этот знак вызвать теперь шиканье или аплодисменты, и я — тем, что преждевременно раскрываю всю эту кухню, — совершенно сознательно отказываюсь узнавать смысл этого знака. Мне это совершенно безразлично, и я публично предоставляю господину следователю право руководить своими платными сотрудниками там, внизу, не посредством тайных знаков, а громко, словами, скажем, командуя им в одном месте: «Здесь шикать!», а в другом месте: «Здесь хлопать!».

Следователь от смущения или от нетерпения ерзал на своем стуле взад и вперед. Человек за его спиной, с которым он до этого уже разговаривал, вновь наклонился к нему — то ли для того, чтобы поднять ему настроение, то ли чтобы дать ему какой-то конкретный совет. Люди внизу тихо,

но оживленно переговаривались. Две партии, которые раньше придерживались, казалось, совершенно противоположных мнений, перемешались; одни люди показывали пальцем на К., другие — на следователя. Крайне неприятен был удушливый чад, висевший в комнате, он даже мешал как следует разглядеть тех, кто стоял поодаль. В особенности большую помеху он должен был представлять для посетителей галереи; чтобы лучше понимать происходящее, они были вынуждены тихо — и, разумеется, с опаской косясь на следователя — обращаться с вопросами к участникам собрания. Ответы давались так же тихо, сквозь сложенные рупором ладони.

— Я уже заканчиваю, — сказал К. и, поскольку колокольчик отсутствовал, стукнул кулаком по столу; испуганные этим, головы следователя и его советчика на мгновение разъединились. — Меня это дело не касается, поэтому я сужу о нем спокойно, вы же, если считаете, что для вас этот так называемый суд что-то значит, можете извлечь для себя большую пользу, выслушав меня. Ваши двусторонние обсуждения моих высказываний я прошу отложить на более поздний срок, поскольку времени у меня мало и я скоро уйду.

Сразу стало тихо — настолько К. уже овладел

этим собранием. Они уже больше не кричали все сразу, как вначале, и даже больше не аплодировали; они, казалось, уже были вполне убеждены им — или доходили до полного убеждения.

— Нет никаких сомнений, — сказал К. очень тихо, поскольку его радовало напряженное внимание собравшихся; из их молчания возникала та звенящая тишина, которая возбуждает сильнее, чем самые восторженные овации, — нет никаких сомнений в том, что за всеми постановлениями этого суда, то есть, в моем случае, за арестом и сегодняшним слушанием, стоит какая-то большая организация. Организация, которая обеспечивает работой не только продажных охранников, глупых надзирателей и следователей, способных, в лучшем случае, вызвать жалость, но, кроме того, наверняка содержит судебные учреждения высокого и высшего уровня с их бесконечной чередой неминуемых служащих, писцов, жандармов и прочего подручного персонала — и, возможно даже, я не боюсь этого слова, палачей. И какова же, господа, задача этой большой организации? Она состоит в том, чтобы арестовывать невинных людей и возбуждать против них бессмысленные и большей частью, как в моем случае, бесперспективные дела. Но как при такой бессмысленности

целого можно избежать бесстыднейшей коррупции служащих? Это невозможно, этого не смог бы добиться и самый высший судья — даже в отношении самого себя. Поэтому охранники пытаются украсть одежду арестованного прямо с тела, поэтому надзиратели врываются в чужие квартиры, поэтому невинного, вместо того чтобы допросить, предпочитают унижать перед целым собранием. Охранники мне лишь рассказывали о местах, куда сдается на хранение собственность арестованных; хотел бы я когда-нибудь увидеть эти места сохранения, где лежат и гниют заработанные в поте лица пожитки арестованных, если только они не раскрадены вороватыми чиновниками.

Пронзительный визг с другого конца зала прервал его; К. приставил ладонь ко лбу, чтобы что-то там разглядеть, так как свет пасмурного дня делал чад белесым и слепил глаза. Все дело было в той прачке, в которой К. сразу, едва только она вошла, увидел существенную помеху. Она ли была сейчас виновата или нет, понять было

нельзя.[8] К. видел только, что какой-то мужчина затащил ее в угол возле двери и там прижал к себе. Но визжала не она, а этот мужчина; рот у него был широко раскрыт и глаза устремлены к потолку. Вокруг обоих образовался маленький кружок; ближайшие посетители галереи были, казалось, в восторге, оттого что серьезность, которую К. внес в собрание, была таким образом нарушена. К., поддаваясь первому побуждению, хотел сразу же туда бежать; ведь это, думал он, и для всех должно быть важно — навести там порядок и, по крайней мере, выставить эту парочку из зала, но первые ряды перед ним продолжали стеной стоять на своем месте, никто не двинулся и никто не пропустил К. Наоборот, ему помешали, эти старые люди выставили вперед локти, и какая-то рука — у него не было времени оглядываться — схватила его сзади за шиворот. К., собственно, уже и не думал о той парочке, у него было такое ощущение, словно ограничили его свободу, словно его арест стал чем-то серьезным, и он, не раздумывая, прыгнул с подиума вниз. Теперь он

---

[8] Примечания: 8

Вычеркнуто автором:

К. видел только, что ее расстегнутая блузка была спущена и болталась вокруг ее талии и что какой-то мужчина затащил ее в угол возле двери и там прижимался к ее прикрытой одной лишь рубашкой груди.

стоял лицом к лицу с толпой. Он неверно судил об этих людях? Он переоценил воздействие своей речи? Или, когда он говорил, они притворялись, а теперь, когда дело дошло до выводов, решили, что уже хватит? Что это за лица вокруг него! Маленькие черные глазки бегают из стороны в сторону, щеки отвисают, как у запойных пьяниц, длинные бороды настолько редки и жестки, что если ухватить такую, то покажется, что просто какой-то коготь образовался, а не борода ухвачена. Но под бородами — и это было настоящим открытием для К. — на воротниках сюртуков поблескивали знаки различия разных размеров и цветов. И насколько он мог видеть, такие знаки были у всех. Они все были однокорытники, и правые и левые из этих мнимых партий, и, когда он неожиданно обернулся, он увидел такой же знак на воротнике следователя, который, сложив руки под животом, спокойно смотрел вниз.

— Вот как, — крикнул К. и вскинул вверх руки, выплескивая в пространство то, что так неожиданно узнал, — вы, значит, все здесь, как я вижу, сотрудники, вы, значит, и есть та самая коррумпированная банда, против которой я выступал, вы набились сюда как слухачи и шпики, разделились для виду на партии, и одна аплодировала

мне, чтобы меня прощупать, — вы отрабатывали обольщение невинного! Ну что ж, надеюсь, вы не зря приходили и либо развлеклись тем, что от вас кто-то ожидает защиты невинности, либо — отстань или стукну! — заорал К. на какого-то трясущегося старика, который особенно близко к нему придвинулся, — либо и в самом деле что-то отработали. И тогда примите пожелания успехов в вашем ремесле.

Он быстро схватил свою шляпу, лежавшую на краю стола, и начал проталкиваться в абсолютной тишине — во всяком случае, в тишине полнейшего ошеломления — к выходу. Однако следователь, похоже, был еще шустрее, чем К., ибо уже ждал его у дверей.

— Минуточку, — сказал он.

К. остановился, но смотрел не на следователя, а на дверь, за ручку которой он уже взялся.

— Я хотел только обратить ваше внимание на то, — сказал следователь, — что вы сегодня — это, кажется, еще не дошло до вашего сознания — лишили себя тех преимуществ, которые допрос во всех случаях предоставляет арестованным.

К. рассмеялся в дверь.

— Вы негодяи, — крикнул он, — плевал я на ваши допросы, — открыл дверь и заторопился

вниз по лестнице.

За его спиной нарастал шум вновь ожившего собрания; там, по-видимому, начали разбирать происшедшее, как это обычно делается при отработке учебного процесса.

Глава третья
В ПУСТОМ ЗАЛЕ СУДА. СТУДЕНТ. КАНЦЕЛЯРИИ

В продолжение следующей недели К. изо дня в день ждал нового уведомления, он не мог поверить в то, что его отказ от допросов был принят буквально, и, когда ожидавшегося вплоть до субботнего вечера уведомления так-таки и не поступило, он предположил, что его молча вновь приглашают на то же время в тот же день. Поэтому в воскресенье он вновь отправился туда, и на этот раз уже уверенно шел по лестницам и коридорам; некоторые люди вспоминали его и приветствовали из своих дверей, но ему уже не нужно было никого спрашивать, и вскоре он стоял перед нужной дверью. На стук ему сразу же открыли, и он, не обращая внимания на знакомую женщину, оставшуюся стоять в дверях, хотел сразу пройти в соседнюю комнату.

— Сегодня заседания нет, — сказала женщина.

— Почему это нет? — спросил он, не желая верить.

Но женщина убедила его, открыв дверь в со-

седнюю комнату. Комната действительно была пуста и в своей пустоте выглядела еще более убогой, чем в прошлое воскресенье. На столе, все так же стоявшем на подиуме, лежало несколько книг.

— Могу я взглянуть на книги? — спросил К. не из какого-то особого любопытства, а просто чтобы не вышло, что он приходил сюда совершенно зря.

— Нет, — сказала женщина и снова закрыла дверь, — это не разрешается. Книги принадлежат следователю.

— Ах, вот так, — сказал К. и кивнул, — эти книги, очевидно, — кодексы, и, в полном соответствии с характером здешнего суда, приговор выносится не только невинному, но и невежественному.

— Так оно и будет, — сказала женщина, не совсем его поняв.

— Ну, тогда я ухожу отсюда, — сказал К.

— Передать что-нибудь следователю? — спросила женщина.

— Вы его знаете? — спросил К.

— Естественно, — сказала женщина, — ведь мой муж служит при суде.

Только сейчас К. увидел, что это помещение, в котором тогда стоял один только чан для стирки,

теперь представляло собой полностью обустроенную жилую комнату. Женщина заметила его удивление и сказала:

— Да, нам дали здесь бесплатное жилье, но в дни заседаний мы должны освобождать комнату. Место моего мужа — не из лучших.

— Я не столько удивляюсь этой комнате, — сказал К., зло взглянув на нее, — сколько тому, что вы замужем.

— Это вы, может, намекаете на тот случай в прошлое заседание, когда вашей речи помешали? — спросила женщина.

— Разумеется, — сказал К., — сегодня это, конечно, уже дело прошлое и почти забытое, но тогда меня это просто взбесило. А теперь вот вы сами говорите, что вы замужняя женщина.

— Это было вам не во вред, что ваша речь прервалась. Потом о ней еще говорили, и очень не в вашу пользу.

— Возможно, — сказал К., уклоняясь от этой темы, — но вас это не извиняет.

— Меня все извинили, кто меня знает, — сказала женщина, — тот, который меня тогда обнимал, уже давно за мной бегает. Я, может, для всех и не такая прельстительная, но для него — такая. Просто никакого спасения нет, с этим уже и мой

муж смирился, он должен это терпеть, если хочет сохранить свое место, потому что тот человек студент и, по всему видно, до большой власти дойдет. Все время пристает ко мне со своими ухаживаниями, вот только что ушел, как раз перед вашим приходом.

— Меня это не удивляет, — сказал К., — это соответствует всему остальному.

— А вы, может, хотите тут что-нибудь улучшить? — сказала женщина, растягивая слова и испытующе глядя на него, словно говорила что-то опасное и для нее, и для К. — Я это еще по вашей речи поняла, которая лично мне очень даже понравилась. Я, правда, только часть слышала, начало пропустила, а под конец лежала со студентом на полу… А здесь так противно, — сказала она после паузы и схватила руку К. — Вы думаете, вам удастся добиться какого-нибудь улучшения?

К. усмехнулся и немного повернул руку в ее мягких ладонях.

— Собственно говоря, — сказал он, — я не уполномочен добиваться здесь каких-то улучшений, как вы выражаетесь, и, если бы вы, к примеру, сказали об этом следователю, вас бы высмеяли или наказали. На самом деле, по своей воле я бы в эти дела, определенно, не стал вмешиваться, и

необходимость внесения улучшений в подобное судопроизводство никогда бы не потревожило моего сна. Но из-за так называемого ареста — я ведь арестован — я был вынужден вмешаться, исключительно ради самого себя. Однако, если я при этом смогу и для вас сделать что-то полезное, я это, естественно, с удовольствием сделаю. И не только из какой-то там любви к ближнему, но еще и потому, что и вы могли бы доставить удовольствие мне.

— Чем бы это я могла? — спросила женщина.

— Ну, показали бы мне, например, те книги на столе.

— Да пожалуйста, — воскликнула женщина и потащила его, вынуждая бежать за ней.

Это были старые, захватанные книги, крышка одного переплета была в середине почти целиком разломана, и куски едва держались на ниточках.

— Как здесь все грязно, — сказал, качая головой, К., и, пока он еще не успел прикоснуться к книгам, женщина попыталась подолом смахнуть с них пыль.

К. раскрыл верхнюю книгу, на развороте возникла непристойная картинка. Мужчина и женщина сидели, голые, на оттоманке, пошлое намерение живописца прочитывалось ясно,

но его неумелость была столь велика, что в конечном счете видны были все-таки только мужчина и женщина, у которых отдельные части тела слишком выступали из картинки, которые неестественно прямо сидели и из-за неверной перспективы лишь с трудом поворачивались друг к другу. К. не стал листать дальше, он только еще открыл титульный лист второй книги; это был роман с заглавием: «Мучения, кои пришлось претерпеть Грете от мужа ее Ганса».

— Вот кодексы, которые здесь штудируют, — сказал К., — и такие люди будут меня судить.

— Я помогу вам, — сказала женщина. — Хотите?

— Но вы в самом деле сумеете помочь, не подвергая себя опасности? Вы же говорили, что место вашего мужа очень зависит от начальства.

— А я все равно хочу вам помочь, — сказала женщина, — идемте, надо это обсудить. И не говорите больше об опасностях, я боюсь опасности только там, где хочу ее бояться. Идемте, — она указала на подиум и попросила его присесть вместе с ней на ступеньку. — У вас глаза красивые, темные, — сказала она после того, как они сели, и снизу заглянула К. в лицо, — мне говорят, что у меня тоже красивые глаза, но ваши намного

красивее. Вы мне, вообще-то, сразу понравились, еще когда в первый раз сюда пришли. Это ведь я из-за вас потом, позже, зашла сюда, в комнату собраний, я обычно так никогда не делаю, мне это даже, вообще-то, запрещено.

Вот, стало быть, и все, думал К., она предлагает мне себя, она испорченна, как все здесь вокруг, она уже наелась судейскими, что, впрочем, можно понять, и поэтому каждого свежего человека встречает комплиментом его глазам. И К. молча встал, словно он высказал свои мысли вслух и тем самым уже объяснил женщине свое поведение.

— Не думаю, чтобы вы могли мне помочь, — сказал он, — чтобы действительно мне помочь, нужно иметь отношения с высокими чиновниками. Вы же, разумеется, знаете только тех низовых сотрудников, которые бродят здесь толпами. Этих вы, разумеется, знаете очень хорошо и кое-что можете от них получить, в этом я не сомневаюсь, но даже самое большее, что вы могли бы от них получить, на окончательный исход моего процесса совершенно не повлияло бы. А вы из-за этого растеряли бы кое-каких друзей. Этого я не хочу. Продолжайте ваши прежние отношения с этими людьми и дальше, поскольку, как мне кажется, вы без этого не можете. Я говорю это не

без сожаления, так как — чтобы уж все-таки чем-то ответить на ваш комплимент — и вы вполне мне нравитесь, особенно когда смотрите на меня так печально, как сейчас, для чего, впрочем, нет совершенно никаких оснований. Вы принадлежите к обществу, с которым я вынужден бороться, но вы чувствуете себя в этом обществе очень хорошо, вы даже любите этого студента, а если и не любите, то, по крайней мере, все же предпочитаете его вашему мужу. Это нетрудно было понять из ваших слов.

— Нет! — крикнула она и, не вставая, схватила руку К., которую он недостаточно быстро убрал. — Вы не можете сейчас уйти отсюда, вы не можете уйти отсюда, так несправедливо осудив меня! Неужели вы действительно способны сейчас уйти! Неужели я действительно настолько ничего не стою, что вы не захотите доставить мне даже такое удовольствие, чтобы еще немножко здесь побыть?

— Вы не так меня поняли, — сказал К. и сел. — Если для вас это действительно так важно, чтобы я здесь побыл, я охотно побуду, время-то у меня есть, я ведь пришел сюда, рассчитывая, что сегодня состоится слушание. А в том, что я говорил перед этим, была только просьба, чтобы вы ни-

как не пытались воздействовать на ход моего процесса. Но и это не должно вас обижать, если вы вспомните, что исход этого процесса для меня совершенно не важен и что я над каким-то там вынесением приговора только посмеюсь. Если вообще считать, что дело дойдет до настоящего окончания процесса, в чем я очень сомневаюсь. Я, напротив, полагаю, что из-за лени этого чиновничества, или по забывчивости, или, может быть даже, от страха дело уже прекращено или будет прекращено в ближайшее время. Впрочем, возможно также, что для вида процесс будут продолжать в надежде на какую-нибудь взятку покрупнее — и совершенно напрасно, это я уже сегодня могу сказать, потому что взяток я никому не даю. И вы все-таки могли бы оказать мне любезность, если бы сообщили этому следователю или кому-то еще, кто любит распространять важные сведения, что меня никогда и никакими уловками, которых у этих господ в запасе, по-видимому, еще много, не удастся склонить к какой бы то ни было взятке. Это было бы совершенно безнадежно, так прямо можете им и передать. Впрочем, возможно, они это уже поняли и сами, а если даже и нет, то для меня вовсе не так уж крайне важно, чтобы они это уже сейчас узнали.

Просто это избавило бы господ от лишней работы; впрочем, и меня тоже — от некоторых неприятностей, которые я, однако, с удовольствием на себя приму, если буду знать, что каждая из них в то же время будет и ударом по этим господам. А так оно и будет, об этом я позабочусь. Вы следователя-то по-настоящему знаете?

— Естественно, — сказала женщина, — я даже сразу о нем подумала, когда предлагала вам помочь. Я не знала, что он всего лишь низовой чиновник, но раз вы так говорите, то, наверное, это правильно. Но все равно, я думаю, что отчеты, которые он подает наверх, все-таки оказывают какое-то влияние. А он ведь столько отчетов пишет. Вы вот говорите, что чиновники ленивые, но наверняка — не все, и особенно этот следователь — нет, он очень много пишет. В прошлое воскресенье, например, заседание кончилось где-то уже вечером. Все люди разошлись, а следователь остался в зале, мне пришлось дать ему лампу, у меня была только моя маленькая кухонная лампа, но он и такой был доволен и сразу начал писать. В это время пришел мой муж, который как раз в то воскресенье был свободен, мы внесли мебель, снова обустроили нашу комнату, потом еще пришли соседи, и мы еще посидели при свеч-

ке, короче, мы позабыли о следователе и легли спать. Вдруг среди ночи, а это, наверное, уже была глубокая ночь, я просыпаюсь — у кровати стоит следователь и прикрывает рукой мою лампу, чтобы на мужа свет не падал, ненужная была предосторожность, у моего мужа такой сон, что его бы этот свет не разбудил. Я так испугалась, что чуть не вскрикнула, но следователь был очень любезен, предостерегал меня от неосторожности, шептал мне, что он до сих пор все писал, а теперь принес мне назад лампу и что он никогда не забудет, как я выглядела, когда он нашел меня спящей. Всем этим я хочу только сказать вам, что следователь на самом деле пишет много отчетов, в особенности про вас, потому что ваш допрос, конечно же, был одним из главных вопросов воскресного заседания. Но такие длинные отчеты не могут же не иметь совсем никакого значения. А кроме того, из этого случая вам ведь тоже может быть понятно, что следователь меня домогается и что я именно теперь, в самое-то первое время — он ведь, кажется, вообще только теперь меня заметил, — могу иметь на него большое влияние. А что я ему очень даже небезразлична, этому теперь есть у меня еще и другие доказательства. Он вчера через студента, которому он очень до-

веряет и который у него в сотрудниках, прислал мне шелковые чулки в подарок якобы за то, что я убираю комнату заседаний, но это только предлог, потому что такая работа — это же просто моя обязанность, и за нее платят моему мужу. Красивые чулки, вот, глядите, — она вытянула ноги, подобрала юбки до колен и сама тоже полюбовалась чулками, — красивые чулки, но, вообще-то, все-таки слишком тонкие и для меня не подходящие.

Она вдруг замолчала, накрыла рукой руку К., словно желая его успокоить, и прошептала:

— Тихо, Бертольд на нас смотрит.

К. медленно поднял взгляд. В дверях комнаты заседаний стоял молодой человек; он был маленького роста, имел не совсем прямые ноги и короткую реденькую рыжеватую бородку, которую все время поглаживал пальцами, стараясь придать себе значительности. К. смотрел на него с любопытством, ведь это был первый студент неведомого правоведения, которого он встречал, условно говоря, в человеческом облике, а также будущий чиновник, который когда-нибудь, возможно, дорастет до высокого служебного места. Напротив, студент, казалось, не обращал на К. никакого внимания, он лишь одним пальцем, ко-

торый на мгновение выставил из своей бороды, поманил женщину и отошел к окну; женщина склонилась к К. и зашептала:

— Не сердитесь на меня, очень, очень вас прошу, и не думайте обо мне плохо, я должна сейчас пойти к нему, к этому ужасному человеку, посмотрите только на его кривые ноги. Но я сразу же вернусь и тогда пойду с вами, если вы меня возьмете с собой, я пойду, куда вы захотите, вы сможете со мной сделать все, что захотите, я буду счастлива уйти как можно дальше отсюда и так надолго, как только можно, а лучше всего, конечно, навсегда.

Она еще погладила напоследок руку К., вскочила и побежала к окну. К., невольно попытавшийся поймать ее руку, схватил пустоту. Эта женщина в самом деле увлекла его и, несмотря на все сомнительные обстоятельства, он не находил такой веской причины, по которой он не должен был поддаваться этому увлечению. Мимолетное подозрение, что эта женщина ловит его для суда, он без труда отвел. Каким образом она могла его поймать? Разве он не оставался по-прежнему так свободен, что весь этот суд, по крайней мере, в части, его касающейся, мог разгромить в один момент? Разве у него не было оснований для этой

маленькой уверенности в себе? А ее предложение помочь звучало искренне и, может быть, не было уж совсем ничего не стоящим. И в плане мести этому следователю и всем его прихвостням — что могло быть лучше, чем увести у них эту женщину и присвоить ее? Тогда могло бы когда-нибудь случиться и так, что этот следователь, после изнурительной работы над своими лживыми отчетами о К., поздней ночью нашел бы кровать этой женщины пустой. И пустой потому, что она принадлежала бы К., потому, что эта женщина у окна, это пышное, гибкое, теплое тело в темном платье из грубой, тяжелой материи целиком принадлежало бы только К.

После того как он таким образом устранил все сомнения в отношении этой женщины, тихий разговор двоих у окна показался ему слишком долгим и он постучал по подиуму костяшками пальцев, а потом и кулаком. Студент бросил короткий взгляд через плечо женщины в сторону К., но не воспринял его как помеху, более того, он даже теснее прижался к женщине и обнял ее. Она низко склонила голову, с виду внимательно его слушая, а он, когда она склонилась, звучно поцеловал ее в шею, не прерывая сколько-нибудь значительно течения своей речи. Увидев

в этом подтверждение той тирании, которую, как жаловалась женщина, этот студент над нею осуществлял, К. встал и начал прохаживаться по комнате взад и вперед. Искоса поглядывая на студента, он обдумывал, как бы наибыстрейшим образом выставить его отсюда, и потому не испытал неприятных чувств, когда студент, очевидно потревоженный этим хождением К., которое временами уже переходило в топанье, заметил:

— Если вам невтерпеж, так можете и убираться отсюда. Могли бы уже и раньше убраться, никто в вас здесь не нуждается. Да вы даже и обязаны были уйти, и именно при моем появлении, и именно немедленно.

В этом замечании, наверное, выплеснулась вся ярость, какая только была возможна, но, во всяком случае, в нем было и высокомерие будущего члена суда, говорящего с ненавистным обвиняемым. К. остановился совсем близко от него и сказал, усмехаясь:

— Мне не терпится, это верно, но устранить это нетерпение будет легче всего, если нас покинете вы. Но если вы, может быть, пришли сюда, чтобы заниматься, — я слышал, что вы студент, — то я охотно освобожу вам место и уйду вместе с этой женщиной. А вам, кстати, еще много предстоит

занятий, прежде чем вы станете судьей. Хотя я знаком еще не со всеми деталями вашего судопроизводства, но полагаю, что одним только произнесением грубых речей, каковым искусством вы, впрочем, уже до бесстыдства хорошо овладели, дело далеко еще не исчерпывается.

— Не надо было оставлять его разгуливать на свободе, — сказал студент, словно желая дать женщине объяснение по поводу этой оскорбительной речи К., — это была ошибка. Я так следователю и сказал. Надо было, чтобы он между допросами сидел, по крайней мере, в своей комнате. Следователя иногда невозможно понять.

— Ненужные разговоры, — сказал К. и протянул руку к женщине,[9] — идемте.

— Ах так, — сказал студент, — нет-нет, эту вы не получите, — и с силой, которой в нем нельзя было предположить, подхватил женщину одной рукой и, сгибаясь и нежно глядя на нее снизу вверх, побежал к двери.

---

[9] Примечания: 9

Вычеркнуто автором:

К. хотел уже схватить женщину за руку, которую она явно, хотя и робко, пыталась протянуть к нему, когда его внимание привлекли слова этого студента. Студент был болтлив и хвастлив, может быть, от него удастся получить более точные детали обвинения, выдвинутого против К. Знай К. эти детали, он несомненно смог бы разом, одним мановением руки мгновенно — и ко всеобщему испугу — положить конец этому процессу.

В этом нельзя было не увидеть известного страха перед К., тем не менее он осмеливался вдобавок ко всему гладить и пожимать свободной рукой руку женщины, еще больше распаляя К. К. несколько шагов бежал рядом с ним, готовый схватить его и, если понадобится, придушить, но в этот момент женщина сказала:

— Ничего не поделаешь, следователь послал его за мной, мне нельзя пойти с вами, это маленькое чудовище, — при этом она провела ладонью по лицу студента, — это маленькое чудовище меня не выпустит.

— Вы и сами не хотите освобождения! — крикнул К. и опустил руку на плечо студента, который попытался цапнуть ее зубами.

— Нет! — крикнула женщина, отгоняя К. обеими руками, — нет, нет, только не это, что это вы вздумали! Или вы хотите моего падения? Оставьте же его, о, пожалуйста, оставьте же его. Он ведь только исполняет приказ следователя и несет меня к нему.

— Тогда пусть бежит, а вас я не хочу больше видеть, — крикнул К. в ярости от разочарования и пнул студента в спину так, что тот слегка споткнулся, но сразу вслед за тем даже еще и подпрыгнул вместе со своей ношей от удовольствия,

что не упал.

К. медленно следовал за ними, он понимал, что это было первое несомненное поражение, которое он терпел от этих людей. Не было, разумеется, никаких причин из-за этого пугаться. Ведь поражение было лишь следствием того, что он искал борьбы. Оставайся он дома и продолжай вести свою обычную жизнь, он имел бы тысячекратное превосходство над каждым из этих людей и мог бы любого из них одним пинком убрать с дороги. И он вообразил себе прекомичнейшую сцену, которая получилась бы, например, если бы этот жалкий студент, этот надутый молокосос, этот согнутый бородастик стоял на коленях у постели Эльзы и, сложив руки, умолял о милости. К. так понравилась эта воображаемая сцена, что он решил, если только представится удобный случай, как-нибудь захватить этого студента с собой к Эльзе.

Движимый любопытством, К. поспешил к двери, он хотел посмотреть, куда понесут женщину, не потащит же ее этот студент на руке куда-нибудь по улицам. Как оказалось, путь был значительно короче. Прямо напротив квартиры была узкая деревянная лестница, по-видимому, на чердак; лестница делала излом, и конца ее

не было видно. По этой лестнице студент и нес женщину наверх, но уже очень медленно и со стонами, поскольку ослабел от предыдущего пробега. Женщина сверху махала К. рукой и пыталась пожатиями плеч показать, что не виновата в уводе, однако большого сожаления в этом движении не было. К. смотрел на нее без всякого выражения, как на постороннюю, не желая показать ни своего разочарования, ни того, что ему не составит труда это разочарование преодолеть.

Парочка вскоре исчезла, но К. по-прежнему оставался стоять в дверях. Он вынужден был признать, что эта женщина не только изменила ему, но и солгала, сообщив, что ее понесут к следователю. Не станет же следователь сидеть на чердаке и ждать. И сколько бы он ни таращился на эту деревянную лестницу, она ничего ему не объясняла. Тут К. заметил рядом с этой лестницей маленький листок, подошел поближе и прочел нацарапанные нетвердым детским почерком слова: «Проход в канцелярии суда». Так, значит, здесь, на чердаке этого доходного дома помещаются канцелярии суда? Подобное местонахождение особого почтения не внушало, и для обвиняемого было утешением представлять себе, как же мало денежных средств находилось

в распоряжении этого суда, если он размещает свои канцелярии там, куда жильцы, которые и сами-то были из беднейших, выкидывали свой ненужный хлам. Впрочем, не исключено, что денег было достаточно, но на них до того, как они шли на нужды суда, накидывались чиновники. Судя по уже имевшемуся у К. опыту, это было даже более чем вероятно; подобное моральное разложение суда для обвиняемого было хотя и оскорбительным, но, в принципе, еще более утешительным, чем бедность суда. И теперь К. стало понятно, что они постыдились при первом допросе приглашать обвиняемого на чердак и предпочли докучать ему в его квартире. А все же в каком положении по сравнению с этим членом суда, сидящим на чердаке, находился он, К., у которого в банке был большой кабинет, а перед ним еще приемная, и который мог сквозь стекло огромного окна смотреть вниз на оживленную городскую площадь! Правда, побочных доходов от взяток и присвоения средств у него не было, да и приказать слуге принести на одной руке женщину в его кабинет он тоже не мог. Но от этого К. вполне готов был отказаться, по крайней мере, в этой жизни.

К. все еще стоял перед листочком указателя,

когда какой-то мужчина поднялся на этаж, заглянул в открытую дверь комнаты, сквозь которую виден был и зал заседаний, и наконец спросил К., не было ли здесь недавно женщины.

— Вы служитель при суде, не так ли?

— Да, — сказал мужчина, — а вы — ну да, вы обвиняемый К., теперь и я вас узнал, добро пожаловать.

И он — чего К. совсем не ожидал — протянул ему руку.

— А на сегодня про заседание не объявляли, — сказал он затем, поскольку К. молчал.

— Я знаю, — сказал К., разглядывая гражданский сюртук служителя суда, на котором, помимо нескольких обычных пуговиц, в качестве единственного официального знака отличия были и две позолоченные пуговицы, казалось, срезанные с какой-то старой офицерской шинели.

— Я некоторое время тому назад разговаривал с вашей женой. Ее здесь уже нет. Студент понес ее к следователю.

— Ну вот, — сказал служитель, — вечно ее от меня уносят. Сегодня ж воскресенье, я сегодня ничего делать не обязан, но, вот только чтобы меня отсюда убрать, посылают с каким-то никому не нужным сообщением. И причем посылают-то

недалеко, чтобы у меня надежда была, что, если я очень поспешу, так, может быть, еще вернусь вовремя. И вот я бегу со всех ног в то место, куда меня послали, приоткрыв дверь, кричу им в щель, — еле переводя дыхание, так что там едва ли что-то понимают, — мое сообщение и снова бегом назад, но, видно, студент торопился еще больше, чем я, да ведь и концы-то разные, ему только с чердака по лестнице сбежать. Не будь я так зависим, так я бы этого студента давно уже здесь, на этой стенке, раздавил. Вот здесь, под этим листочком указателя. Все время об этом мечтаю. Здесь вот, чуть-чуть над полом, так вот и вижу, как он придавлен: руки в стороны, пальцы растопырены, кривые ноги колесом скрючились и вокруг — брызги крови. Но пока это только мечта.

— А что, другого выхода нет? — спросил К., усмехаясь.

— Я никакого не вижу, — сказал служитель. — А теперь становится еще хуже, до сих пор он носил ее только к себе, а теперь носит еще и к следователю, — я, впрочем, уже давно этого ожидал.

— А ваша жена, что же, вообще не виновата? — спросил К., с трудом сдерживаясь при этом вопросе, такую жгучую ревность испытывал

теперь даже он.

— Еще как виновата, — сказал служитель, — даже и больше всех. Она же сама на нем повисла. Ну, что до него, то он за всеми бабами бегает. Его только в этом доме уже из пяти квартир выкидывали, в которые он пробирался. Правда, моя жена во всем доме самая красивая — и как раз мне-то и нельзя защищаться.

— Если дело обстоит таким образом, тогда все равно ничего не поможет, — сказал К.

— Почему это не поможет? — возразил служитель. — Надо только этого студента — он ведь трус — как-нибудь, когда он захочет тронуть мою жену, так взгреть, чтобы он никогда больше не смел этого делать. Но мне этого нельзя, а другие не хотят мне сделать такого одолжения, потому что все боятся его власти. Это только такой человек, как вы, мог бы сделать.

— Почему это я? — удивленно спросил К.

— Так вы ж обвиняемый, — сказал служитель.

— Да, — сказал К., — но ведь я тем более должен бояться, что он может так или иначе повлиять если не на исход процесса, то, возможно, на предварительное расследование.

— Это конечно, — сказал служитель так, словно слова К. были точно так же справедливы, как и

его собственные. — Но у нас, как правило, бесперспективных процессов не ведут.

— Я не разделяю вашего мнения, — сказал К., — но это не должно помешать при случае прижать этого студента к ногтю.

— Я был бы вам очень признателен, — несколько формально сказал служитель; на самом деле он, кажется, все-таки не верил в осуществимость своего заветнейшего желания.

— Возможно, — продолжил К., — и другие ваши чиновники заслуживают того же, возможно, даже и все.

— Да-да, — подтвердил служитель, как будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся, затем, взглянув на К. таким доверчивым взглядом, какого у него, при всем его дружелюбии, до этого не было, прибавил: — Все время же и бунтуют. — Однако от этого разговора ему, видимо, стало немного не по себе, потому что он прервал его, сказав: — Мне теперь надо доложиться в канцелярии. Пойдете со мной?

— Мне там нечего делать, — сказал К.

— Вы сможете взглянуть на канцелярии. Вас там никто не заметит.

— А там есть на что посмотреть? — спросил К. в нерешительности, но пойти вместе со служите-

лем ему очень хотелось.

— Ну, — сказал служитель, — я думал, вам интересно.

— Хорошо, — сказал К. наконец, — я пойду с вами.

И побежал вверх по лестнице быстрее служителя.

При входе он едва не упал, потому что за дверью была еще одна ступенька.

— Не очень-то тут заботятся о посетителях, — сказал К.

— Вообще не заботятся, — сказал служитель, — вы только взгляните, какая тут приемная.

Это был длинный коридор, из которого грубо отесанные двери вели в отдельные отсеки чердака. Хотя никакого прямого доступа света не было, но все же не было и совершенно темно, так как некоторые отсеки отделялись от коридора не сплошной дощатой перегородкой, а только деревянной решеткой, достававшей, впрочем, до потолка, сквозь которую проникало немного света и, кроме того, можно было увидеть отдельных чиновников, писавших за столами или стоявших как раз за этой решеткой и сквозь ее просветы наблюдавших за людьми в коридоре. Видимо, по случаю воскресенья людей в коридоре было

совсем немного. Впечатление они производили весьма невзрачное. Они сидели почти на равных расстояниях друг от друга на двух длинных деревянных скамьях, расположенных по обе стороны коридора. Одеты все были небрежно, несмотря на то, что, судя по выражениям лиц, осанке, окладистым бородам и многим едва уловимым мелким признакам, большинство принадлежало к высшим слоям общества. Так как никаких крючков для одежды не было, то свои шляпы они, видимо, подражая друг другу, составили под скамейку. При появлении К. и служителя те, кто сидел у самой двери, поднялись, приветствуя их; последующие, увидев это, решили, что также должны их приветствовать, так что по мере продвижения обоих по коридору все поднимались. При этом никто не выпрямлялся во весь рост, спины оставались сгорбленными, колени согнутыми; они стояли, как просящие подаяния на улице. К. подождал немного, пока подойдет отставший служитель, и сказал:

— Как они, должно быть, унижены.

— Да, — сказал служитель, — это обвиняемые; все, кого вы здесь видите, это обвиняемые.

— В самом деле! — сказал К. — Так они же тогда мои коллеги.

И он повернулся к ближайшему из них, высокому, стройному, почти уже седому мужчине.

— Чего вы здесь ждете? — вежливо спросил К.

Но это неожиданное обращение смутило мужчину; впечатление было тем более неприятное, что это явно был человек со знанием жизни, который где-нибудь в другом месте, несомненно, показал бы умение владеть собой и не отказался бы так просто от того превосходства, которого он достиг над многими. Но здесь он не мог найти ответа даже на такой простой вопрос и все оглядывался на других, словно они были обязаны ему помочь и словно никто не мог требовать от него какого-то ответа, раз этой помощи ему не подали. Тогда служитель подошел к мужчине и, пытаясь помочь и подбодрить, сказал:

— Этот господин всего лишь спрашивает, чего вы здесь ждете. Отвечайте же.

По-видимому, знакомый голос служителя лучше подействовал на мужчину.

— Я жду… — начал он и осекся.

Очевидно, он избрал такое начало, чтобы ответить точно на заданный вопрос, но теперь не мог найти продолжения.

Некоторые из ожидавших приблизились и обступили их, но служитель прикрикнул:

— Отойдите, отойдите, освободите проход.

Те отступили немного назад, но на свои прежние места не вернулись. За это время мужчина собрался и ответил — даже с легкой усмешкой:

— Месяц назад я подал ходатайство о допущении доказательств по моему делу и жду окончательного решения.

— Вы, похоже, немалые усилия предпринимаете, — сказал К.

— Да, — ответил мужчина, — но это же мое дело.

— Не все думают так, как вы, — сказал К., — меня, например, тоже обвиняют, но я — не пить мне чаши благодатной — не ходатайствовал о допущении доказательств и ничего другого в этом роде тоже не предпринимал. А вы считаете, это необходимо?

— Я точно не знаю, — сказал мужчина, вновь утратив всякую уверенность; он явно считал, что К. насмехается над ним, поэтому, боясь совершить какую-нибудь новую ошибку, видимо, больше всего хотел бы полностью повторить свой прежний ответ, но под нетерпеливым взглядом К. смог только сказать:

— Что до меня, то я подал ходатайство.

— Вы, может быть, не верите, что я обвиняе-

мый? — спросил К.

— О, пожалуйста, конечно, — сказал мужчина и отступил немного в сторону, но в его ответе не было веры, был только страх.

— Так, значит, вы мне не верите? — спросил К. и, невольно спровоцированный униженностью этого мужчины, схватил его за руку, словно желая заставить поверить.

Но причинять ему боль он не хотел, да и, вообще, лишь слегка к нему прикоснулся, тем не менее мужчина вскрикнул так, словно К. схватил его не двумя пальцами, а какими-то раскаленными щипцами. Этим своим комичным криком он окончательно опротивел К.; что ж, если ему не верят, что он обвиняемый, тем лучше; не исключено даже, что его принимают за судью. И теперь уже К. на прощание действительно сжал его руку покрепче, толкнул его обратно на скамью и пошел дальше.

— Эти обвиняемые по большей части такие чувствительные, — сказал служитель.

Почти все ожидающие собрались теперь у них за спиной вокруг мужчины, который уже перестал кричать, и, кажется, расспрашивали его о подробностях происшествия. А навстречу К. уже шел охранник, на что указывала главным обра-

зом сабля, ножны которой, по крайней мере если судить по цвету, были из алюминия. К. удивился этому и даже проверил это рукой. Охранник, которого привлек крик, спросил, что тут произошло. Служитель попытался несколькими словами его успокоить, но охранник заявил, что он все же должен посмотреть сам, отдал честь и пошел дальше очень быстрыми, но очень мелкими, по-видимому, укороченными подагрой шажками.

К. не долго беспокоился о нем и обо всем этом обществе, собравшемся в проходе у них за спиной, в особенности потому, что примерно в середине коридора увидел возможность свернуть направо в какой-то проем, в котором не было двери. Он осведомился у служителя по поводу правильности такого выбора пути, служитель кивнул, и тогда уже К. в самом деле туда свернул. Ему было неприятно, что все время приходилось идти на шаг или на два впереди служителя; это могло — по крайней мере, в таком месте — выглядеть так, словно его сопровождают как арестованного. Поэтому он часто останавливался, ожидая служителя, но тот сразу же снова отставал. Желая наконец избавиться от этого досадного ощущения, К. сказал:

— Ну, я уже увидел, как это все выглядит, теперь

я ухожу отсюда.

— Вы еще не все видели, — совершенно бесхитростно откликнулся служитель.

— Я не хочу всего видеть, — сказал К., который, кстати, и в самом деле чувствовал усталость, — я хочу уйти, как тут пройти к выходу?

— Вы что же, разве уже заблудились? — удивленно спросил служитель. — Пройдете здесь до угла и потом направо вдоль по проходу прямо к двери.

— Идемте вместе, — сказал К., — будете указывать мне дорогу, я сам не найду, здесь столько всяких ходов.

— Здесь только одна дорога, — сказал служитель, на этот раз уже с упреком, — я не могу с вами возвращаться обратно, я же должен доложиться, а я и так уже много времени из-за вас потерял.

— Идемте вместе! — повторил К. уже резче, словно наконец-то поймал служителя на какой-то неправде.

— Да не кричите вы так, — прошептал служитель, — здесь же кругом кабинеты. Если вы не хотите возвращаться сами, тогда пройдемте еще немного со мной — или можете подождать здесь, пока я покончу с моим сообщением, и тогда я с удовольствием вернусь с вами назад.

— Нет-нет, — сказал К., — я не буду ждать, вы должны сейчас же пойти со мной.

К. даже еще не осмотрелся в том помещении, где он находился, и только теперь, когда открылась одна из множества окружавших его деревянных дверей, он посмотрел, что там. Какая-то девушка, очевидно, привлеченная громким голосом К., вышла из двери и спросила:

— Что господину угодно?

За ней, в отдалении, была видна в полутьме фигура еще одного приближающегося человека. К. посмотрел на служителя. Он же говорил, что никто не заметит К., а теперь идут уже двое, еще немного, и чиновники обратят на него внимание и потребуют объяснить, с какой целью он здесь находится. Единственное разумное и приемлемое объяснение состояло в том, что он обвиняемый и хочет узнать дату следующего допроса, но как раз такое объяснение он и не хотел давать, в особенности потому, что оно тоже не соответствовало действительности, так как причиной его прихода было только любопытство или — что было еще более невозможно привести в качестве объяснения — желание убедиться в том, что изнутри это судопроизводство выглядит так же отвратительно, как и снаружи. Было похоже, что это его

предположение в самом деле справедливо; он не хотел проникать дальше, ему было достаточно не по себе от того, что он уже увидел, именно в данный момент он был не расположен к контактам с каким-нибудь высокопоставленным чиновником, который мог вдруг появиться из любой двери, ему хотелось уйти отсюда, причем вместе со служителем или, если нельзя иначе, одному.

Но то, что он стоит тут, не говоря ни слова, должно было броситься в глаза, и, действительно, девушка и служитель смотрели на него так, словно в следующую минуту с ним должно было произойти какое-то чудовищное превращение, момент которого они не хотели пропустить. А в проеме двери стоял мужчина, которого К. перед этим заметил вдали; он держался за верх низкой дверной коробки и слегка раскачивался, приподнимаясь на цыпочки, как нетерпеливый зритель. Но девушка все-таки для начала решила, что такое поведение К. вызвано каким-то легким недомоганием; она принесла кресло и спросила:

— Не хотите ли присесть?

К. тут же уселся, а для еще большей устойчивости уперся локтями в подлокотники.

— У вас голова немного закружилась, да? — спросила девушка.

Ее лицо оказалось теперь совсем близко, на нем было то строгое выражение, которое бывает у многих женщин, и именно в пору их самой прекрасной юности.

— Вы на этот счет не беспокойтесь, — сказала она, — в этом ничего необычного нет, такой приступ случается почти с каждым, когда он в первый раз сюда попадает. Вы здесь в первый раз? Ну, вот, значит, ничего необычного нет. Солнце здесь нагревает крышу, и от горячего дерева воздух становится таким влажным и тяжелым. Так что для канцелярских учреждений это место не очень подходит, но зато в других отношениях имеет большие преимущества. Что же касается воздуха, то в дни массового оформления актов при большом наплыве клиентов, а это почти каждый день, здесь почти невозможно дышать. А если вы к тому же учтете, что здесь еще всякое белье для просушки развешивают — совсем запретить это съемщикам нельзя, — то вы уже и не удивитесь, что вам стало немного дурно. Но в конце концов к этой атмосфере все очень хорошо привыкают. Когда вы придете сюда во второй или в третий раз, вы уже почти не будете чувствовать в ней ничего такого гнетущего. Не правда ли, вам уже лучше?

К. не ответил, настолько ему было неприятно, что из-за этой внезапной слабости он оказался целиком в руках здешних людей; кроме того, ему показалось, что теперь, когда он узнал причину своей дурноты, ему стало не лучше, а даже еще немного хуже. Девушка сразу это заметила, схватила какой-то багор, который стоял там, прислоненный к стене, и, чтобы как-то освежить К., стукнула концом багра по крышке маленького люка, расположенного как раз над головой К. и открывавшегося прямо в небо. Но оттуда полетело столько копоти, что девушка вынуждена была тут же снова захлопнуть люк и потом носовым платком обтирать руки К. от этой копоти, так как К. был слишком утомлен, чтобы справиться с этим самостоятельно. Он с удовольствием тихо посидел бы здесь, пока не соберется с силами, чтобы уйти отсюда, и это произошло бы тем скорее, чем меньше на него обращали внимания. Но тут девушка еще добавила:

— Здесь вам нельзя оставаться, здесь мы мешаем оформлять акты…

К. взглядом спросил, каким же актам он здесь мешает.

— Если хотите, я провожу вас в амбулаторную комнату. Помогите мне, пожалуйста, — сказала

она мужчине в дверях, который тут же приблизился.

Но К. не хотел в амбулаторную, именно этого он и хотел избежать; он не хотел, чтобы его вели еще дальше; чем дальше он зайдет, тем будет хуже.

— Я уже могу идти, — сказал он и, расслабленный удобным сидением, поднялся на дрожащие ноги.

Но удержаться стоймя не смог.

— Нет, так не пойдет, — сказал он, качая головой, и со вздохом снова сел.

Он вспомнил о служителе, который, несмотря ни на что, легко мог бы вывести его отсюда, но того, кажется, давно и след простыл. К. заглянул в просвет между девушкой и мужчиной, стоявшими перед ним, но служителя обнаружить не смог.

— Я полагаю, — сказал мужчина (кстати, довольно элегантно одетый, особенно выделялся серый жилет, заканчивавшийся внизу двумя длинными острыми уголками), — что недомогание этого господина вызвано здешней атмосферой, поэтому было бы лучше всего и предпочтительней для него самого, если бы мы проводили его не в помещение амбулатории, а вообще к выходу из канцелярий.

— Вот именно, — воскликнул К. и от охватившей его радости вмешался в речь мужчины, почти перебив его, — мне, безусловно, сразу же станет лучше, я ведь и вообще не так уж слаб, меня нужно только немного поддержать под руки, я не доставлю вам много хлопот, да здесь и недалеко, вы меня только доведете до двери, я там еще немножко посижу на ступеньках и моментально приду в себя, поскольку я ведь совершенно не подвержен таким приступам, для меня самого это неожиданно. Я ведь тоже чиновник и к воздуху кабинетов привычен, но тут он, кажется, уже совсем сперт. Вы сами это сказали. Поэтому не будете ли вы так любезны немного проводить меня, поскольку у меня голова кружится, и, если я встану сам, мне будет плохо.

И он приподнял плечи, чтобы им обоим было удобно взять его под руки.

Но мужчина не последовал этому приглашению, а спокойно засунул руки в карманы и громко расхохотался.

— Смотрите-ка, — сказал он девушке, — так я, значит, попал, не целясь. Господину только здесь нехорошо, а не вообще.

Девушка тоже улыбнулась, но слегка ударила мужчину кончиками пальцев по руке, словно он

позволил себе с К. слишком вольную шутку.

— Ну, о чем это вы думаете, — сказал мужчина, все еще смеясь, — я же в самом деле хочу вывести этого господина отсюда.

— Тогда хорошо, — ответила девушка, склонив на мгновение свою изящную головку. — Не придавайте этому смеху слишком большое значение, — сказала она К., который, вновь погрустнев, неподвижно смотрел прямо перед собой и, казалось, ни в каких объяснениях не нуждался, — этот господин… я могу вас все-таки представить? — господин, махнув рукой, дал разрешение, — так вот, этот господин представляет здесь справочное бюро. Он дает ожидающим клиентам все справки, которые им нужны, а поскольку система нашего судопроизводства населению не слишком известна, то справок требуется много. Он знает ответ на все вопросы, вы можете, если у вас есть желание, это проверить. Но это не единственное его достоинство, его второе достоинство — это элегантная одежда. Потому что мы, то есть аппарат, решили, что тот, кто дает справки и постоянно, причем первым, вступает в контакт с клиентами, должен производить достойное первое впечатление, в частности, и элегантной одеждой. Мы же, остальные, как вы видите уже по мне, к сожалению,

одеты очень плохо и старомодно; да и нет особого смысла тратиться на одежду, когда мы почти все время в канцеляриях, мы ведь даже спим здесь. Но для того, кто дает справки, мы, как уже сказано, считаем красивую одежду необходимой. А поскольку от нашей администрации, которая в этом смысле ведет себя несколько странно, ее не получить, то мы устраиваем сбор пожертвований — и клиенты тоже делают взносы — и покупаем ему эту красивую одежду и еще разное другое. Но когда, казалось бы, все уже подготовлено к тому, чтобы производить хорошее впечатление, тут он своим смехом снова все портит и пугает людей.

— Истинная правда, — насмешливо сказал господин, — но я не понимаю, фрейлейн, зачем вы рассказываете этому господину все наши интимные секреты или, скорее, даже навязываете их ему, поскольку он же не хочет их знать. Вы только посмотрите на него, как он сидит тут, явно занятый своими личными делами.

У К. даже не было желания возражать; намерения девушки могли быть благими, она, может быть, хотела его развлечь или дать ему возможность собраться с силами, но средства были выбраны неудачно.

— Я должна была объяснить ему ваш смех, —

сказала девушка. — Он же был оскорбительный.

— Я полагаю, он извинит и худшие оскорбления, если я в конце концов выведу его отсюда.

К. ничего не говорил, даже не поднимал глаз, терпеливо соглашаясь с тем, что эти двое разговаривают о нем, как о каком-то предмете, ничего приятнее для него сейчас и быть не могло. Но вдруг он почувствовал руку дающего справки на одном плече и руку девушки — на другом.

— Ну, подъем, слабосильный клиент, — сказал дающий справки.

— Премного вам обоим благодарен, — выговорил столь неожиданно обрадованный К., медленно поднялся и сам переместил чужие руки в те места, где в наибольшей степени требовалась поддержка.

— Вам могло показаться, — тихо прошептала девушка на ухо К., в то время как они продвигались к проходу, — будто мне было как-то особенно важно выставить этого справкодателя в хорошем свете, но можете мне поверить, что я просто хотела сказать правду. У него не жестокое сердце. Он ведь не обязан выводить отсюда больных клиентов, а все-таки делает это, как вы видите. Среди нас, может быть, и совсем нет жестокосердых, мы, может быть, все готовы были бы с радостью

помочь, но поскольку мы чиновники суда, то легко может показаться, что мы жестокосерды и никому не хотим помогать. Я от этого в буквальном смысле страдаю.

— Не хотите ли немного посидеть здесь? — спросил дающий справки; они были уже в проходе и как раз возле того обвиняемого, к которому К. до этого обращался.

К. почти стыдился его: тогда он так прямо стоял перед ним, а теперь его должны были поддерживать вдвоем, дающий справки балансировал на растопыренных пальцах его шляпой, прическа К. разлетелась, волосы свалились на потный лоб. Но обвиняемый, кажется, ничего этого не заметил, он униженно горбился перед дающим справки (который смотрел куда-то мимо него) и пытался только извинить свое присутствие.

— Я знаю, — говорил он, — что решения по моему ходатайству сегодня еще не может быть. Но я все-таки пришел, я подумал, что я могу все-таки тут подождать, сегодня воскресенье, у меня ведь есть время, а здесь я не помешаю.

— Вам незачем так усиленно извиняться, — сказал дающий справки, — ваша старательность не заслуживает решительно ничего, кроме похвалы, и, хотя вы без всякой нужды занимаете

здесь место, я тем не менее отнюдь не собираюсь препятствовать вам тщательно следить за прохождением дела, пока это мне не надоело. После контактов с людьми, позорно уклоняющимися от исполнения своих обязанностей, приучаешься терпеливо выносить таких людей, как вы. Садитесь.

— Как он умеет разговаривать с клиентами, — прошептала девушка.

К. кивнул, но тут же вскинул голову, так как дающий справки снова спросил его:

— Не хотите присесть здесь?

— Нет, — сказал К., — мне не надо отдыха.

Он сказал это как можно тверже, на самом же деле он был бы очень не прочь здесь присесть. У него началось что-то вроде морской болезни. Ему казалось, будто он на каком-то корабле, находящемся в узком шхерном проходе. Ему казалось, будто в деревянные стенки ударяют валы, будто из глубины прохода накатывает какой-то гул, как от хлынувшей воды, будто проход накреняется в поперечной качке и будто ожидающие по обе его стороны клиенты то опускаются, то поднимаются. И тем непостижимее было спокойствие девушки и мужчины, которые его вели. Он был целиком в их руках, отпусти они его, он упал бы,

как доска. Их маленькие глазки бросали острые взгляды по сторонам, К. ощущал их равномерные шаги, не делая их вместе с ними, ибо его почти несли, а он только переступал ногами. В конце концов он заметил, что они с ним разговаривают, но он не понимал их, он слышал только все заполнявший шум, сквозь который, казалось, пробивался какой-то неизменный высокий звенящий тон, словно выла какая-то сирена.

— Громче, — прошептал он, не поднимая головы, и ему стало стыдно, потому что он знал, что они говорили хоть и непонятно для него, но достаточно громко.

Тут, наконец, словно перед ним прорвало какую-то преграду, навстречу повеял порыв свежего воздуха, и он услышал произнесенные рядом слова:

— Сначала он рвется на волю, а потом ему можно сто раз говорить, что выход здесь, и он не пошевелится.

К. увидел, что он стоит перед входной дверью, которую девушка открыла для него. У него возникло такое ощущение, словно все его силы разом вернулись к нему; в предвкушении свободы он тут же шагнул на ступеньку лестницы и уже оттуда стал прощаться со своими провожа-

тыми, наклонившимися к нему сверху.

— Большое спасибо, — повторял он, снова и снова пожимая обоим руки, и выпустил их только тогда, когда он, как ему показалось, заметил, что они, привыкшие к воздуху канцелярий, этот сравнительно свежий воздух, идущий с лестницы, плохо переносят.

Они были едва в состоянии отвечать, а девушка, наверное, покатилась бы вниз, если бы К. не успел чрезвычайно быстро захлопнуть дверь. К. постоял еще немного, привел с помощью карманного зеркальца в порядок волосы, поднял свою шляпу, лежавшую на следующей ступеньке лестницы — очевидно, это дающий справки ее туда выбросил, — и затем устремился вниз по лестнице так бодро и такими длинными прыжками, что был почти испуган такими своими кульбитами. Подобных сюрпризов со стороны собственного здоровья, при том что он всегда был очень закаленным, он еще не получал. Или, может быть, из-за того, что он так легко переносил старый процесс, его тело решило взбунтоваться и учинить ему новый? Он не совсем отбросил мысль при ближайшем удобном случае заглянуть к врачу и, во всяком случае, был намерен — тут уж он мог проконсультировать себя сам — во все будущие

воскресенья использовать утренние часы лучше, чем в это.

Глава четвертая
ПОДРУГА ФРЕЙЛЕЙН БЮРСТНЕР

За все это время у К. не было случая перемолвиться с фрейлейн Бюрстнер даже несколькими словами. Он предпринимал разнообразные попытки подступиться к ней, но она всякий раз находила способ это предотвратить. Он приходил домой сразу после работы, сидел в своей комнате на диване, не зажигая свет, и занимался только тем, что наблюдал за прихожей; если горничная, проходя мимо, закрывала дверь его казавшейся пустой комнаты, он через некоторое время вставал и приоткрывал ее снова. По утрам он поднимался на час раньше, чем обычно, в расчете на то, что, может быть, удастся застать фрейлейн Бюрстнер одну, когда она будет уходить на работу. Но ни одна из таких попыток не удалась. Тогда он написал ей письма — и на работу, и на домашний адрес, — в которых вновь пытался оправдать свое поведение, предлагал дать любое удовлетворение, обещал никогда не переходить границ, которые она ему поставит, и просил только дать ему возможность как-нибудь с ней переговорить,

в особенности еще и потому, что он не может, не посоветовавшись с ней, занять правильную позицию в отношениях с фрау Грубах, наконец, он сообщал ей, что в ближайшее воскресенье будет весь день в своей комнате ждать от нее знака, что он может надеяться на исполнение его просьбы или что ему, по крайней мере, будет объяснено, почему она не может исполнить его просьбу, несмотря на то, что он же обещает, что во всем ей подчинится. Назад письма не вернулись, но и никакого ответа не было. А вот знак в воскресенье был, и достаточно отчетливый. С самого утра К. заметил сквозь замочную скважину необычное оживление в прихожей, причина которого вскоре разъяснилась. Одна учительница французского языка (она, впрочем, была немка по фамилии Монтаг — худая, бледная, немного прихрамывающая девушка), которая до этого снимала отдельную комнату, переселялась в комнату к фрейлейн Бюрстнер; можно было на протяжении часов наблюдать, как она шаркает через прихожую. Постоянно оказывалось, что забыто что-то из белья, или салфеточка, или особенно бережно хранимая книга, которую необходимо было перенести в новое жилище.

Когда фрау Грубах принесла К. завтрак — после

того, как он был так разгневан, она уже не доверяла служанке никакого, даже самого мелкого обслуживания К., — он не смог удержаться и обратился к ней, в первый раз за пять дней:

— Что это там такой шум сегодня в прихожей? — спросил он, наливая себе кофе, — нельзя ли это как-нибудь прекратить? Или уборка должна производиться обязательно в воскресенье?

Хотя К. и не взглянул на фрау Грубах, он тем не менее заметил, что та словно бы с облегчением вздохнула. Даже эти строгие вопросы К. она восприняла как прощение или как начало прощения.

— Это не уборка, господин К., — сказала она, — это просто фрейлейн Монтаг переселяется к фрейлейн Бюрстнер и переносит свои вещи.

Она ничего больше не говорила, не зная, как К. примет ее сообщение и будет ли ей позволено продолжить. Но К. подверг ее испытанию; он задумчиво помешивал ложечкой кофе и молчал. Затем он поднял на нее взгляд и сказал:

— Вы уже оставили ваши прежние подозрения в отношении фрейлейн Бюрстнер?

— Господин К.! — вскричала фрау Грубах, которая только и ждала этого вопроса, и протянула к К. сложенные руки. — Вы в тот раз так серьезно

восприняли какое-то случайное замечание. У меня и в мыслях такого не было, чтобы обидеть вас или кого-то еще. Вы ведь меня уже достаточно давно знаете, господин К., чтобы в этом убедиться. Вы даже не представляете, как я последние дни страдала! Чтобы я клеветала на моих съемщиков! И вы, господин К., поверили в это! И сказали, что я должна выставить вас за дверь! Вас — за дверь!

Последнее восклицание уже потонуло в слезах, она подняла к лицу подол передника и громко зарыдала.

— К чему же плакать, фрау Грубах, — сказал К. и посмотрел в окно, он думал только о фрейлейн Бюрстнер и о том, что она впустила в свою комнату какую-то постороннюю девушку. — К чему же плакать, — повторил он еще раз, когда вновь обратил взгляд в комнату и фрау Грубах все еще плакала. — Я ведь тоже тогда не имел в виду ничего такого уж плохого. Мы просто взаимно не поняли друг друга. Такое иногда может случиться даже со старыми друзьями.

Фрау Грубах выглянула из передника, чтобы убедиться, что К. в самом деле готов к примирению.

— Да-да, именно так, — сказал К. и, заключив из поведения фрау Грубах, что капитан только

стучал, ничего не предавая огласке, он осмелился еще прибавить: — Неужели вы в самом деле думаете, что из-за какой-то посторонней девушки я мог бы поссориться с вами?

— Так вот именно же, господин К., — воскликнула фрау Грубах; ее несчастье заключалось в том, что стоило ей только почувствовать себя хоть немного свободнее, как она тут же говорила что-нибудь неуместное. — Я все время спрашивала себя: почему господин К. так сильно заботится о фрейлейн Бюрстнер. Почему он бранится из-за нее со мной, когда он знает, что каждое его сердитое слово лишает меня сна. А я ведь о фрейлейн Бюрстнер не сказала ничего другого, кроме того, что видела своими глазами.

К. на это ничего не сказал; ему следовало бы при первом же слове выгнать ее из комнаты, но этого он не хотел. Он ограничился тем, что принялся пить кофе, давая фрау Грубах почувствовать необязательность ее присутствия. Снаружи снова послышались шаги фрейлейн Монтаг, прошаркавшие через всю прихожую.

— Вы слышите это? — спросил К. и указал ей рукой на дверь.

— Да, — сказала фрау Грубах и вздохнула, — я хотела ей помочь и горничную послать, чтобы

помогла ей, но она такая упрямая, хочет все сама перенести. Я удивляюсь на фрейлейн Бюрстнер. Мне часто бывает вообще досадно, что эта Монтаг у меня снимает, а фрейлейн Бюрстнер даже берет ее к себе в комнату.

— А это вас вообще не должно заботить, — сказал К. и раздавил в чашке нерастаявший кусочек сахара. — Вы что, несете от этого какой-то ущерб?

— Нет, — сказала фрау Грубах, — само по себе мне это очень даже удобно, у меня благодаря этому освобождается комната, и я могу поместить там моего племянника, капитана. Я давно уже боялась в эти последние дни, когда мне пришлось поселить его здесь, по соседству с вами, что он может вам помешать. Он не очень-то церемонится.

— Что за странные фантазии! — сказал К. и встал. — Об этом и речи нет. Вы, кажется, считаете меня чрезмерно чувствительным из-за того, что я не могу выносить этих хождений фрейлейн Монтаг, — вот, опять пошла, теперь в другую сторону.

Фрау Грубах, казалось, была совершенно раздавлена.

— Сказать ей, господин К., чтобы она отложила остальную часть своего переселения? Если вы

хотите, я сейчас же это сделаю.

— Но она же должна переселиться к фрейлейн Бюрстнер! — сказал К.

— Да, — сказала фрау Грубах; она не вполне понимала, чего К. от нее добивается.

— Ну, значит, — сказал К., — в этом случае она же должна перенести свои вещи.

Фрау Грубах только кивнула. Эта молчаливая беспомощность, которая, кроме всего, выглядела не чем иным, как упорством, разозлила К. еще больше. Он начал ходить по комнате от окна к двери и обратно, лишая этим фрау Грубах возможности удалиться, которой она, если бы не это, по-видимому, воспользовалась.

Как раз когда К. в очередной раз дошел до двери, в нее постучали. Это была горничная, сообщившая, что фрейлейн Монтаг желает сказать господину К. несколько слов и что поэтому она просит его прийти в столовую, где она его ожидает. К. задумчиво выслушал горничную и затем, обернувшись к испуганной фрау Грубах, посмотрел на нее почти насмешливым взглядом. Этот взгляд, казалось, говорил, что К. уже давно предвидел подобное приглашение фрейлейн Монтаг и что вот и еще одно очень хорошее дополнение ко всем тем мучениям, которые ему в это вос-

кресное утро суждено вынести от жильцов фрау Грубах. Он отослал горничную назад с ответом, что немедленно явится, затем направился к шкафу, чтобы сменить пиджак, и в качестве ответа на тихие причитания фрау Грубах о назойливых людях только попросил ее унести, наконец, эту посуду от этого завтрака.

— Но вы же почти ни к чему не притронулись, — сказала фрау Грубах.

— Ах, да уносите вы отсюда!.. — крикнул К., у него было такое ощущение, словно эта фрейлейн Монтаг каким-то образом подметалась ко всему и сделала все отвратительным.

Проходя через прихожую, он взглянул на закрытую дверь комнаты фрейлейн Бюрстнер. Но его приглашали не сюда, а в столовую; дверь в нее он распахнул без стука.

Это была очень длинная, но узкая комната с одним окном. Места там хватало только на то, чтобы в углах по обе стороны двери можно было косо поставить два шкафа, тогда как все остальное пространство полностью занимал длинный обеденный стол, начинавшийся вблизи от двери и чуть-чуть не доходивший до высокого окна, которое из-за этого становилось почти недоступным. Стол был уже накрыт, причем на много

персон, поскольку в воскресенье здесь обедали почти все съемщики.

Когда К. вошел, фрейлейн Монтаг пошла от окна вдоль стола навстречу К. Они молча приветствовали друг друга. Затем фрейлейн Монтаг сказала, как всегда необычно высоко вскинув голову:

— Мне не известно, знаете ли вы меня.

К. смотрел на нее, сузив глаза.

— Разумеется, — сказал он, — вы ведь уже давно живете у фрау Грубах.

— Но вас ведь, как я полагаю, этот пансион не слишком интересует.

— Не слишком, — сказал К.

— Не желаете ли присесть? — сказала фрейлейн Монтаг.

Они оба молча отодвинули два стула у самого конца стола и сели друг против друга. Но фрейлейн Монтаг тут же опять встала: она оставила на подоконнике свою сумочку и теперь пошла за ней; она прошаркала через всю комнату. Затем, слегка помахивая сумочкой, она возвратилась, села и начала:

— Я хотела только сказать вам несколько слов по поручению моей подруги. Она собиралась прийти сама, но сегодня чувствует себя немного

нездоровой. Надеюсь, вы ее извините и выслушаете вместо нее меня. Да она и не могла бы вам сказать ничего другого, кроме того, что скажу вам я. Более того, я думаю, что я смогу вам сказать даже больше, поскольку я все-таки сравнительно не ангажирована здесь. Вы так не считаете?

— Что сказать-то? — ответил К., которому уже надоел взгляд фрейлейн Монтаг, неотрывно устремленный на его губы; этим она как бы присваивала себе некую власть над тем, что он еще только хотел сказать. — Фрейлейн Бюрстнер, надо понимать, не хочет удостоить меня личной встречи, о которой я ее просил.

— Это так, — сказала фрейлейн Монтаг, — или, вернее, это совсем не так, вы выразили это слишком резко. Ведь, вообще говоря, встреч не удостаивают, как не случается и противоположного. Но случается, что встречу считают ненужной, как это и имеет место в данном случае. Теперь, после вашего замечания, я уже могу говорить откровенно. Вы письменно или устно попросили мою подругу предоставить вам возможность переговорить с ней. Однако же моей подруге известно — так, по крайней мере, я вынуждена предполагать, — что именно будет затронуто во время этих переговоров, и потому в силу причины, мне

неизвестной, она убеждена, что, если бы такие переговоры в самом деле случились, это никому не пошло бы на пользу. Впрочем, она рассказала мне об этом только вчера и совершенно между прочим, при этом она сказала, что и для вас эти переговоры в любом случае не могут значить ничего особенного, поскольку вы лишь случайно пришли к этой мысли и даже без каких-то особых объяснений очень скоро сами поймете — если уже сейчас не понимаете — бессмысленность всего этого в целом. На это я отвечала, что, возможно, это и так, но что для достижения полной ясности я все же считала бы предпочтительным, чтобы вы получили вполне определенный ответ. Для выполнения этой задачи я предложила себя, и после некоторых колебаний моя подруга мне уступила. Надеюсь, однако, что я действовала и в ваших интересах, поскольку даже малейшая неопределенность всегда мучительна даже в ничтожнейших вещах, и если она поддается устранению так легко, как в данном случае, то уж лучше, чтобы это было сделано сразу же.

— Благодарю вас, — сразу же сказал К., медленно поднялся, посмотрел на фрейлейн Монтаг, потом на стол, потом в окно — дом на той стороне был весь залит солнцем — и пошел к двери.

Фрейлейн Монтаг прошла несколько шагов вслед за ним, словно не вполне ему доверяя. Перед дверью, однако, они оба вынуждены были отступить назад, так как она открылась и вошел капитан Ланц. К. впервые видел его так близко. Это был высокий мужчина лет сорока с загорелым мясистым лицом. Он обозначил легкий поклон, относившийся также и к К., затем подошел к фрейлейн Монтаг и почтительно поцеловал у нее руку. Он был очень проворен в своих движениях. Его вежливость по отношению к фрейлейн Монтаг разительно отличалась от обращения с ней К. Тем не менее фрейлейн Монтаг, похоже, не сердилась на К., поскольку К. заметил — так ему показалось, — что она даже хочет представить его капитану. Но К. не желал быть представленным, он был бы не в состоянии держаться хоть сколько-нибудь дружелюбно ни с капитаном, ни с фрейлейн Монтаг; в его глазах это целование руки связало ее с той группой, которая под видом полнейшей невинности и самоотверженности пыталась не пропустить его к фрейлейн Бюрстнер. К., однако, казалось, что он понял не только это, он понял еще и то, что фрейлейн Монтаг избрала хорошее, но обоюдоострое оружие. Она преувеличивала зна-

чение отношений между фрейлейн Бюрстнер и К., она в особенности преувеличивала значение испрашиваемой встречи и в то же время старалась повернуть все так, как будто это К. все преувеличивает. Она явно заблуждалась, К. ничего не собирался преувеличивать, он знал, что фрейлейн Бюрстнер всего лишь маленькая машинисточка, которая не должна долго ему сопротивляться. При этом он сознательно даже не принимал в расчет то, что он узнал о фрейлейн Бюрстнер от фрау Грубах. Все это он обдумывал на ходу, когда, едва кивнув, вышел из комнаты. Он собирался сразу пойти к себе, но короткий смешок фрейлейн Монтаг, который раздался за его спиною в столовой, навел его на мысль, что он, пожалуй, мог бы устроить им обоим, и фрейлейн Монтаг, и капитану, один сюрпризик. Он огляделся по сторонам и прислушался, выясняя, не возникнет ли помехи со стороны одной из окружающих комнат; везде было тихо, только из столовой доносились звуки разговора и из коридора, ведущего к кухне, — голос фрау Грубах. Случай, казалось, благоприятствовал; К. подошел к двери комнаты фрейлейн Бюрстнер и тихо постучал. Никакого шевеления. Он постучал еще раз, но никакого ответа так и не последовало. Она

спит? Или в самом деле нездорова? Или это она только потому прячется, что догадывается: так тихо может стучать только К.? К. решил, что она прячется, постучал сильнее и наконец, поскольку стук никакого эффекта не давал, осторожно — и не без ощущения непристойности и, более того, ненужности совершаемого — открыл дверь. В комнате никого не было. Впрочем, комната уже почти не напоминала ту, которую знал К. У стены теперь стояли друг за другом две кровати, на трех стульях у двери были навалены одежда и белье, шкаф стоял открытый. По-видимому, фрейлейн Бюрстнер ушла в то время, когда фрейлейн Монтаг в столовой объяснялась с К. К. был не слишком обескуражен, он почти не рассчитывал так легко поймать фрейлейн Бюрстнер, в сущности, он предпринял эту попытку только назло фрейлейн Монтаг. Но тем мучительнее ему было увидеть, прикрывая эту дверь, что в открытых дверях столовой стоят, переговариваясь между собой, фрейлейн Монтаг и капитан. Они, может быть, стояли там уже тогда, когда К. открывал эту дверь; они совершенно не показывали вида, что, возможно, наблюдают за К.; они тихо беседовали, и их взгляды отмечали движения К. лишь так, как это бывает, когда во время разговора рассеянно

оглядываются по сторонам. Но на К. эти взгляды все же легли тяжелым грузом, и он торопливо прошмыгнул вдоль стены в свою комнату.

Глава пятая
КАРАТЕЛЬ

В один из ближайших вечеров, когда К. проходил по коридору, отделявшему его кабинет от парадной лестницы — в этот день он уходил с работы почти что последним, только в экспедиции в круге света от маленькой лампы еще работали два клерка, — из-за двери одной комнатки, которую он всегда считал просто кладовкой и никогда сам туда не заглядывал, он услышал какие-то стоны. В изумлении он остановился и прислушался, чтобы проверить, не ослышался ли он; некоторое время было тихо, но потом все-таки снова послышались стоны. Сперва он хотел позвать кого-нибудь из клерков: при случае мог понадобиться свидетель, но затем им овладело такое неодолимое любопытство, что он буквально рывком распахнул эту дверь. За ней, как он справедливо полагал, была кладовая. Сразу за порогом валялись старые, вышедшие из употребления печатные бланки и пустые опрокинутые глиняные бутылки из-под чернил. Но в самой кладовке стояли, согнувшись из-за малой

высоты помещения, трое мужчин. Свет давала укрепленная на одной из полок свеча.

— Что вы тут делаете? — с тревожной поспешностью, но негромко спросил К.

Один из троих, явно имевший власть над остальными и сразу привлекавший к себе внимание, был весь в темной коже; одежда была скроена так, что оставляла голыми шею, большой кусок груди и целиком руки. Он не ответил. Но двое других закричали:

— Господин! Нас должны наказать, потому что ты пожаловался на нас следователю.

Только теперь К. увидел, что это действительно были охранники Франц и Виллем и что третий держал в руке гибкую палку, собираясь употребить ее для наказания.

— Ну, — сказал К., уставившись на них, — я не жаловался, я только рассказал, что случилось в моей квартире. А вы вели себя далеко не безупречно.

— Господин, — сказал Виллем, в то время как Франц явно пытался спрятаться за ним от палки третьего, — если бы вы знали, как мало нам платят, вы бы лучше о нас думали. Мне нужно кормить семью, а Франц тут вот надумал жениться, каждый крутится, как может, одной работой

не проживешь, даже самой напряженной. Меня ваше тонкое белье соблазнило; естественно, охранникам это запрещено, так действовать, это было неправильно, но такова традиция, что белье достается охранникам, это всегда так было, поверьте мне, да это же и понятно, какое уж там значение имеют такие вещи для того, кто уже настолько несчастлив, что его арестовали? Но, конечно, если он все-таки официально это заявит, тогда нас карают.

— Ничего этого я не знал, к тому же я никоим образом не требовал вашего наказания, для меня это дело принципа.

— Франц, — повернулся Виллем ко второму охраннику, — разве я не говорил тебе, что господин не требовал нашего наказания? Теперь ты слышишь, что он даже не знал, что нас должны будут наказать.

— Не давай растрогать себя такими песнями, — сказал третий, с палкой, К., — это наказание так же справедливо, как и неотвратимо.

— Не слушай его, — начал Виллем, прервав себя лишь для того, чтобы быстро поднести ко рту руку, по которой прошлась палка, — нас накажут только потому, что ты на нас заявил. А так нам ничего бы не было, даже если бы и узнали,

что́ мы сделали. Можно это назвать справедливостью? Мы оба, но особенно я, очень хорошо себя проявили как охранники — ты сам должен признать, что, если смотреть с точки зрения наших органов, мы тогда хорошо поохраняли, — у нас была перспектива роста, и мы наверняка скоро тоже стали бы карателями, как вот этот, которому просто повезло, что никто на него не заявил, потому что такие заявления на самом деле большая редкость. А теперь, господин, все пропало, нашей карьере — конец, и нас пошлют в такое место, где мы будем еще намного ниже, чем на этой охранной службе, и вообще, нас сейчас забьют этой позорной болезненной палкой.

— Разве эта гибкая палка причиняет такую сильную боль? — спросил К. и потрогал палку, которой помахивал перед ним каратель.

— Нам же придется раздеться совсем догола, — сказал Виллем.

— Ах так, — сказал К. и внимательно посмотрел на карателя; тот был загорелым, как матрос, и у него было свежее лицо дикаря.

— Нет никакой возможности избавить этих двоих от палки? — спросил его К.

— Нет, — сказал каратель и, усмехаясь, покачал головой. — Раздевайтесь, — приказал он охран-

никам и повернулся к К.: — Ты не должен во всем им верить, они от страха перед моей палкой уже слегка тронулись. Вот, к примеру, то, что этот — он ткнул в сторону Виллема — рассказывает о своей возможной карьере, это просто смешно. Ты посмотри, какой он толстый, его же и палкой не сразу проймешь, в жиру завязнет. А ты знаешь, с чего он так разжирел? Манеру взял — у всех арестованных завтраки подъедать. Он у тебя-то разве завтрак не подъел? Ну вот, я же говорю. Но никто с таким животом никогда и никак не сможет работать палкой, это совершенно исключено.

— Есть и такие каратели, — заявил Виллем, в этот момент как раз расстегивавший брючный ремень.

— Нет, — сказал каратель и так огрел его палкой по шее, что тот съежился, — твое дело не слушать, а раздеваться.

— Я бы тебя хорошо отблагодарил, если бы ты отпустил их, — сказал К. и, не глядя уже на карателя — такие сделки лучше всего прокручиваются, когда с обеих сторон не поднимают глаз, — вытащил бумажник.

— Так ты, наверное, захочешь потом и на меня заявить, — сказал каратель, — чтобы и меня поставить под палку. Нет-нет!

— Ну, посуди сам, — сказал К., — если бы я хотел, чтобы этих двоих наказали, так ведь я бы не пытался сейчас их выкупить. Ведь я мог бы просто захлопнуть эту дверь, не желая больше ничего ни видеть, ни слышать, и пойти домой. Но я же этого не делаю, напротив, я всерьез пытаюсь освободить их; если бы я предполагал, что их должны будут — или хотя бы только могут — наказать, я никогда бы не назвал их имен. Я даже вообще не считаю их виновными, виновна эта организация, виновны высшие чиновники.

— Вот именно! — вскричали охранники и немедленно почувствовали палку своими уже обнаженными спинами.

— Если бы под твою палку попал какой-нибудь верховный судья, — сказал К., одновременно отжимая вниз уже готовую вновь подняться палку, — я бы уж точно не помешал тебе отхлестаться в свое удовольствие, больше того, я бы тебе еще денег дал, чтобы ты подкрепился для доброго дела.

— То, что ты говоришь, звучит вполне правдоподобно, — сказал каратель, — но я не позволяю себя подкупать. Раз я приставлен к палке, то и бросаю ее только по команде.

Охранник Франц, который, очевидно, в ожида-

нии счастливого конца переговоров К. до сих пор вел себя довольно скромно, теперь, оставшись в одних штанах, вышел к двери, опустился на колени и, схватив руку К., прошептал:

— Если ты не можешь добиться пощады для нас обоих, то попытайся освободить хотя бы меня. Виллем старше, чем я, и во всех отношениях не такой чувствительный, к тому же он несколько лет тому назад уже понюхал палки, а я еще не обесчещен, и я ведь так себя вел только из-за Виллема, потому что он мой учитель и в хорошем, и в плохом. Пока мы тут, там, внизу, перед банком, ждет моя бедная невеста, и мне так ужасно стыдно.

И он вытер свое совершенно мокрое от слез лицо об сюртук К.

— Я больше не жду, — сказал каратель, схватил обеими руками свою палку и набросился на Франца, в то время как Виллем, съежившись в углу на корточках, украдкой наблюдал, не смея повернуть головы. И тут раздался вой, который испускал Франц, вой нечленораздельный и неизменный, исходивший, казалось, не от человека, а от какого-то терзаемого инструмента, он наполнял весь коридор, его должен был слышать весь дом.

— Не ори, — крикнул К., не смог сдержаться и, напряженно глядя в ту сторону, откуда должны были появиться экспедиторы, пнул Франца — не сильно, но все же достаточно сильно для того, чтобы обезумевший рухнул и судорожно зашарил руками по полу; однако от палки он не ушел, она нашла его и на полу, и в то время как он корчился под ней, конец ее равномерно ходил вверх и вниз. И вот вдалеке уже показался экспедитор, а в нескольких шагах позади него — второй. К. быстро захлопнул дверь, подошел к окну во двор и открыл его. Вой полностью прекратился. Чтобы не дать экспедиторам приблизиться, он крикнул:

— Это я!

— Добрый вечер, господин прокурист! — крикнули ему в ответ. — Что-то случилось?

— Нет-нет, — ответил К., — просто собака воет во дворе, — и, поскольку экспедиторы тем не менее не двигались с места, прибавил: — Можете продолжать вашу работу.

Чтобы не пришлось втягиваться в разговоры с экспедиторами, он высунулся из окна; когда через некоторое время он снова взглянул в коридор, их уже не было. Но К. все стоял у окна; в кладовую идти он не решался и уходить домой тоже

не хотел. Он смотрел вниз, там был маленький прямоугольный двор, в который со всех сторон выходили окна служебных кабинетов; все окна теперь уже были темными, и только в самых верхних светилось отражение луны. К. напряженно вглядывался в темный угол двора, пытаясь разделить взглядом несколько ручных тележек, сваленных в кучу. Его мучило, что не удалось предотвратить это наказание, но не его вина была в том, что это не удалось; если бы Франц не завыл — ему, наверное, было очень больно, но в решающий момент надо уметь овладеть собой, — если бы он не завыл, то К. нашел бы — по крайней мере, это очень вероятно — еще какое-нибудь средство переубедить этого карателя. Когда весь их низовой аппарат — сплошное отребье, то почему именно этот каратель, посланный на это самое нечеловеческое место, должен составлять исключение? К. хорошо заметил, как у него при виде купюры загорелись глаза, он явно только для того так многозначительно помахивал своей палкой, чтобы еще немного приподнять сумму взятки. И К. согласился бы, ему действительно было важно освободить охранников; раз уж он теперь начал борьбу с извращенностью этого судопроизводства, то для него было уже само

собой разумеющимся зайти и с этой стороны. Но как только Франц завыл, в тот же момент все, естественно, и кончилось. К. не мог допустить, чтобы экспедиторы, а может быть, и еще какие-нибудь случайные люди пришли и застали его в момент контакта с этой компанией в кладовке. Такого самопожертвования от К., в самом деле, никто не мог требовать. Если бы он собирался так поступить, так уж не проще ли было бы самому раздеться и предложить себя этому карателю в качестве заменителя охранников. Впрочем, каратель наверняка не согласился бы на такую замену, так как не смог бы на нем ничего выгадать, а в то же время серьезно нарушил бы свой долг[10] и, по-видимому, нарушил бы его вдвойне, поскольку К., пока он в этом процессе, для всех судебных функционеров, вероятно, неприкосновенен. Правда, тут могли действовать и особые инструкции. Как бы там ни было, К. не оставалось ничего другого, как только захлопнуть дверь, хотя даже и теперь, после этого, еще далеко не все опасности для К. были устранены. То, что он

---

[10] Примечания: 10

Вычеркнуто автором:

...— да, было совершенно ясно, что это предложение он отклонил бы даже в том случае, если бы оно было увязано с дачей взятки, — и, по-видимому, нарушил бы его вдвойне, поскольку К., пока он в этом процессе, для всех функционеров процесса, вероятно, неприкосновенен.

еще и пнул под конец этого Франца, было прискорбно; это можно было извинить только его перевозбуждением.

Вдалеке слышались шаги экспедиторов; чтобы не привлекать их внимания, он закрыл окно и двинулся по направлению к парадной лестнице. У двери в кладовую он чуть задержался и прислушался. Там была полная тишина. Этот человек мог забить охранников насмерть, они ведь были целиком в его власти. К. уже протянул было руку к ручке двери, но затем отдернул ее. Помочь он там уже никому не мог, а здесь сейчас будут экспедиторы; но он все же похвалил себя за решимость поднять этот вопрос и в меру своих возможностей наказать по заслугам всех настоящих виновников, всех этих высших чиновников, из которых ни один не осмелился ему показаться. Спускаясь по ступеням банковского крыльца, К. внимательно оглядел прохожих, но нигде, даже в отдалении, не увидел ни одной девушки, которая бы кого-то ждала. Упоминание Франца о невесте, которая его ждет, оказалось, таким образом, ложью, впрочем, простительной и имевшей целью сильнее возбудить сострадание.

Весь следующий день эти охранники не выходили у К. из головы, он был рассеян в работе и,

чтобы справиться с ней, вынужден был просидеть в кабинете еще немного дольше, чем накануне. Когда, уже направляясь домой, он вновь проходил мимо двери этой кладовой, он, словно бы следуя заведенной привычке, открыл ее. От того, что он увидел вместо ожидаемой темноты, он просто опешил. Ничего не изменилось, все выглядело так же, как накануне вечером, когда он открыл эту дверь. Старые печатные бланки и бутылки из-под чернил сразу за порогом, каратель с палкой, все еще совершенно раздетые охранники, свеча на полке и — заново начавшиеся жалобы и крики охранников: «Господин!». К. тут же захлопнул дверь и потом еще стукнул по ней кулаками, словно так она была закрыта надежней. Чуть не плача, бросился он к экспедиторам, которые спокойно работали на копировальных аппаратах и теперь с изумлением остановились.

— Приберите же, наконец, в кладовой! — закричал он. — Мы уже тонем в этой грязи!

Экспедиторы изъявили готовность завтра это сделать, К. кивнул; был уже поздний вечер, и он не мог сейчас заставлять их делать эту работу, как он, вообще-то, собирался. Он ненадолго присел, чтобы на некоторое время удержать экспедиторов поблизости от себя, перелистал несколько

копий, полагая, что это выглядит так, будто он их проверяет, и потом, поняв, что экспедиторы не осмелятся уйти отсюда одновременно с ним, устало и без единой мысли в голове пошел домой.

Глава шестая
ДЯДЯ. ЛЕНИ

Как-то во второй половине дня — К. как раз был очень занят подведением баланса — между двумя клерками, которые принесли бумаги, в кабинет К. протиснулся его дядя Карл, мелкий деревенский землевладелец. Увидев его, К. испугался меньше, чем пугался на протяжении уже длительного времени, представляя себе появление дяди. Дядя должен был появиться; К. со всей отчетливостью понял это еще с месяц назад. Ему уже тогда чудилось, что он видит, как дядя, слегка сутулясь и держа в левой руке приплюснутую панаму, уже издалека выбрасывает ему навстречу правую и с бесцеремонной спешкой протягивает ее через письменный стол, опрокидывая все, что оказывается на пути. Дядя всегда спешил, ибо его гнала несчастная мысль, что за день пребывания в столице — он приезжал только на один день — необходимо осуществить все то, что он запланировал, а если и сверх того представится удобный случай поговорить, заключить сделку или доставить себе удовольствие, то и его нельзя

упустить. При этом К. должен был оказывать ему, как своему в прошлом опекуну, которому он особенно обязан, всяческое содействие и, кроме того, пускать его к себе ночевать. К. про себя называл его: «дух деревни».

Едва поздоровавшись — К. пригласил его присесть в кресло, но у дяди не было на это времени, — он попросил К. поговорить с ним наедине.

— Это необходимо, — сказал он, с трудом сглатывая комок в горле, — это необходимо для моего успокоения.

К. немедленно отослал клерков из кабинета с распоряжением никого не впускать.

— Что я слышал, Йозеф? — крикнул дядя, когда они остались одни; причем он уселся на край стола и, не глядя, подгреб под себя, чтоб удобнее было сидеть, разные бумаги.

К. молчал; он знал, что́ за этим последует, но, внезапно сбросив груз напряженной работы, невольно предался приятной расслабленности и поглядел в окно на противоположную сторону улицы, от которой с его места был виден только маленький, треугольно обрезанный кусок пустой стены дома между витринами двух магазинов.

— Он смотрит в окно! — закричал дядя, воздев руки, — ради всего святого, Йозеф, ты ответишь

мне или нет! Это — правда? Может ли быть, чтобы это была правда?

— Милый дядя, — сказал К., с трудом выходя из прострации, — я никак не могу понять, чего ты от меня хочешь.

— Йозеф, — предостерегающе сказал дядя, — сколько я тебя знаю, ты всегда говорил правду. Должен ли я понимать твои последние слова как дурной знак?

— Ну, я догадываюсь, чего ты хочешь, — покорно сказал К. — По-видимому, ты услышал о моем процессе

— Вот именно, — ответил дядя, медленно кивая, — я услышал о твоем процессе.

— И от кого же? — спросил К.

— Эрна мне написала, — сказал дядя, — у нее с тобой связи нет, ты, к сожалению, не очень-то о ней беспокоишься, тем не менее она об этом узнала. Я сегодня получил от нее письмо и, разумеется, сразу же приехал. Без всякой другой причины, но, кажется, и этой достаточно. Я могу прочитать тебе то место, которое касается тебя.

Он вытащил письмо из бумажника.

— Вот оно. Вот она пишет: «Йозефа я не видела уже давно, на той неделе я заходила в банк, но Йозеф был так занят, что меня не пропустили, я

прождала почти час, а потом мне уже надо было домой, потому что у меня был урок фортепьяно. А я бы очень хотела с ним поговорить, может быть, в ближайшее время представится какой-нибудь случай. А на мои именины он мне прислал большую коробку шоколада, это был очень милый знак внимания с его стороны. Я забыла это тогда вам написать и только теперь, когда вы меня спросили, я это вспомнила. Потому что, должна вам сказать, шоколад в нашем пансионе исчезает сразу, и едва только до твоего сознания доходит, что тебе подарили шоколад, как его уже нет. Но насчет Йозефа я хотела вам еще кое-что рассказать. Как я уже сказала, в банке меня к нему не пропустили, потому что он как раз тогда вел переговоры с каким-то господином. Я там тихо подождала сколько-то времени, а потом спрашиваю у секретаря, долго ли еще продлятся эти переговоры. А он мне тогда и говорит, что, может быть, и долго, потому что речь, наверное, идет о процессе, который ведется против господина прокуриста. Я тогда спросила, что же это за процесс и не ошибается ли он, но он сказал, что не ошибается, что это процесс, и причем серьезный, но что больше он ничего не знает. Он сам хотел бы помочь господину прокуристу, потому что

он хороший и справедливый человек, но он не знает, как это сделать и только желает ему, чтобы о нем позаботились какие-нибудь влиятельные господа. Так наверняка и будет, и все в конце концов кончится хорошо, но пока что, сколько он может судить по настроению господина прокуриста, все совсем не хорошо. Я, естественно, этим разговорам большого значения не придала, постаралась успокоить этого простодушного секретаря, запретила ему рассказывать об этом другим и посчитала все это болтовней. Но все-таки, может быть, было бы хорошо, если бы ты, милый папочка, в твой ближайший приезд разобрался в этом деле, тебе будет легко узнать это поточнее и, если в самом деле окажется нужно, вмешаться через твои большие и влиятельные связи. А если окажется, что это не нужно, а скорей всего так и будет, по крайней мере, тогда у твоей дочери появится возможность скоро тебя обнять, и она будет этому рада». Хорошая девочка, — сказал дядя, окончив чтение, и отер с глаз несколько слезинок.

К. кивнул; занятый разными делами, в последнее время он совсем забыл про Эрну, забыл даже и о дне ее рождения, и эта история с шоколадом явно была выдумана только для того, чтобы за-

щитить его перед дядей и тетей. Это было очень трогательно, и те театральные билеты, которые он намерен ей отныне регулярно посылать, безусловно, недостаточное вознаграждение, но к посещению пансиона и к разговорам с молоденькой восемнадцатилетней институткой он сейчас чувствовал себя неспособным.

— Так что ты на это скажешь? — спросил дядя, который за письмом забыл и свою спешку, и возбуждение и, кажется, читал его теперь еще раз.

— Да, дядя, — сказал К., — это правда.

— Правда? — вскричал дядя. — Что — правда? Как это может быть правда? Что это за процесс? Ведь не уголовный же?

— Уголовный, — ответил К.

— И ты спокойно сидишь тут, когда у тебя на шее висит уголовный процесс? — все громче кричал дядя.

— Чем спокойнее буду я, тем лучше будет исход, — устало сказал К., — не бойся.

— Это меня успокоить не может! — кричал дядя. — Йозеф, милый Йозеф, подумай о себе, о твоих родных, о нашем добром имени! До сих пор ты был нашей гордостью, ты не можешь стать нашим позором. Твоя позиция, — он смотрел на К., склонив голову набок, — мне не нравится,

так не ведет себя обвиненный без вины, когда у него еще есть силы. Теперь быстро говори мне, в чем там дело, чтобы я мог тебе помочь. Дело, естественно, в банке?

— Нет, — сказал К. и встал, — но ты, милый дядя, говоришь слишком громко, а секретарь, может быть, стоит за дверью и подслушивает. Это мне неприятно. Давай мы лучше уйдем отсюда. И я тогда отвечу тебе на все вопросы, на какие смогу. Я очень хорошо понимаю, что несу ответственность перед семьей.

— Верно! — заорал дядя, — очень верно, но только поторопись, Йозеф, поторопись!

— Я должен дать еще некоторые поручения, — сказал К. и вызвал по телефону своего заместителя, который спустя несколько мгновений вошел.

Дядя в своем возбуждении показал ему рукой, что его вызывал К., в чем и без того не было никаких сомнений. К., уже вставший из-за стола, тихим голосом с помощью различных бумаг стал объяснять молодому человеку, что еще должно быть сделано сегодня в его отсутствие; молодой человек холодно, но внимательно слушал. Дядя мешал. Вначале он стоял рядом, с расширенными глазами, нервно кусая губы; он, впрочем, не слушал, но уже его вид был достаточной помехой.

Затем, однако, он начал бегать по кабинету взад и вперед, время от времени останавливаясь перед окном или перед картиной и постоянно разражаясь возгласами вроде: «Никак не могу взять в толк!» или: «Но скажите на милость, что из всего этого выйдет!» Молодой человек держался так, словно ничего этого не замечал, он спокойно дослушал поручения К. до конца, кое-что при этом себе записав, и вышел, предварительно поклонившись как К., так и дяде, который, правда, как раз в это время повернулся к нему спиной: дядя смотрел в окно и, раскинув руки, мял портьеры. Дверь еще не успела закрыться, а он уже кричал:

— Наконец-то этот придурок ушел, ну, теперь и мы уже можем идти. Наконец-то!

К сожалению, не было средства убедить дядю не задавать вопросов о процессе в холле банка, где стояли несколько чиновников и экспедиторов и где как раз проходил заместитель директора.

— Итак, Йозеф, — начал дядя, отвечая небрежным жестом на поклоны стоящих вокруг, — теперь говори — как на духу, что за процесс.

К. сделал несколько незначащих замечаний, немного посмеялся и только уже на лестнице объяснил дяде, что не хотел откровенничать на людях.

— Правильно, — сказал дядя, — но теперь говори.

Он слушал, наклонив голову и куря сигару короткими, торопливыми затяжками.

— Прежде всего, дядя, — говорил К., — речь вовсе не идет о каком-то процессе в обычном суде.

— Это плохо, — сказал дядя.

— Как? — удивился К. и посмотрел на дядю.

— Я считаю, что это плохо, — повторил дядя.

Они стояли на ступеньках крыльца перед входом в банк; поскольку швейцар, кажется, подслушивал, К. увлек дядю вниз, и оживленное движение улицы подхватило их. Дядя, державший К. под руку, уже не так настойчиво спрашивал о процессе, некоторое время они даже шли молча.

— Но как это случилось? — спросил наконец дядя, остановившись так внезапно, что шедшие за ним люди в испуге отпрянули. — Такие вещи происходят не вдруг, они готовятся задолго, должны были быть какие-то признаки, почему ты мне не писал? Ведь ты знаешь, что я для тебя все сделаю, я в какой-то степени все еще твой опекун и до сегодняшнего дня гордился этим. Естественно, я и теперь буду тебе помогать, но только теперь, когда процесс начат, это очень трудно. Во всяком случае, было бы лучше, если бы ты теперь взял

маленький отпуск и уехал к нам в деревню. Да ты и поотощал тут, как я вижу. В деревне подкормишься, это укрепляет, у тебя ведь наверняка еще будут трудные времена. А кроме того, ты там в какой-то степени скроешься от суда. Здесь у них все возможные органы и силы, которые они при необходимости автоматически применят, а в деревне другое дело, им сначала пришлось бы направлять туда свои органы или пытаться воздействовать на тебя письменно, по телеграфу, по телефону. А это, естественно, ослабляет действие, и хоть не освободит тебя, но даст передышку.

— Они же могут запретить мне выезд, — сказал К., отчасти вовлеченный речью дяди в ход его рассуждений.

— Не думаю, что они на это пойдут, — задумчиво сказал дядя, — не так уж много власти они теряют с твоим отъездом.

— Я думал, — сказал К., беря дядю под руку, чтобы не дать ему остановиться посреди улицы, — что ты всему этому придашь еще меньше значения, чем я, а ты принимаешь это так серьезно.

— Йозеф! — крикнул дядя и попытался отцепиться от него, чтобы можно было остановиться, но К. его не выпустил, — ты изменился, у тебя же

всегда было такое правильное понимание всего, и именно теперь оно тебе изменило? Ты что, хочешь проиграть твой процесс? Да ты понимаешь, что это значит? Это значит, что ты будешь просто вычеркнут. И все твои родные канут вместе с тобой — во всяком случае, будут прибиты до земли. Да соберись же, Йозеф! Твое безразличие сводит меня с ума. На тебя посмотришь, так почти поверишь тем, кто говорит: «Попасть под такой процесс все равно что уже проиграть его».

— Милый дядя, — сказал К., — эти волнения совершенно излишни; как они излишни с твоей стороны, так были бы излишни и с моей. Волнуясь, процессов не выигрывают, доверься немножко и моему практическому опыту, так же как я всегда очень уважал — и теперь уважаю — твой, даже когда он меня ошеломляет. Раз ты говоришь, что и вся семья из-за этого процесса тоже попала бы в беду, — чего я, со своей стороны, никак не могу понять, но это не важно, — то я готов во всем тебя слушаться. Но только мне представляется, что это отсиживание в деревне не принесет пользы даже в твоем смысле, потому что это означало бы бегство и признание вины. Кроме того, хотя здесь меня и больше преследуют, но зато и я сам могу больше продвинуть дело.

— Правильно, — сказал дядя таким тоном, словно теперь, наконец, их взгляды сблизились, — я предложил это, только когда увидел, что твое безразличие, если ты здесь останешься, может повредить всему делу, и посчитал за лучшее, чтобы я вел его тут за тебя. Но если ты сам хочешь продвигать его со всей силой, то это, естественно, намного лучше.

— Значит, на этот счет мы договорились, — сказал К. — Теперь, есть ли у тебя какое-нибудь предложение насчет того, что мне в первую очередь следует делать?

— Я, естественно, должен еще обдумать это дело, — сказал дядя, — ты должен учесть, что я вот уже двадцать лет почти безвылазно живу в деревне, от этого нюх на эти ваши запахи ослабевает. Да и разные важные связи со всякими личностями, которые в этом, может, получше разбираются, ослабли сами собой. Я там, в деревне, немного одичал, ты же знаешь. Собственно, это и становится-то заметно как раз только в таких случаях. Опять же, это твое дело было для меня отчасти неожиданным, даже при том, что я, как ни странно, уже после письма Эрны что-то такое предполагал, а сегодня как на тебя взглянул, так уже знал почти точно. Но это все не важно, а

самое главное теперь — не терять времени.

Еще во время своей речи он, приподнявшись на цыпочки, уже махал рукой какому-то автомобилю и теперь, выкрикивая водителю адрес, в то же время втаскивал К. за собой в машину.

— Мы едем сейчас к адвокату Пьета, — сказал дядя, — мы с ним однокашники. Ты, конечно, тоже слыхал это имя? Нет? Это очень странно. Он же широко известен как адвокат и защитник бедных. Но у меня к нему, в особенности как к человеку, большое доверие.

— Я согласен со всем, что ты предпримешь, — сказал К., хотя поспешность и порывистость, с которыми дядя взялся за это дело, вызывали у него неприятное чувство.

Ехать в качестве обвиняемого к адвокату для бедных — это была не такая уж большая радость.

— Не знаю, — сказал он, — можно ли вообще к такому делу привлекать адвоката.

— Естественно, можно, — сказал дядя, — это же само собой разумеется. Почему же нет? А теперь расскажи мне, чтобы у меня были точные сведения обо всем, что случилось до сих пор.

К. сразу же начал рассказывать, ничего не скрывая; его полная откровенность была тем единственным протестом, который К. мог себе

позволить, против мнения дяди об этом процессе как о каком-то огромном позоре. Имя фрейлейн Бюрстнер он упомянул лишь однажды, и то вскользь, но это не вредило откровенности, поскольку фрейлейн Бюрстнер никакого отношения к процессу не имела. Глядя по ходу рассказа в окно, он заметил, что они приближаются как раз к тому предместью, где находились канцелярии суда; он обратил на это внимание дяди, который, однако, не слишком удивился такому совпадению. Машина остановилась перед каким-то мрачным домом. Дядя сразу позвонил в первую же дверь на первом этаже; пока они ждали, он оскалил в ухмылке свои крупные зубы и прошептал:

— Восемь часов, необычное время для визитов. Но на меня Пьета не обидится.

В смотровом окошечке двери появились два больших черных глаза; некоторое время они смотрели на гостей, затем исчезли, но дверь так и не открылась. Дядя и К. обоюдно подтвердили друг другу тот факт, что они видели эти глаза.

— Новая служанка, боится чужих, — сказал дядя и постучал еще раз.

Вновь появились те же глаза, теперь они могли показаться почти печальными, но, возможно,

это был просто обман зрения, вызванный огнем газового светильника, который с сильным шипением горел прямо над их головами, но света давал мало.

— Откройте! — крикнул дядя и стукнул кулаком в дверь, — это друзья господина адвоката!

— Господин адвокат болен, — прошептал голос у них за спиной.

В дверях на другой стороне узкого проезда стоял какой-то господин в шлафроке, который и сделал чрезвычайно тихим голосом это сообщение. Дядя, уже разъяренный долгим ожиданием, рывком обернулся и закричал:

— Болен? Вы говорите, он болен? — и почти угрожающе, словно этот господин и был болезнью, двинулся на него.

— Уже открыли, — сказал господин, указал на дверь адвоката, запахнулся в свой шлафрок и исчез.

Дверь действительно была открыта, молодая девушка в длинном белом переднике — К. узнал эти темные, немного навыкате глаза — стояла в передней со свечой в руке.

— В следующий раз открывайте поживее! — сказал дядя вместо приветствия, в то время как девушка делала маленький книксен. — Идем,

Йозеф, — сказал он затем К., который медленно проходил мимо девушки.

— Господин адвокат болен, — сказала девушка, поскольку дядя, не задерживаясь, устремился к следующей двери.

К. все еще смотрел, раскрыв глаза, на девушку, которая в это время уже повернулась спиной, запирая входную дверь; у нее было кукольно-круглое лицо, округлыми были не только бледные щеки и подбородок, но и виски, и очертания лба.

— Йозеф! — снова крикнул дядя, а девушку спросил: — Что-то с сердцем?

— По-моему, да, — сказала девушка, успевшая пройти со свечой вперед и открыть дверь в комнату.

В дальнем углу комнаты, которого еще не достиг свет свечи, над кроватью поднялось лицо с длинной бородой.

— Лени, кто это пришел? — спросил адвокат; ослепленный светом, он не узнавал гостей.

— Это Альберт, твой старый друг, — сказал дядя.

— Ах, Альберт, — сказал адвокат и расслабленно упал на подушки так, словно при этом посещении ему ничего не нужно было изображать.

— Что, действительно так плохо? — спросил дядя и уселся на край кровати. — А я в это не верю. Это просто один из твоих сердечных приступов, пройдет, как и прошлые.

— Может быть, — тихо сказал адвокат, — но такого тяжелого, как этот, еще не было. Дышать трудно, не сплю совсем, и с каждым днем силы уходят.

— Н-да, — сказал дядя и своей большой рукой крепко придавил на колене панаму. — Это плохие новости. За тобой, кстати, уход-то — как надо? И как-то печально здесь, темно как-то. Много уж времени прошло с тех пор, как я последний раз тут был, тогда мне казалось, тут поприветливее было. Да и эта твоя маленькая фрейлейн, кажется, не очень-то веселая — или притворяется?

Девушка все еще стояла со свечой у двери; насколько можно было судить по ее неопределенному взгляду, смотрела она — даже и теперь, когда дядя говорил о ней, — скорее на К., чем на дядю. К. стоял, прислонясь к креслу, которое передвинул ближе к девушке.

— Когда так болеешь, как я, — сказал адвокат, — нуждаешься в покое. Для меня здесь ничего печального нет, — и после небольшой паузы добавил: — И Лени хорошо за мной ухаживает,

она молодец.[11]

Но дядю это убедить не могло, он был явно предубежден против сиделки; если он и не возражал больному, то взгляд его, когда он смотрел, как эта сиделка идет к кровати, ставит свечу на ночной столик, наклоняется над больным и, поправляя ему подушки, шепчется с ним, был суров. Он почти забыл про уважение к больному, встал и начал ходить взад-вперед за спиной сиделки; К. не удивился бы, если бы дядя схватил ее сзади за юбки и оттащил от кровати. Сам К. смотрел на все это спокойно, болезнь адвоката была ему даже не совсем неприятна: ведь ретивости, которую дядя проявлял в его деле, он противостоять не мог, и то, что теперь, без его участия, эта ретивость чем-то умерялась, он воспринимал с удовлетворением. Тут дядя, возможно, лишь для того, чтобы уязвить сиделку, сказал:

---

[11] Примечания: 11

Вычеркнуто автором:

И на эту похвалу девушка никак не отреагировала, более того, на нее, кажется, не произвело сколько-нибудь существенного впечатления даже то, что дядя в ответ сказал:

— Может быть. Тем не менее я, если получится, сегодня же пришлю тебе сестру милосердия. Если она тебе не подойдет, ты сможешь ее отослать, но сделай мне одолжение, попробуй ее взять. А то в этом окружении и покое, в котором ты тут живешь, можно вообще все запустить.

— Тут не всегда так спокойно, как теперь, — сказал адвокат. — Твою сестру милосердия я возьму, только если мне это будет необходимо.

— Тебе это необходимо, — сказал дядя.

— Вы, фрейлейн, пожалуйста, оставьте нас на некоторое время, мне с моим другом надо обсудить одно личное дело.

Сиделка, которая как раз в этот момент, перегнувшись через больного, расправляла простыню у стены, только повернула голову и очень спокойно — контраст с прерывавшейся от ярости и затем вновь клокотавшей речью дяди был разителен — сказала:

— Вы же видите, господин так болен, что не может обсуждать никаких дел.

Она, по-видимому, повторила слова дяди просто ради удобства, тем не менее даже непричастный мог воспринять это как насмешку, дядя же, разумеется, взвился как ужаленный.

— Ах ты, проклятая… — пробурлил он в первом порыве возбуждения еще сравнительно неразборчиво; К., хотя и ожидал чего-то в этом роде, испугался и бросился к дяде с решительным намерением обеими руками закрыть ему рот.

Но, к счастью, за девушкой поднялся больной; дядя стал мрачен, словно проглотил что-то скверное, и потом сказал уже спокойнее:

— Мы, естественно, тоже еще в своем уме; если бы то, чего я требую, было невыполнимо, я бы этого не требовал. А теперь идите, пожалуйста!

Сиделка, выпрямившись и уже полностью повернувшись к дяде, стояла около кровати; К. показалось, что он заметил, как она поглаживает рукой руку адвоката.

— Ты можешь все говорить при Лени, — сказал больной безапелляционным тоном настоятельной просьбы.

— Это не меня касается, — сказал дядя, — это не моя тайна.

И он отвернулся, как бы показывая, что ни в какие переговоры больше вступать не намерен, но дает еще небольшое время на размышление.

— Кого же это касается? — спросил адвокат еле слышно и снова лег.

— Моего племянника, — сказал дядя, — вот, я привел его с собой, — и он представил К.: — Прокурист Йозеф К.

— О, — сказал больной значительно живее и вытянул в направлении К. руку, — простите, я вас не заметил. Иди, Лени, — сказал он затем сиделке, которая, впрочем, нисколько уже не сопротивлялась, и подал ей руку, словно они расставались надолго.

— Так ты, значит, — обратился он наконец к дяде, который, в свою очередь смягчившись, подошел ближе, — не больного навестить пришел,

а по делу.

Он уже выглядел так бодро, что казалось, будто именно мысль, что его навестили по случаю болезни лишала его сил; он теперь полулежал, опираясь на локоть, что, несомненно, было довольно утомительно, и беспрерывно теребил прядь волос в гуще своей бороды.

— Вот стоило только этой ведьме вылететь отсюда, — сказал дядя, — и ты сразу стал куда здоровее выглядеть, — он прервал себя, прошептал: — Бьюсь об заклад, она подслушивает! — и кинулся к двери.

За дверью, однако, никого не оказалось, и дядя вернулся назад — не разубежденный, поскольку подозревал каверзу еще более злостную, — но несколько разочарованный.

— Ты недооцениваешь ее, — сказал адвокат, не стараясь больше защищать сиделку; может быть, он хотел этим подчеркнуть, что она не нуждается в защите.

Затем он продолжил значительно более заинтересованным тоном:

— Что же касается дела господина племянника, то мои перспективы я бы оценил как благоприятные, в том, конечно, случае, если моих сил хватит на эту чрезвычайно трудную задачу; я

очень боюсь, что их не хватит, но, как бы то ни было, я испробую все средства, если же меня на это не хватит, то ведь можно будет привлечь и еще кого-нибудь. Откровенно говоря, это дело слишком сильно меня интересует, чтобы я мог заставить себя отказаться от всякого участия в нем. И если мое сердце этого не выдержит, то, по крайней мере, здесь для него найдется достойный повод полностью отказать.

К. из всей этой речи не понял, кажется, ни слова; он смотрел на дядю, ища у него объяснения, но тот сидел со свечой в руке на ночном столике, с которого уже скатилась на ковер склянка какого-то лекарства, кивал на все, что говорил адвокат, был со всем согласен и время от времени бросал взгляд на К., приглашая и его к такому же одобрению. Может быть, дядя уже раньше рассказал адвокату об этом процессе? Но это было невозможно, это противоречило всему предшествующему. Поэтому К. сказал:

— Я не понимаю…

— Так и я, может быть, неправильно вас понял? — спросил адвокат так же удивленно и растерянно, как и К. — Я, может быть, поторопился. Но о чем же вы хотели со мной говорить? Я думал, речь идет о вашем процессе?

— Естественно, — сказал дядя и потом спросил К.: — Ты чего-то хотел?

— Нет, но откуда же вы вообще знаете обо мне и о моем процессе?

— Ах, вот оно что, — сказал адвокат, усмехаясь. — Так ведь я же адвокат, я имею связи в судебных кругах, где говорят о разных процессах, и наиболее громкие, в особенности когда дело касается племянника твоего друга, задерживаются в памяти. Так что тут нет ничего особенного.

— Ты чего-то хотел? — снова спросил дядя у К. — Ты какой-то беспокойный.

— Вы имеете связи в этих кругах? — спросил К.

— Да, — сказал адвокат.

— Ты спрашиваешь, как ребенок, — сказал дядя.

— Где же мне еще иметь связи, как не среди людей одинаковых со мной интересов? — прибавил адвокат.

Это прозвучало настолько убедительно, что К. даже ничего не ответил. «Но вы же работаете в том суде, который во Дворце правосудия, а не в том, который на чердаке», — хотел он сказать, но не смог заставить себя произнести это вслух.

— Вы же должны отдавать себе отчет, — продолжал адвокат таким тоном, словно мимоходом

объяснял что-то само собой разумеющееся, и это объяснение было излишним, — вы же должны отдавать себе отчет в том, что из такого рода связей я в то же время извлекаю и большие преимущества для моих клиентов, причем в отношениях весьма различного характера, но об этом не всегда можно говорить. По естественным причинам, вследствие болезни, мои возможности сейчас несколько ограниченны, но тем не менее я принимаю визиты моих добрых друзей из суда и кое-что от них получаю. И получаю, может быть, больше, чем многие из тех, кто в полном здравии целые дни проводят в суде. Чтобы недалеко ходить, как раз сейчас у меня здесь один приятный визитер.

И он указал в темный угол комнаты.

— Где это? — в полном изумлении почти грубо спросил К.

Он неуверенно огляделся по сторонам; свет маленькой свечи далеко не достигал до противоположной стены, но, действительно, там, в углу, что-то такое зашевелилось. Дядя поднял свечу повыше, и теперь в ее свете стало видно, что там за маленьким столиком сидит какой-то пожилой господин. Он должен был до этого вообще не дышать, чтобы так долго оставаться незамеченным.

Теперь он медленно поднимался, очевидно, недовольный тем, что на него обратили внимание. Казалось, словно он хотел руками, которыми он взмахивал, как короткими крыльями, отклонить всякие представления и приветствия, словно он ни в коем случае не хотел своим присутствием помешать остальным и настоятельно просил погрузить его снова в темноту и забыть о его присутствии. Но такого удовлетворения ему уже не могли предоставить.

— Вы ведь нас захватили врасплох, — сказал адвокат в объяснение, при этом он подбадривающими кивками приглашал господина подойти поближе, что тот и сделал, медленными шагами, неуверенно оглядываясь, но все же и с известным достоинством, — вот, господин директор канцелярий — ах, да, прошу прощения, я же не представил вас: это мой друг Альберт К., это его племянник прокурист Йозеф К., а это господин директор канцелярий; так вот, господин директор канцелярий был столь любезен, что посетил меня. Оценить подобное посещение по достоинству может, вообще говоря, только посвященный, знающий, как господин директор канцелярий перегружен работой. Но несмотря на это он пришел, и мы мирно развлекали друг

друга, насколько позволяла моя слабость, причем мы даже не запретили Лени принимать посетителей, поскольку их не предполагалось, но обоюдно рассчитывали, что останемся наедине, однако затем раздались эти твои удары кулаком, Альберт, и господин директор канцелярий отодвинулся с креслом и столом в угол, а теперь вот оказывается, что у нас — разумеется, предположительно, при наличии соответствующего желания — появляется общий предмет и очень хорошая возможность нового сближения. Господин директор канцелярий, — наклонив голову и заискивающе улыбаясь, он указал на кресло недалеко от кровати.

— Я, к сожалению, могу задержаться еще только на несколько минут, — любезно сказал директор канцелярий, с удобством расположился в кресле и посмотрел на часы, — дела зовут. Но в любом случае я не могу упустить возможность сближения с другом моего друга.

Он слегка наклонил голову в сторону дяди, который, казалось, был весьма польщен таким новым знакомством, но, в силу своей натуры, не мог выразить признательность и слова директора канцелярий встретил смущенным, но громким смехом. Гнусное зрелище! К. мог спокой-

но за всем этим наблюдать, так как на него никто не обращал внимания; директор канцелярий, очевидно, следуя привычке, взял, поскольку его все равно уже вытащили на свет, нить разговора в свои руки; адвокат, чья изначальная слабость, по-видимому, была вызвана лишь желанием удалить новых визитеров, внимательно слушал, держа руку около уха; дядя в роли подсвечника — он балансировал свечой на своем бедре, на что адвокат временами поглядывал с озабоченностью, — вскоре избавился от чувства неловкости и не выражал уже ничего, кроме полного восторга как манерой речи директора канцелярий, так и теми мягкими волнообразными движениями, которыми он ее сопровождал. К., прислонившегося к спинке кровати, директор канцелярий полностью игнорировал, возможно, даже намеренно, он служил этому пожилому господину только в качестве слушателя. Впрочем, К. почти не понимал, о чем шла речь; он то думал о сиделке и о том, как плохо дядя с ней обошелся, то вспоминал, где он мог уже видеть этого директора канцелярий, — не на том ли собрании во время первого допроса? Но если даже он, может быть, и ошибался, то все равно этот директор канцелярий был как нельзя более похож на тех,

из первых рядов, господ с редкими бородами.

Шум в передней, словно от разбившегося фарфора, заставил всех насторожиться.

— Я посмотрю, что там случилось, — сказал К. и медленно пошел из комнаты, как бы оставляя другим возможность его удержать. Едва только он вышел в переднюю и попытался сориентироваться в темноте, как на его руку, еще придерживавшую дверь, легла какая-то маленькая рука, много меньше, чем его, и тихонько прикрыла дверь. Это была сиделка, которая ждала в передней.

— Ничего не случилось, — прошептала она, — просто я тарелку об стену разбила, чтобы вас вытащить.

В замешательстве К. сказал:

— Я тоже о вас думал.

— Тем лучше, — сказала сиделка, — идемте.

Через несколько шагов они подошли к какой-то двери с матовым стеклом, которую сиделка открыла перед К.

— Входите же, — сказала она.

Это, несомненно, был рабочий кабинет адвоката; насколько можно было различить в лунном свете, освещавшем сейчас лишь маленькие четырехугольники пола возле каждого из трех

больших окон, кабинет был обставлен тяжелой старинной мебелью.

— Сюда, — сказала сиделка и указала на какой-то темный сундук-скамью с резной деревянной спинкой.

Усевшись, К. осмотрелся; это была большая комната с высоким потолком, доверители адвоката для бедных должны были чувствовать себя здесь потерянными.[12] К., казалось, видел те мелкие шажки, которыми посетители приближались к этому величественному письменному столу. Но затем он забыл об этом и уже видел только сиделку, которая села совсем близко к нему и почти прижала его к боковой спинке.

— Я думала, — сказала она, — вы сами ко мне выйдете, а не только после того, как мне пришлось вас вызывать. Это все-таки странно. Сначала вы смотрите на меня, не отрываясь, прямо с порога, а потом заставляете меня ждать. И называйте меня просто Лени, — прибавила

---

[12] Примечания: 12

Вычеркнуто автором:

Письменный стол, почти перегораживавший комнату от стены до стены, стоял недалеко от окон, он был расположен так, что адвокат сидел спиной к двери, и посетитель, поистине как незваный гость, должен был промерить шагами всю ширину комнаты, чтобы предстать перед лицом адвоката, если тот был не настолько любезен, чтобы обернуться к посетителю.

она неожиданно и так поспешно, словно боялась упустить хоть одно мгновение этой фразы.

— С удовольствием, — сказал К. — А что касается этой странности, то она просто объясняется. Во-первых, я же должен был слушать болтовню этих старых джентльменов и не мог сбежать без причины, а во-вторых, я не дерзкий, я скорее робкий, да и вы, Лени, совсем не выглядели так, будто вас можно взять наскоком.

— Это не так, — сказала Лени, положила руку на спинку и посмотрела на К., — просто я вам не понравилась и, по-видимому, не нравлюсь и сейчас тоже.

— Ну, понравиться — это еще не все, — сказал К. уклончиво.

— О-о! — сказала она, смеясь; это замечание К. и ее маленькое восклицание обеспечивали ей определенное превосходство.

Из-за этого К. некоторое время молчал. Поскольку он уже привык к темноте в комнате, он мог теперь различить отдельные детали обстановки. Особенно привлек его внимание большой портрет, висевший справа от двери; он наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть его. Портрет представлял мужчину в судейской мантии, мужчина сидел на высоком троне, многие части

которого выделялись своей позолотой. Необычным было то, что в позе судьи не было спокойного достоинства; левой рукой он крепко упирался в подлокотник и спинку, а пальцами ничем не занятой правой обхватил другой подлокотник, словно собирался в следующее же мгновение со страстным и, может быть, гневным поворотом вскочить, чтобы сказать что-то решающее или даже объявить приговор. Обвиняемого следовало, очевидно, предполагать на ступенях у подножия — самые верхние из них, покрытые желтым ковром, еще можно было рассмотреть на картине.

— Возможно, это мой судья, — сказал К. и указал пальцем на портрет.

— Я его знаю, — сказала Лени и тоже посмотрела на портрет, — он часто сюда приходит. Это портрет еще времен его молодости, но он даже и похожим на него никогда не мог быть, потому что он маленький, почти как клоп. И несмотря на это заставил вот так вытянуть себя в длину на портрете, потому что он безумно тщеславен, как все здесь. Но и я тоже тщеславна и очень недовольна, что совсем вам не нравлюсь.

На последнее замечание К. ответил лишь тем, что обнял Лени и прижал к себе — она тихо склонила голову на его плечо, — но по поводу

остального он спросил:

— И в каком он там чине?

— Он там следователь, — сказала она, теребя руку, которой он ее обнимал, и играя его пальцами.

— Опять всего лишь следователь, — разочарованно сказал К., — а высшие чины прячутся. Но ведь он же сидит на троне.

— А это все выдумки, — сказала Лени, прижимаясь лицом к руке К., — на самом деле он сидит на кухонном кресле, накрытом старой попоной. А вы что же, все время должны о вашем процессе думать? — медленно прибавила она.

— Нет, совсем нет, — сказал К., — я, может быть, даже слишком мало о нем думаю.

— Ваша ошибка не в этом, — сказала Лени, — а в том, что вы слишком упрямы, так я слышала.

— Кто это сказал? — спросил К., он чувствовал ее тело на своей груди и смотрел вниз на густые темные волосы, стянутые в тугой узел.

— Я слишком много выдам, если я вам это скажу, — ответила Лени. — Не спрашивайте, пожалуйста, об именах, а лучше исправьте вашу ошибку, не будьте так упрямы, против этого суда ведь нет защиты, надо сделать признание. Вот вы и сделайте это признание при первом же

удобном случае. Только тогда и появится возможность ускользнуть от них, только тогда. Правда, даже и это невозможно сделать без посторонней помощи, но насчет этой помощи вы не бойтесь, я сама вам ее окажу.

— Вы много знаете об этом суде и о тех уловках, которые здесь нужны, — сказал К. и, поскольку она уж совсем на него навалилась, посадил ее к себе на колени.

— Это уже лучше, — сказала она и, устраиваясь у него на коленях, разгладила юбку и оправила блузку.

Потом она обняла его обеими руками за шею, отклонилась назад и посмотрела на него долгим взглядом.

— А если я не сделаю это признание, вы не сможете мне помочь? — спросил К. в порядке эксперимента.

Я занимаюсь вербовкой помощниц, думал он почти с удивлением, сначала фрейлейн Бюрстнер, потом жена служителя суда и теперь, наконец, эта маленькая сиделка, которой я по непонятной причине, кажется, очень нужен. Как она сидит у меня на коленях, словно это место для нее и создано!

— Нет, — ответила Лени и медленно покачала

головой, — тогда я не смогу вам помочь. Но вы же не хотите моей помощи, она вам не нужна, вы своевольны, вы не позволите себя уговорить, — и после небольшой паузы спросила: — У вас есть возлюбленная?

— Нет, — сказал К.

— Да есть, — сказала она.

— Да, действительно, — сказал К., — подумать только, я от нее отказываюсь, а между тем у меня даже фотография ее с собой.

В ответ на ее просьбу он показал ей фотографию Эльзы; съежившись у него на коленях, она рассматривала карточку. Это был моментальный снимок. Эльза была снята в момент окончания головокружительного танца, который она с удовольствием исполняла в кабачке, ее юбка еще летела вокруг нее, взвихренная пируэтом, руки она упирала в крепкие бедра, шея была изогнута, она смотрела в сторону и смеялась; того, кому был адресован ее смех, на фотографии не было.

— Она сильно затянута, — сказала Лени и показала на фотографии место, где это, по ее мнению, было заметно. — Она мне не нравится, она неуклюжа и груба. Впрочем, возможно, с вами она нежна и ласкова, судя по фотографии, похоже на то. Такие большие, сильные девушки часто

только и могут, что быть нежными и ласковыми. Но смогла бы она пожертвовать собой ради вас?

— Нет, — сказал К., — она не нежна и не ласкова и пожертвовать собой ради меня не смогла бы. Но я пока ни того, ни другого от нее не требовал. Я даже и эту фотографию не рассматривал так внимательно, как вы.

— Тогда она для вас вовсе не так много значит, — сказала Лени, — тогда она вам вовсе не возлюбленная.

— Нет, — сказал К., — я свое слово назад не беру.

— Но тогда, если даже она сейчас и ваша возлюбленная, — сказала Лени, — вы бы не стали очень уж жалеть, если бы ее потеряли или поменяли на какую-нибудь другую, к примеру, на меня.

— Конечно, — сказал К., усмехаясь, — это возможно, но у нее есть перед вами одно большое преимущество: она ничего не знает о моем процессе, и даже если бы она что-то о нем узнала, она бы не стала об этом думать. Она бы не пыталась уговорить меня не упрямиться.

— Это вовсе не преимущество, — сказала Лени. — И если у нее нет других преимуществ, то я не теряю надежды. У нее есть какой-нибудь

физический недостаток?

— Физический недостаток? — переспросил К.

— Да, — сказала Лени, — потому что у меня есть один такой маленький недостаток, смотрите, — она раздвинула средний и безымянный пальцы своей правой руки, между ними была почти достигавшая крайних суставов коротких пальцев тоненькая перепонка.

К. в темноте не сразу понял, что она хочет ему показать, поэтому она сама поднесла его руку, чтобы он мог пощупать.

— Какая игра природы, — сказал К. и, осмотрев всю руку, прибавил: — Какая прелестная лапка!

С некоторой гордостью Лени смотрела, как К. с удивлением снова и снова раздвигал и сдвигал ее два пальца, в конце концов он быстро поцеловал их и отпустил.

— О! — тут же воскликнула она, — вы меня поцеловали!

Торопливо, с полураскрытым ртом, она вскарабкалась на него, встав коленками на его колени. К. почти ошеломленно смотрел на нее снизу вверх; теперь, когда она была так близко к нему, от нее исходил какой-то горький, возбуждающий, словно бы перечный, запах, она схватила его голову, наклонилась к нему и впилась зубами в его шею,

целуя и кусая, она кусала даже его волосы.

— Вы поменялись на меня! — вскрикивала она время от времени, — видите, вы теперь поменялись на меня!

Вдруг одно ее колено соскользнуло; коротко вскрикнув, она почти упала на ковер, К. обхватил ее, пытаясь удержать, и его увлекло за ней вниз.

— Теперь ты принадлежишь мне, — сказала она.

— Вот тебе ключ от дома, приходи, когда захочешь, — были ее последние слова, и упустивший цель поцелуй попал ему, уже уходящему, в спину.

Когда он вышел из дверей дома, накрапывал мелкий дождик; он хотел отойти на середину улицы, чтобы, может быть, еще раз увидеть в окне Лени, но тут из какого-то автомобиля, которого К. в рассеянности даже не заметил, выскочил дядя, схватил его за руки и прижал к воротам дома, словно собирался тут его и распять.

— Мальчишка! — кричал он, — как ты мог это сделать! Так ужасно испортить все дело, когда оно уже было на ходу! Скрыться с этой маленькой грязной чертовкой, которая, кроме всего, явно любовница адвоката, и исчезнуть на целый час! Ты же даже никакого предлога не искал,

не скрывал ничего, нет, совершенно открыто побежал к ней и с ней остался. А мы в это время сидим там всей компанией, дядя твой, который ради тебя старается, адвокат, который должен стать твоим, и, главное, директор канцелярий, большой человек, который на этом этапе попросту определяет, как пойдет твое дело. Мы хотим посоветоваться, как можно тебе помочь, я должен осторожно обхаживать адвоката, он, в свою очередь, директора канцелярий — так уж, кажется, у тебя все основания по крайней мере помогать мне. А ты вместо этого неизвестно где. В конце концов это уже становится невозможно не замечать; ну, они люди вежливые, находчивые, они об этом не говорят, они щадят меня, но вот уже и они не в силах ничего из себя выдавить и, поскольку говорить о деле не могут, умолкают. И мы сидим там молча минуту за минутой и прислушиваемся, не идешь ли ты уже наконец. Но напрасно. Наконец директор канцелярий, который и так уже просидел намного дольше, чем собирался вначале, встает, прощается, явно сожалея, смотрит на меня, не в силах ничего сделать, с непостижимой благосклонностью ждет еще некоторое время у двери, но потом уходит. Я, естественно, счастлив, что он ушел, и еле могу пе-

ревести дыхание, но каково пришлось больному адвокату, этот добрый малый даже говорить со мной не мог, когда я с ним прощался. Его полное бессилие тоже, может быть, отчасти твоя работа, ты ускоряешь этим смерть человека, а кем ты его заменишь? И меня, твоего дядю, ты заставляешь здесь, под дождем — ты пощупай только, как у меня все отсырело, — ждать часами, так что я от этих забот уже место не нахожу!

Глава седьмая
АДВОКАТ. ФАБРИКАНТ. ХУДОЖНИК

В один из зимних дней, утром — за окном было сумрачно, и падал снег — К., уже вконец уставший несмотря на ранний час, сидел в своем кабинете. Чтобы оградить себя по крайней мере от низших чиновников, он велел секретарю никого из них не пропускать, поскольку он занят более важной работой. Но вместо работы он вертелся в своем кресле, медленно передвигал на столе с места на место какие-то предметы, но потом забыл, не заметив этого, свою вытянутую руку, оставшуюся лежать на крышке стола, и, опустив голову, замер в неподвижности.

Мысль о процессе теперь уже не покидала его. Он уже не раз обдумывал, не стоит ли ему составить некий защитительный меморандум и представить его суду. Он хотел предложить в нем свое краткое жизнеописание и по поводу каждого сколько-нибудь значительного события объяснить, по какой причине он поступил так, а не иначе, заслуживает ли такой образ действий с его теперешней точки зрения порицания или

одобрения и какие основания он может привести для того и для другого. Преимущества такого защитительного меморандума перед обычной защитой с помощью этого, тоже, кстати, в иных отношениях не безупречного, адвоката были несомненны. К. ведь вообще не знал, что предпринимает этот адвокат, во всяком случае, ясно было, что немногое, потому что вот уже месяц, как он его не приглашал, да и во время предыдущих встреч у К. ни разу не возникло впечатление, что этот человек может многого для него добиться. И главное, он же его почти совсем не расспрашивал. А здесь ведь было так много такого, о чем следовало спросить. Спрашивать — вот что было главное. У К. было такое ощущение, что он сам смог бы задать все нужные вопросы. Но адвокат вместо того, чтобы спрашивать, или рассказывал сам, или молча сидел за письменным столом напротив него, немного наклонясь вперед, видимо, по причине своего слабого слуха, теребил клок волос в гуще своей бороды и смотрел вниз на ковер, может быть, как раз на то место, где К. лежал с Лени. Время от времени он давал К. какие-то пустые наставления, какие дают детям. За эти его речи, настолько же бесполезные, насколько и скучные, К. при окончательном расчете гроша

ломаного не собирался платить. А когда адвокат полагал, что уже достаточно его унизил, он обычно начинал снова слегка его подбадривать. Он тогда рассказывал, что выиграл, полностью или частично, множество подобных процессов. Возможно, что в действительности они были не такими тяжелыми, как этот, но выглядели еще более безнадежными. Перечень таких дел у него тут, в ящике, — при этом он похлопывал по какому-нибудь ящику стола, — однако, к сожалению, показать эти бумаги он не может, поскольку речь идет о служебной тайне. Тем не менее, весь большой опыт, который он приобрел благодаря этим процессам, теперь, само собой, будет употреблен в пользу К. Он, естественно, сразу же взялся за дело, и первое заявление уже почти подготовлено. А оно очень важно, поскольку первое впечатление, которое производит защита, часто определяет направление всего дела. Впрочем, к сожалению, — он должен обратить на это внимание К. — нередко бывает, что первые заявления в суде вообще не читают. Их просто приобщают к делу и указывают на то, что на этой стадии допрос обвиняемого и наблюдение за ним важнее, чем любая писанина. А если проситель настойчив, добавляют, что перед вынесением решения, ко-

гда все материалы — естественно, относящиеся к делу — будут уже собраны, все дело, а следовательно, и это первое заявление, будет заново пересмотрено. Но, к сожалению, и это тоже большей частью не так, поскольку первое заявление обычно оказывается куда-нибудь не туда вложенным или вообще потерянным, и, даже если оно сохранится до самого конца, его — это, впрочем, адвокату известно лишь понаслышке — вряд ли станут читать. Все это достойно сожаления, но не совсем неоправданно. Ведь К. не должен забывать, что это дело не является открытым, оно может стать открытым, если суд сочтет это необходимым, однако закон подобной гласности не требует. Вследствие этого и материалы суда — и прежде всего, обвинительное заключение — обвиняемому и защите недоступны, поэтому, вообще говоря, неизвестно, против чего следует направлять это первое заявление, и поэтому оно, собственно, только случайно может содержать то, что имеет какое-то значение для дела. А действительно соответствующие и доказательные заявления формулируются позднее, когда в ходе допросов обвиняемого отдельные пункты обвинения и их обоснования могут выступить более отчетливо или быть угаданы. При таких

обстоятельствах защита, естественно, находится в очень невыгодном и затруднительном положении. Но и это сделано преднамеренно. Ведь законом, собственно, защита не разрешена, она только не запрещена, и даже в отношении того, можно ли соответствующее место закона интерпретировать в том смысле, что она не запрещена, имеются разногласия. Поэтому признанных судом адвокатов в строгом смысле слова не существует, и все, выступающие перед этим судом в качестве адвокатов, являются, в сущности, лишь теневыми адвокатами. Это, естественно, ставит в очень унизительное положение все сословие, и, чтобы убедиться в этом, К. достаточно будет, когда он в следующий раз пойдет в канцелярии суда, заглянуть в комнату адвокатов. По всей вероятности, он будет шокирован обществом, которое там собирается. Уже сама выделенная им узкая низкая каморка демонстрирует то презрение, с которым суд относится к этим людям; свет в эту каморку проникает только через один маленький люк, расположенный так высоко, что, если кто-нибудь захочет выглянуть в него — чтобы при этом сразу же получить в нос порцию дыма из торчащей прямо перед ним трубы и почернеть лицом, — он должен сначала найти

для этого коллегу, которому залезет на спину. А в полу этой каморки — просто чтобы привести еще один пример тамошних условий — вот уже более года незаделанная дыра, не настолько, впрочем, большая, чтобы в нее мог провалиться человек, но достаточно большая, чтобы туда ушла вся нога целиком. Но адвокатская помещается на верхнем чердаке, поэтому если кто-то проваливается, то его нога свисает в нижний чердак, причем как раз в тот проход, где ожидают клиенты. Так что когда в адвокатских кругах такие условия называют позорными, то это еще мягко сказано. Жалобы в администрацию не имеют ни малейшего успеха, в то же время адвокатам строжайше запрещено что-либо переделывать в этой комнате за свой счет. Но и для такого обращения с адвокатами имеются свои основания. Ведь защиту хотят по возможности вообще исключить, чтобы все было возложено на самого обвиняемого. В сущности, неплохой принцип, но ничто не могло бы быть ошибочнее, чем делать из этого вывод, что в таком суде адвокаты обвиняемым не нужны. Наоборот, нет другого такого суда, где они были бы так необходимы, как в этом. Ведь дело здесь ведется втайне, вообще говоря, не только от общественности, но и от обвиняемого

— естественно, лишь в той мере, в какой это возможно, но возможно это в очень широких пределах. И обвиняемый, таким образом, тоже не имеет доступа к материалам суда, а по допросам составить себе представление о лежащих в их основе материалах чрезвычайно затруднительно, особенно для обвиняемого: ведь он растерян, и на него сваливаются всевозможные заботы, которые его отвлекают. Вот здесь-то и вмешивается защита. На допросах защитникам, как правило, не разрешают присутствовать, поэтому они должны после допросов, причем по возможности прямо у дверей кабинета следователя, расспрашивать обвиняемых о содержании допросов и из рассказов, зачастую уже очень сбивчивых, выуживать пригодное для защиты. Это, однако, не самое важное, потому что много таким образом не узнаешь, хотя, естественно, и здесь, как и везде, понимающий человек узнает больше, чем иные. Самым же важным остаются все-таки личные связи адвоката, в них-то и заключается главная ценность защиты. Ну, К., очевидно, уже по собственному опыту знает, что организация самых нижних отделов суда не вполне совершенна и не исключает недобросовестности и продажности чиновников, вследствие чего

в строгой неприступности суда открываются некие щели. Вот туда-то и устремляется большинство адвокатов, вот там-то и подкупают, и выведывают, и случаются — по крайней мере, в прежние времена случались — даже кражи актов. Ну, нельзя отрицать, что таким образом на какой-то момент могут быть достигнуты какие-то, даже и поразительно благоприятные для обвиняемого, результаты, чем очень хвалятся эти мелкие адвокатишки, привлекая новую клиентуру, однако для дальнейшего хода процесса все это не обещает либо ничего, либо ничего хорошего. Настоящую же ценность имеют лишь порядочные личные связи, причем с высшими чиновниками, под каковыми, естественно, понимаются лишь высшие чиновники низшего уровня. Только через них и можно оказать влияние на ход процесса, и пусть даже вначале оно совсем незаметно, со временем оно будет становиться все ощутимее. Это, естественно, под силу лишь немногим из адвокатов, и здесь выбор К. крайне удачен. Может быть, еще только один или два адвоката отличаются такими связями, какие имеет доктор Пьета. Эти, естественно, не интересуются компанией из адвокатской комнаты и ничего общего с ней не имеют. Но тем теснее

их связь с судейскими чиновниками. И доктору Пьета далеко не всегда приходится идти в суд и дожидаться в приемной у кабинета следователя его случайного появления, чтобы, в зависимости от его настроения, достичь какого-то, большей частью лишь видимого, успеха — или не достичь никакого. Нет, К. ведь и сам мог убедиться, что чиновники, в том числе и весьма высокие, приходят сами, охотно отвечают на вопросы — если и не прямо, то по крайней мере так, что их ответы легко истолковать, — обсуждают ближайшие планы ведения процесса, более того, в отдельных случаях они даже позволяют себя переубедить и охотно принимают чужую точку зрения. Правда, как раз в этом последнем отношении им нельзя слишком доверять, чиновник может со всей определенностью высказаться в пользу нового подхода, благоприятного для обвиняемого, а потом отправиться прямо в свою канцелярию и все-таки выписать на завтрашнее число постановление суда, основанное на подходе прямо противоположном, и оно для обвиняемого окажется, может быть, куда более суровым, чем то запланированное первоначально, от которого он, вроде бы, полностью отказался. Подобные вещи, естественно, предотвратить невозможно,

поскольку то, что было сказано в частной беседе, и было ведь сказано всего лишь в частной беседе и никаких официальных последствий иметь не могло даже в том случае, если бы защита не должна была стремиться сохранить благосклонность этого чиновника. С другой стороны, несомненно, надо признать справедливым тот факт, что эти господа, устанавливая связь с защитой — естественно, только с имеющей правильные понятия защитой, — руководствуются отнюдь не только человеколюбием или дружескими чувствами, — совсем нет, они тоже в известном смысле не могут без нее обойтись. Вот здесь-то как раз и сказывается недостаток такого судопроизводства, в основу которого положена тайна. У чиновников отсутствуют связи с населением; для обычного, среднего процесса они хорошо оснащены, такой процесс катится по своим рельсам почти сам по себе, и его только нужно время от времени подталкивать, но, когда они встречаются с каким-нибудь совсем простым случаем, равно как и с особенно трудным, они часто оказываются беспомощны из-за того, что постоянно, день и ночь повязаны своим законом, поэтому у них отсутствует правильное понимание человеческих взаимоотношений, и его им в этих случаях

очень не хватает. Тогда-то они и идут за советом к адвокату, а за ними какой-нибудь слуга несет те самые акты, которые в остальное время окутаны такой тайной. Вот у этого окна перестояло много господ, от которых меньше всего можно было бы ожидать, что они будут так безутешно смотреть из этого окна на улицу, в то время как адвокат за своим столом изучает акты, чтобы дать им дельный совет. Кстати, именно в таких случаях можно видеть, как необыкновенно серьезно относятся эти господа к своей профессии и в какое чрезмерное отчаяние они впадают, когда встречают препятствия, которых в силу самой их природы, не могут преодолеть. Да и в остальном положение, в которое они поставлены, незавидное, не надо быть к ним несправедливыми и считать, что это положение для них естественно. Иерархическая лестница и количество ступеней этого суда бесконечны и необозримы даже для посвященного. Прохождение дел в судебных инстанциях, вообще говоря, и для низших чиновников тоже является тайной, поэтому они практически никогда не имеют возможности полностью проследить весь ход дела, по которому они работают, таким образом, когда судебное дело появляется в поле их зрения, они часто не

знают, откуда оно взялось, а когда оно уходит, они не знают, куда оно делось. В результате этим чиновникам не удается извлечь уроков из анализа отдельных стадий процесса, из окончательных решений по ним и из их обоснований. Они имеют право заниматься процессом лишь в части, определенной для них законом, и о дальнейшем, то есть о результатах их собственной работы, в большинстве случаев знают меньше, чем защита, которая, как правило, все-таки сохраняет связь с обвиняемым почти до конца процесса. Так что и по этой части чиновники могут получить от защиты немало. Если К. примет все это во внимание, то его уже не будет удивлять та раздражительность чиновников, которая нередко — каждый знает это по собственному опыту — выражается в оскорбительном отношении к просителям. Чиновники всегда раздражены, даже когда они кажутся спокойными. Естественно, сильней других страдают от этого мелкие адвокаты. К примеру, рассказывают такую историю, которая очень похожа на правду. Один старый чиновник, добродушный, спокойный господин, получил одно тяжелое судебное дело, которое было особенно запутано заявлениями адвоката, и непрерывно, целый день и целую ночь, его

изучал: чиновники в самом деле прилежны, как никто. И вот наутро, после двадцатичетырехчасовой, по-видимому, не слишком продуктивной работы, он идет к входной двери, становится за ней в засаде и всех адвокатов, которые пытаются войти, спускает с лестницы. Адвокаты собираются внизу на площадке лестницы и совещаются, что им делать. С одной стороны, они, собственно, не вправе претендовать на то, чтобы их впускали, следовательно, легальным путем они едва ли могут что-нибудь против этого чиновника предпринять, а кроме того, как уже упоминалось, должны остерегаться настраивать против себя чиновников. Но, с другой стороны, всякий день, проведенный ими не в суде, для них потерян, поэтому проникнуть туда для них очень важно. В конце концов они сходятся на том, что должны этого старого господина утомить. И вот, из их группы раз за разом высылается адвокат, который взбегает по лестнице и потом при максимально возможном — разумеется, пассивном — сопротивлении сбрасывается вниз, где его затем и ловит эта группа товарищей. Так продолжается около часа, после чего старый господин, и без того уже истощенный ночной работой, действительно утомляется и возвращается в свою канцелярию.

Те, внизу, поначалу вообще не хотят в это верить и сперва высылают вперед одного, чтобы он удостоверился, действительно ли путь свободен. И уже только после этого они входят, вероятно, даже не осмеливаясь выражать недовольство. Потому что адвокатам — а даже самые мелкие из них все-таки способны, по крайней мере отчасти, не замечать этих обстоятельств — и в голову не придет вводить какие-то усовершенствования или желать их осуществления, в то время как почти все обвиняемые, причем, что очень характерно, даже самые ограниченные из них, сразу же, едва только вступят в процесс, начинают обдумывать предложения по усовершенствованию и расходуют на это время и силы, которые можно было бы употребить иначе и значительно лучше. А единственно правильным было бы смириться с существующими условиями. Если бы даже было возможно улучшить какие-то детали, хотя так считать — это просто бессмысленный предрассудок, — если бы даже в самом лучшем случае кто-то и добился чего-то полезного на будущее, то этим он неизмеримо больше повредил бы сам себе, поскольку привлек бы особое внимание всегда мстительного чиновничества. Все, что угодно, но только не привлекайте внимания!

Ведите себя тихо, как бы это ни казалось вам противоречащим всякому здравому смыслу! Постарайтесь понять, что этот гигантский судебный организм в каком-то смысле всегда находится в неустойчивом равновесии и что тот, кто на своем месте что-то самостоятельно изменяет, тот сам выбивает опору у себя из-под ног и сам может загреметь, в то время как этот гигантский организм, даже слегка поврежденный в одном месте, с легкостью отыграется на другом — все ведь связано — и останется неизменным, если только не станет, что очень даже вероятно, еще недоступней, еще внимательней, еще суровей и безжалостней. Так надо оставлять эту работу адвокатам, а не мешать им. В упреках, конечно, проку мало, особенно когда не представляется возможным объяснить все значение поводов к ним, но все же нельзя не заметить, как сильно К. навредил делу своим поведением в отношении директора канцелярий. Этого влиятельного человека уже почти можно вычеркивать из списка тех, кого можно было бы попытаться употребить на благо К. Даже сделанные вскользь намеки на этот процесс он явно намеренно пропускал мимо ушей. Чиновники ведь во многом — как дети. Часто невиннейшие вещи — к которым,

впрочем, поведение К. отнести, к сожалению, нельзя — могут так их задеть, что они даже с лучшими друзьями перестают разговаривать, отворачиваются от них при встрече и противодействуют им во всем, в чем только могут. Но, правда, потом они без всякой особой причины могут вдруг удивительным образом рассмеяться какой-нибудь маленькой шутке — на которую осмелились только потому, что все уже казалось безнадежным, — и помириться. Так что иметь с ними дело одновременно и легко, и трудно, каких-то общих принципов тут, пожалуй, нет. Иногда даже удивляешься, как это одной-единственной обыкновенной жизни может хватить на то, чтобы набраться всего, что здесь требуется для мало-мальски успешной работы. Бывают, конечно, мрачные часы — у кого их не бывает? — когда думаешь, что вообще ничего не сделал, тогда тебе кажется, что хорошо кончались только те процессы, которым с самого начала был предопределен благополучный исход, и он был бы благополучным и без посторонней помощи, в то время как другие, совершенно такие же процессы были заранее обречены на провал, несмотря на все хлопоты и на все маленькие кажущиеся успехи, по поводу которых было столько радости.

И тогда, конечно, уже все кажется ненадежным, и, отвечая на определенные вопросы, даже не решаешься отрицать, что хорошо, по существу, проходившие процессы именно с твоей помощью зашли не туда. Так считать — конечно, тоже своего рода самонадеянность, но это единственное, что остается. Таким приступам — а это, естественно, всего лишь приступы и ничего более — адвокаты особенно подвержены тогда, когда какой-нибудь процесс, который они весьма удовлетворительным образом завели уже достаточно далеко, у них вдруг отбирают. Это, наверное, худшее, что может случиться с адвокатом. Речь, конечно, не о том, что обвиняемый отказывается от ваших услуг, такого, наверное, вообще никогда не бывает; обвиняемый, который уже взял какого-то определенного адвоката, должен оставаться с ним, что бы там ни случилось. Если уж он когда-то попросил помощи, то как же он сможет теперь продержаться в одиночку? То есть такого не бывает, но бывает другое — бывает, что процесс заходит в такие сферы, куда адвоката уже не допускают. Тогда и дело, и обвиняемого, и все остальное у адвоката просто забирают, и тут уже не помогают даже самые лучшие связи с чиновниками, поскольку они и сами ничего

не знают. Тут процесс вступает в такую стадию, когда уже не разрешается оказывать никакой помощи, когда им уже занимаются недоступные судебные инстанции, когда и обвиняемый уже недоступен для адвоката. И тогда в один прекрасный день приходишь домой и обнаруживаешь на своем столе все те многочисленные заявления, которые ты с таким усердием и с такими радужными надеждами подавал по этому делу, — их вернули, поскольку переносить их в ту, новую стадию процесса не разрешается, и это просто ничего не стоящие клочки бумаги. Это, однако, еще не значит, что процесс обязательно должен быть проигран, вовсе нет, по крайней мере, нет никаких решающих оснований для такого предположения, просто о процессе больше ничего не известно — и не будет ничего известно. Но, к счастью, такие случаи это всего лишь исключения, и, если бы даже процесс К. оказался таким случаем, то пока что он от этой стадии все-таки еще далеко. Тут есть еще богатые возможности для адвокатской работы, и в том, что они будут использованы, К. может не сомневаться. Заявление, как уже упоминалось, еще не передано, но это и не спешно, куда более важны вводные беседы с ключевыми чиновниками, а таковые уже имели

место. Следует откровенно признать, что они проходили с переменным успехом. Лучше пока что не раскрывать детали, которые только могли бы неблагоприятно повлиять на К., внушив ему слишком большие надежды или слишком большие опасения; достаточно сказать, что одни высказались очень благоприятно и к тому же изъявили полную готовность к сближению, тогда как другие выразились менее благоприятно, однако все же отнюдь не отказали в возможном содействии. Таким образом, в целом результаты весьма обнадеживающие, но только не следует делать из этого каких-то конкретных выводов, поскольку все предварительные переговоры начинаются примерно так же, но какова цена этим предварительным переговорам, всегда становится видно только при дальнейшем развитии. Во всяком случае, ничего еще не потеряно, и если бы удалось несмотря ни на что употребить на пользу дела и директора канцелярий — для чего уже предприняты попытки подойти к нему с разных сторон — тогда у нас будет, как говорят хирурги, чистая рана, и можно спокойно ожидать последующего.

В таких и такого рода речах адвокат был неистощим. Они повторялись при каждом посещении.

Всегда имелись некие продвижения, но никогда нельзя было сообщить, каков характер этих продвижений. Постоянно шла работа над первым заявлением, но оно было еще не готово, что при следующем посещении, как правило, оказывалось большим преимуществом, поскольку именно последнее время было крайне неблагоприятно для его подачи, чего никак нельзя было предвидеть заранее. Если же К., совершенно замороченный этими речами, иногда замечал, что даже с учетом всех затруднений дело все-таки движется очень медленно, он слышал в ответ, что оно движется совсем не медленно, хотя, конечно, продвинулось бы уже намного дальше, если бы К. обратился к адвокату своевременно. Но, к сожалению, он упустил момент, и это упущение отрицательно скажется и в дальнейшем, как уже сказывается в настоящем.

Единственной живительной отдушиной во время этих визитов была Лени, всегда умевшая подгадать время так, чтобы принести адвокату чай в присутствии К. Затем, встав за спиной К. и вроде бы наблюдая, как адвокат с нетерпением жажды низко наклоняется над чашкой, наливает и пьет чай, она позволяла К. тайно овладевать ее рукой. Все происходило в полном молчании.

Адвокат пил, К. сжимал руку Лени, а Лени иногда отваживалась нежно погладить К. по волосам.

— Ты еще здесь? — спрашивал адвокат, закончив.

— Я хотела унести посуду, — говорила Лени; происходило еще одно последнее пожатие руки, адвокат обтирал рот и с новыми силами начинал заговаривать К.

Чего хотел добиться этот адвокат — утешить или довести до отчаяния? Этого К. не знал, но вот в чем у него не было никаких сомнений, так это в том, что его защита попала не в те руки. Может быть, все, что этот адвокат рассказывал, было и правильно, хотя его старания как можно больше выставлять на первый план себя были совершенно прозрачны, и, по всей вероятности, он еще никогда не вел такой большой процесс, каким, по его мнению, был процесс К., но уж очень подозрительны были эти его постоянно подчеркиваемые личные отношения с чиновниками. Так ли уж верно, что он употребляет их исключительно на пользу К.? Адвокат никогда не забывал оговариваться, что речь идет только о низших чиновниках, находящихся в очень зависимом положении, для карьеры которых определенные повороты этого процесса могли,

видимо, иметь какое-то значение. А не может ли быть, что они используют этого адвоката для того, чтобы добиться таких, естественно, всегда неблагоприятных для обвиняемого поворотов? Возможно, они делают это не в каждом процессе, — конечно, это маловероятно, — и, очевидно, бывают и такие процессы, в которых они позволяют адвокату добиться каких-то успехов, потому что для них важно не повредить и его репутации. Но если все действительно обстоит именно так, то каким образом они вмешаются в процесс К., являющийся, по заверениям адвоката, очень трудным и, следовательно, важным процессом, с самого начала возбудившим повышенное внимание суда? Не могло быть особых сомнений относительно того, что они будут делать. Да и соответствующие симптомы уже проявились: ведь первое заявление все еще не было подано, хотя процесс шел уже несколько месяцев, и адвокат уверял, будто дело еще находится в начальной стадии, — тем удобней было, усыпив бдительность обвиняемого и лишив его помощи, потом внезапно обрушить на него приговор или, как минимум, извещение о том, что расследование, закончившееся для него неблагоприятно, передадут в суд высшей инстанции.

К., безусловно, необходимо было вмешаться самому. И как раз в таких состояниях крайнего утомления, как в это зимнее утро, когда мысли безвольно крутились в его голове, это убеждение становилось неопровержимым. Презрение, которое он прежде испытывал к этому процессу, теперь стало неуместным. Будь он один на свете, он легко мог бы выказывать пренебрежение, хотя, впрочем, было ясно, что тогда процесс вообще не возник бы. Но теперь дядя уже затащил его к адвокату, в дело была втянута семья, его положение уже не было совершенно не зависящим от хода процесса, он сам вел себя очень неосторожно и с каким-то необъяснимым удовлетворением упоминал о своем процессе в присутствии знакомых, другие знакомые сами узнавали о нем неизвестно откуда, в отношениях с фрейлейн Бюрстнер, кажется, наблюдались те же колебания, что и в ходе процесса, — короче, у него уже почти не было выбора — принимать или не принимать этот процесс, он был уже поглощен процессом и должен был защищаться. И если он устал, тем хуже для него.

Впрочем, для чрезмерного беспокойства оснований пока что не было. Сумел же он за сравнительно короткое время подняться в банке

до своего нынешнего высокого положения и, благодаря своей получившей всеобщее признание работе, удержаться в этом положении; теперь те способности, которые позволили ему этого добиться, он должен только слегка переориентировать на этот процесс, и нет никаких сомнений, что все должно окончиться хорошо. Но прежде всего, если он собирался чего-то добиться, необходимо было с самого начала отбросить всякую мысль о какой-то возможной вине. Не было никакой вины. Этот процесс представлял собой не что иное, как большую сделку, каких он уже немало заключал с выгодой для банка, — сделку, которая, как это обычно бывает, таила в себе различные опасности, и вот их-то и надо было отвести. Преследуя такие цели, конечно же, недопустимо было возиться с мыслями о какой-то вине, напротив, необходимо было придерживаться мыслей о собственной выгоде. С этой точки зрения неизбежным было и скорейшее — лучше всего уже сегодня вечером — изъятие у адвоката полномочий представительства. Хотя это было, если судить по его рассказам, нечто неслыханное и, вероятно, нечто очень обидное, но К. не мог терпеть, чтобы его усилия в этом процессе встречали препятствия, проистекавшие, может

быть, из деятельности его собственного адвоката. А как только он стряхнет с себя этого адвоката, надо будет сразу же подать это заявление и, по возможности, каждый день настаивать на том, чтобы его приняли к рассмотрению. Для этого, естественно, будет недостаточно сидеть, подобно прочим, в том проходе со шляпой под скамейкой. Нет, он сам, или эти женщины, или еще какие-то посредники должны будут день за днем не давать покоя чиновникам и заставлять их не пялиться в проход сквозь решетки, а садиться за столы и изучать заявление К. И этих усилий нельзя будет ослаблять, надо будет все организовать и держать под контролем, этот суд должен когда-то столкнуться с обвиняемым, который умеет постоять за свои права.

Но если в плане осуществления всего этого К. был в себе уверен, то трудности с составлением заявления представлялись почти непреодолимыми. Раньше, еще какую-нибудь неделю назад, он разве что с чувством стыда мог бы подумать о том, что ему когда-нибудь, может быть, придется самому писать подобное заявление; о том же, что это может оказаться и затруднительно, он вообще не думал. Он припомнил, как однажды утром, как раз когда он был завален работой, он вдруг

отодвинул все в сторону и взял деловой блокнот, чтобы попытаться для пробы набросать тезисный план такого рода заявления и потом, может быть, передать его этому неповоротливому адвокату — и как именно в тот момент раскрылась дверь, ведущая в дирекцию, и с громким смехом вошел заместитель директора. Это было для К. тогда очень неприятно, хотя заместитель директора смеялся, естественно, не над его заявлением, о котором он ничего не знал, а над одним биржевым анекдотом, который ему только что рассказали; для понимания анекдота требовался некий рисунок, и заместитель директора, наклонившись над столом К. и взяв из его руки карандаш, выполнил соответствующее изображение на странице его делового блокнота, предназначавшейся для заявления.

Сегодня К. о стыде уже не думал: заявление должно быть написано. Если он не найдет на него времени на работе, что было весьма вероятно, значит, он должен будет писать его дома, ночами. Если же не хватит и ночей, значит, он должен будет взять отпуск. Только не останавливаться на полпути, это самое бессмысленное не только в делах, но всегда и везде. Однако это заявление выливалось в какую-то почти бесконечную работу.

Легко было прийти к убеждению — для чего даже не нужно было иметь особенно пугливый характер, — что такое заявление просто невозможно когда-либо закончить. И упиралось все уже не в лень или вероломство, которые только адвокату могли помешать составить заявление, все упиралось в неизвестность выдвинутого обвинения и, в особенности, его возможных расширений, из-за чего приходилось восстанавливать в памяти, излагать и перепроверять со всех сторон всю жизнь до мельчайших подробностей поступков и событий. И какая же это была, помимо всего прочего, грустная работа! Когда-нибудь на пенсии такой работой, наверное, хорошо было бы занимать впавший в детство ум, помогая ему коротать долгие дни. Но сейчас, когда все мысли К. были ему нужны для его работы, когда каждый час пролетал с огромнейшей скоростью, потому что его подъем продолжался и он уже представлял собой некоторую угрозу для заместителя директора, когда вечерами и ночами он, молодой человек, желал бы получать наслаждения от жизни, — именно сейчас он должен был корпеть над этим заявлением. В который раз его мысли заканчивались сожалениями. Почти непроизвольно, только чтобы отвлечься от них, он нащупал паль-

цем кнопку звонка, проведенного в приемную. Держа палец на кнопке, он посмотрел на часы. Было одиннадцать, то есть два долгих часа этого дорогого времени он промечтал и, разумеется, еще более обессилел; все же это время не прошло зря, он принял некоторые решения, которые могли оказаться важными. Экспедиторы, кроме обычной почты, принесли визитные карточки двух господ, уже довольно продолжительное время ожидавших в приемной. Это оказались как раз очень важные клиенты банка, которых, собственно, ни в коем случае нельзя было заставлять ждать. Почему им надо было приходить в столь неудобный час? А почему — казалось, спрашивают со своей стороны господа — этот столь прилежный К. тратит лучшие рабочие часы на свои личные дела? С усталостью от предыдущего и с усталостью от ожидания последующего К. встал, чтобы принять первого из двоих.

Это был маленький живой господин, фабрикант, которого К. хорошо знал. Он извинился за то, что помешал К. в его важной работе, а К. со своей стороны извинился за то, что заставил так долго ждать. Но даже это извинение он произнес так механически и с таким почти фальшивым выражением, что фабрикант, если только он не

был полностью поглощен своим делом, должен был это заметить. Но тот, не отвлекаясь, торопливо повытаскивал из всех карманов расчеты и таблицы, разложил их перед К., разъяснил отдельные пункты, исправил одну маленькую ошибку в расчетах, которая бросилась ему в глаза даже при этой поверхностной демонстрации, напомнил К. об аналогичной сделке, которую он с ним заключил около года тому назад, упомянул между прочим, что на этот раз еще один банк многое готов дать, чтобы провернуть эту сделку, и наконец замолчал, желая узнать мнение К. В начале речи фабриканта К. в самом деле внимательно следил за его рассуждениями, мысль о важной сделке захватила тогда и его тоже, но, к несчастью, ненадолго, вскоре его внимание отвлеклось, еще какое-то время он продолжал кивать головой в ответ на громкие восклицания фабриканта, но в конце концов прекратил и это, ограничившись тем, что оцепенело смотрел на склонившуюся над бумагами лысую голову и спрашивал себя, когда, наконец, этот фабрикант поймет, что вся его речь бесполезна. И когда тот замолчал, К. вначале и в самом деле подумал, что ему просто дают возможность признаться, что он не в состоянии слушать. Но по напряженному

взгляду явно подготовившегося к любым возражениям фабриканта он с сожалением понял, что деловое обсуждение должно быть продолжено. Так что он наклонил голову, словно в ответ на приказ, и начал медленно водить карандашом по бумагам, время от времени останавливаясь и упираясь взглядом в какую-нибудь цифру. Фабрикант предполагал возражения; возможно, его цифры действительно были ненадежны, возможно, главное заключалось не в них, — как бы там ни было, фабрикант положил на все эти бумаги руку и начал снова, совсем вплотную придвинувшись к К., расписывать ему эту сделку в целом.

— Это проблематично, — сказал К., поджал губы и, поскольку бумаги на столе — единственное реальное — были закрыты, откинулся, ища опоры, на спинку кресла.

Он даже почти не поднял глаза, когда открылась дверь в дирекцию и там, не совсем отчетливо, словно бы за газовой завесой, появился заместитель директора. К. не задумался над этим явлением, а зарегистрировал только непосредственный эффект, очень его обрадовавший, потому что фабрикант немедленно вскочил с кресла и бросился навстречу заместителю директора. К., впрочем, придал бы ему и еще в десять раз большее уско-

рение, ибо он боялся, что заместитель директора может снова исчезнуть. Страхи были напрасны, господа встретились, пожали друг другу руки и вместе подошли к столу К. Фабрикант пожаловался, что его предложение о сделке встретило так мало сочувствия у этого прокуриста, и указал на К., который под взглядом заместителя директора снова склонился над бумагами. Когда затем оба господина оперлись на его письменный стол и фабрикант начал осаду заместителя директора, К. показалось, что эти двое, рост которых он в этот момент представлял себе преувеличенно, склонившись над его головой, обсуждают, как поступить с ним самим. Медленно подняв глаза, он попытался осторожно выяснить, что там у них наверху происходит, потом взял, не глядя, одну из бумаг со стола, положил ее на раскрытую ладонь и постепенно поднял ее, одновременно вставая, наверх к господам. У него не было при этом никакой определенной мысли, он действовал, лишь подчиняясь ощущению, что должен так поступить, раз ему придется когда-то писать большое заявление, которое должно будет его полностью освободить. Заместитель директора, участвовавший в разговоре с полным вниманием, бросил лишь один взгляд на бумагу, взял ее из руки К.,

даже не читая написанного на ней, поскольку то, что имело значение для прокуриста, для него не имело значения, сказал:

— Спасибо, мне все уже ясно, — и спокойно положил ее обратно на стол.

К. затравленно смотрел на него сбоку. Заместитель директора, однако, совсем этого не замечал, а если и замечал, то это его только ободряло; он несколько раз громко засмеялся, один раз остроумным возражением привел фабриканта в явное замешательство, из которого, впрочем, тут же сам его и вывел, сделав при этом упрек самому себе, и, наконец, пригласил фабриканта перейти к нему в кабинет, где они смогут довести это дело до конца.

— Это очень серьезное дело, — сказал он фабриканту, — я это прекрасно понимаю. И господин прокурист, — даже при этом упоминании он обращался, собственно, только к фабриканту, — несомненно, будет доволен, если мы это дело у него заберем. Оно требует, чтобы его спокойно обдумали. А он сегодня, кажется, очень перегружен делами, и кое-какие люди ждут в его приемной уже часами.

У К. еще хватило самообладания на то, чтобы отвернуться от заместителя директора и адре-

совать любезную, хотя и несколько застывшую улыбку только фабриканту; более он ни во что не вмешивался, стоял, слегка наклонившись вперед и упершись руками в стол, словно какой-нибудь продавец за прилавком, и смотрел, как эти двое господ, не прекращая беседы, собрали со стола бумаги и затем исчезли за дверью дирекции. Уже в дверях фабрикант обернулся, и сказал, что он пока не прощается и, естественно, сообщит господину прокуристу об успехах переговоров, а кроме того, имеет для него еще одно маленькое сообщение.

Наконец К. остался один. Он даже и не подумал впускать еще какого-то нового клиента, ничего не чувствуя, кроме смутной отрады от мысли, что люди там, за дверью, полагают, будто он еще ведет переговоры с этим фабрикантом, и по этой причине никому, даже его секретарю, нельзя к нему входить. Он подошел к окну, уселся на подоконник, взявшись одной рукой за задвижку, и стал смотреть вниз на площадь. По-прежнему падал снег, еще даже не посветлело.

Он долго просидел так, не зная, что, собственно, его тревожит, только время от времени бросал немного испуганный взгляд через плечо на дверь в приемную, когда ему мерещилось, что он слы-

шит там какой-то шорох. Но поскольку никто не входил, он успокоился, пошел к умывальнику, умылся холодной водой и с посвежевшей головой возвратился снова на свое место у окна. Это решение взять защиту в свои руки казалось ему теперь более серьезным, чем он представлял себе поначалу. Пока он перекладывал защиту на адвоката, он все-таки еще оставался, в сущности, мало вовлеченным в процесс, он наблюдал за ним издали, и непосредственно рука процесса едва ли могла до него дотянуться, он мог в любой момент заглянуть внутрь и посмотреть, как обстоят его дела, но мог также и в любой момент убрать оттуда голову. Напротив, теперь, если он сам будет вести свою защиту, он должен будет — по крайней мере, в данный момент — целиком и полностью предать себя суду; результатом этого, конечно, должно будет стать впоследствии полное и окончательное освобождение, но, чтобы его добиться, он пока что в любом случае должен подвергнуть себя куда большей опасности, чем раньше. Если у него и были на этот счет какие-то сомнения, то сегодняшняя встреча с заместителем директора и фабрикантом была убедительным доказательством от противного. Как он сидел тут, совершенно оглушенный уже

одним только своим решением защищаться самостоятельно! Что же тогда будет дальше? Тяжелые ему предстоят дни. Найдет ли он тропинку, которая приведет его сквозь все это к хорошему концу? Не означает ли тщательная защита — а всякая иная просто бессмысленна, — не означает ли тщательная защита в то же время и необходимость по возможности отрешиться от всего остального? Сможет ли он благополучно пережить это? И как он сможет осуществить это в банке? Тут ведь речь не о заявлении, для которого может понадобиться отпуск, хотя именно сейчас просить об отпуске было бы очень рискованным делом, — речь же обо всем процессе, продолжительность которого необозрима. Какое все-таки неожиданное препятствие возникло неизвестно откуда на жизненном пути К.!

И он будет сейчас работать тут, в банке? Он взглянул в направлении письменного стола. Он сейчас запустит клиентов и будет вести с ними переговоры? В то время, когда его процесс катится все дальше, в то время, когда наверху, на чердаке, чиновники суда сидят над материалами его процесса, он будет заниматься делами банка? Разве это не было похоже на одобренную судом пытку, которая была связана с процессом и со-

провождала его? И разве при оценке его работы в банке кому-нибудь придет в голову учитывать его особое положение?[13] Никому и никогда. А ведь его процесс не был совершенно неизвестен, хотя еще и не было вполне ясно, кто о нем знает и сколько таких знающих. Но до заместителя директора, надо надеяться, этот слух еще не дошел, иначе уже было бы четко видно, как он безо всякой коллегиальности и без малейшего милосердия использует его против К. А директор? Конечно, он благожелательно настроен по отношению к К. и, вероятно, узнав о процессе, постарался бы в том, что зависит от него, предоставить К. некоторые поблажки, однако у него бы это, конечно, не прошло, поскольку теперь, когда начал ослабевать противовес, который до сих пор представлял собой К., директор все больше поддавался влиянию заместителя директора, а тот, кроме того, использовал болезненное состояние директора для укрепления собственной власти. Так на что же К. мог надеяться? Возмож-

---

[13] Примечания: 13

Вычеркнуто автором:

Нет, если бы даже всем было известно о его процессе, это не сулило бы К. ни малейшего облегчения. И тот, кто не захотел бы вставать в позу судьи, чтобы слепо и преждевременно выносить ему приговор, тот все-таки постарался бы по крайней мере его унизить, ведь это было теперь так легко сделать.

но, такими рассуждениями он подрывал свою способность к сопротивлению, но ведь и это тоже было необходимо — не обманывать себя и видеть все настолько ясно, насколько это в данный момент возможно.

Без какой-то особой надобности, просто для того, чтобы еще не нужно было идти к письменному столу, он открыл окно. Оно открылось с некоторым трудом, ему пришлось поворачивать задвижку двумя руками. И затем сквозь открытое на всю высоту и ширину окно в комнату хлынул смешанный с дымом туман, наполнив ее легким запахом пепелища. Полетели в комнату и снежные хлопья.

— Отвратительная осень, — произнес за спиной К. фабрикант, который, возвращаясь от заместителя директора, незаметно вошел в комнату.

К. кивнул и с беспокойством взглянул на папку фабриканта, из которой теперь, очевидно, должны были появиться бумаги для демонстрации К. результатов переговоров с заместителем директора. Но фабрикант, проследив взгляд К., хлопнул по своей папке и сказал, не открывая ее:

— Вы хотите услышать, что из этого вышло. У меня в этой папке почти что уже решенное дело. Отчаянный мужчина этот ваш заместитель

директора, вот уж кому пальца в рот не клади!

Он засмеялся и тряхнул руку К., пытаясь и его заставить рассмеяться. Но К. теперь уже показалось подозрительным, что фабрикант не хочет показывать ему бумаги, и он не нашел в замечании фабриканта ничего смешного.

— На вас, господин прокурист, — сказал фабрикант, — наверное, погода действует? Вы сегодня выглядите таким подавленным.

— Да, — сказал К. и прикоснулся пальцами к виску, — головные боли, семейные заботы.

— Очень верно, — вскинулся фабрикант, который был торопыгой и ничего не мог выслушать спокойно, — каждый должен нести свой крест.

К. непроизвольно сделал шаг по направлению к двери, словно намереваясь проводить фабриканта к выходу, но тот сказал:

— У меня, господин прокурист, есть еще одно маленькое сообщение для вас. Я очень боюсь, что именно сегодня оно окажется для вас, может быть, досадной помехой, но за последнее время я уже дважды был тут у вас и каждый раз о нем забывал. Если я опять отложу его на потом, оно, наверное, совсем уже потеряет всякий смысл. А это было бы жаль, потому что в принципе оно, по-моему, может быть, все-таки и не бессмысленно.

Прежде чем К. успел ответить, фабрикант подошел к нему вплотную, слегка постучал согнутыми пальцами по его груди и тихо сказал:

— У вас процесс, не так ли?

К., отступив назад, немедленно воскликнул:

— Это вам заместитель директора сказал!

— Да нет, — сказал фабрикант, — откуда заместитель директора может это знать?

— А вы? — спросил К. уже значительно спокойнее.

— Я время от времени узнаю кое-что о суде, — сказал фабрикант, — и это как раз касается того, что я хотел вам сообщить.

— Как много людей связаны с судом! — сказал, наклонив голову, К. и провел фабриканта к письменному столу.

Они снова уселись, как раньше, и фабрикант сказал:

— К сожалению, я могу вам сообщить не очень много. Но в таких делах и самой последней мелочью нельзя пренебрегать. А кроме того, мне хочется вам чем-то помочь, пусть даже моя помощь и будет очень скромной. Мы ведь до сих пор были хорошими деловыми партнерами, верно? Ну вот.

К. хотел извиниться за свое сегодняшнее по-

ведение во время переговоров, но фабрикант не позволил себя прервать, передвинул свою папку из-под локтя под мышку, показывая этим, что он спешит, и продолжил:

— О вашем процессе я узнал от некоего Титорелли. Он художник. Титорелли — это только его художественный псевдоним, его настоящего имени я даже вообще не знаю. В течение уже нескольких лет он время от времени приходит ко мне в контору и приносит картинки, за которые я ему всегда даю — он почти попрошайка — что-то вроде милостыни. Симпатичные, кстати, картинки — степные пейзажи и тому подобное. Эти продажи всегда проходили очень гладко, и мы уже оба к ним привыкли. Но тут его визиты стали повторяться что-то уж слишком часто, я его упрекнул, мы разговорились; мне было интересно, как это ему удается прожить одними его художествами, и тут я, к моему удивлению, узнал, что основной источник его доходов — писание портретов. Он работает для суда, так он мне сказал. Для какого суда? — спрашиваю я. И тогда он мне рассказывает об этом суде. Ну, вы, наверное, лучше, чем кто-либо, можете себе представить, как я был удивлен этим рассказом. С тех пор я при каждом его визите узнаю

что-нибудь новое об этом суде и так постепенно получил некоторое представление обо всем этом деле. Титорелли, впрочем, болтлив, и мне часто приходится его окорачивать не только потому, что он, конечно, и врет тоже, но прежде всего потому, что деловой человек вроде меня, у которого собственные деловые заботы отнимают почти все силы, не может очень интересоваться еще и посторонними вещами. Но это я только так, к слову. Так вот, я и подумал, что, может быть, Титорелли окажется вам в чем-то полезен, он знает многих судей, и хотя сам он никакого особого влияния иметь не может, но все же он может вам посоветовать, как подступиться к разным влиятельным людям. И если даже сами по себе эти советы ничего не решают, то в ваших руках они, по-моему, могут приобрести большое значение. Вы ведь почти что адвокат. Я так всем и говорю: прокурист К. это почти что адвокат. О, у меня нет ни малейшего беспокойства за исход вашего процесса. Ну так как, пойдете к Титорелли? По моей рекомендации он, безусловно, сделает все, что в его силах. Я в самом деле думаю, что вам стоит зайти к нему. Естественно, не обязательно сегодня — когда-нибудь, при случае. Хочу еще добавить, что, разумеется, этот совет, который я

даю вам, ни в малейшей степени ни к чему вас не обязывает, — действительно, вы же не обязаны идти к Титорелли. Нет, если вы полагаете, что можете обойтись без Титорелли, то, конечно, лучше совсем о нем забыть. Может быть, у вас уже есть какой-нибудь тщательно разработанный план, а Титорелли может его нарушить. Нет, тогда, естественно, ни в коем случае не ходите туда! И, конечно, тут надо и над собой сделать усилие, чтобы пользоваться советами такого типа. Ну, это как вы захотите. Вот, тут рекомендательная записка, а тут адрес.

Разочарованный, К. взял письмо и сунул его в карман. Даже в самом лучшем случае польза, которую ему могла принести эта рекомендация, была несравненно меньше, чем вред, заключавшийся в том, что фабрикант знал о его процессе, и в том, что художник продолжал распространяться на эту тему. Он с трудом заставил себя сказать фабриканту, который уже направился к двери, несколько слов благодарности.

— Я схожу туда, — сказал он, прощаясь в дверях с фабрикантом, — или, поскольку я сейчас очень занят, напишу ему; может быть, он как-нибудь зайдет ко мне.

— Я же знал, — сказал фабрикант, — что вы

найдете наилучшее решение. Правда, мне кажется, что лучше бы вам избегать приглашений таких людей, как этот Титорелли, сюда, в банк, для разговоров с ним о процессе. Да и не всегда бывает желательно оставлять в руках у таких людей свои письма. Но вы, конечно, все это продумали и знаете, что вам следует делать.

К. кивнул и проводил фабриканта до самого выхода из приемной. Несмотря на внешнее спокойствие, он был очень напуган, он испугался самого себя; собственно, о письме к Титорелли он сказал только для того, чтобы как-то показать фабриканту, что оценил по достоинству его рекомендацию и намерен, не откладывая, обдумать возможность встречи с Титорелли, но, ведь если бы он счел помощь Титорелли полезной, он бы, недолго думая, и в самом деле ему написал. А то, что это могло бы иметь опасные последствия, он понял только после замечания фабриканта. Он что же, в самом деле уже так мало может полагаться на свой собственный рассудок? Если он способен откровенно, письмом пригласить в банк какого-то сомнительного человека, чтобы тут, будучи отделенным лишь дверью от заместителя директора, спрашивать у него совета по его процессу, то не было ли тогда возможно — и

даже очень вероятно, что он не замечает и других опасностей — или навлекает их? Ведь не всегда рядом будет стоять кто-то, кто сможет его предостеречь. И именно теперь, когда он должен был проявлять силу и собранность, проявлялись вот такие прежде чуждые ему сомнения в собственной бдительности! Так что же, те затруднения при исполнении своих обязанностей, которые он испытывает в банке, теперь начнутся и в процессе? Сейчас, впрочем, он вообще уже не понимал, как могло быть, что он хотел писать этому Титорелли и приглашать его в банк.

К. все еще в недоумении качал головой, когда сбоку к нему подошел секретарь и обратил его внимание на троих господ, сидевших тут, в приемной, на скамье. Они уже давно ждали допуска к К. Теперь, когда секретарь заговорил с К., они встали, и каждый постарался воспользоваться благоприятной возможностью приблизиться к К. раньше других. Поскольку со стороны банка было весьма неучтиво заставлять их терять время здесь в ожидании допуска, то и они не намерены были теперь проявлять уважение.

— Господин прокурист, — начал один из них.

Но К. велел секретарю подать его зимнее пальто и, надевая его с помощью секретаря, сказал,

обращаясь ко всем троим:

— Прошу прощения, господа, к сожалению, в данный момент я не имею времени принять вас. Я очень прошу меня простить, но мне необходимо сделать один неотложный деловой визит, и я должен немедленно уйти. Вы ведь и сами заметили, насколько я уже тут задержался. Не будете ли вы так любезны прийти завтра или когда-либо еще. Или, может быть, мы обсудим все по телефону? Или, может быть, вы мне сейчас коротко скажете, в чем состоит ваше дело, и я вам потом дам обстоятельный письменный ответ. Впрочем, было бы лучше, если бы вы пришли как-нибудь в другой раз.

Эти предложения К. привели господ, ожидание которых теперь оказывалось совершенно напрасным, в такое изумление, что они молча уставились друг на друга.

— Итак, мы договорились? — спросил К., отворачиваясь к секретарю, который теперь принес ему и шляпу.

Сквозь открытую дверь кабинета К. было видно, что снегопад на улице очень усилился. Поэтому К. поднял воротник пальто и застегнул его высоко под подбородком.

Как раз в этот момент из соседнего кабине-

та вышел заместитель директора, посмотрел, усмехаясь, на то, как К. в зимнем пальто ведет переговоры, и спросил:

— Вы собираетесь уходить, господин прокурист?

— Да, — сказал К., собравшись, — я должен нанести деловой визит.

Но заместитель директора уже повернулся к клиентам.

— А эти господа? — спросил он. — Мне кажется, они уже давно ждут.

— Мы уже договорились, — сказал К.

Но тут сдержанность покинула господ, они окружили К. и заявили, что не ждали бы тут часами, если бы у них не было важных дел, которые должны быть обсуждены теперь же, причем обстоятельнейшим образом и без свидетелей.

Заместитель директора некоторое время слушал их, наблюдая в то же время за К., который держал в руке шляпу и то здесь, то там очищал ее от соринок, и затем сказал:

— Господа, есть один очень простой выход. Если вы согласитесь удовлетвориться мною, я с большой охотой возьму на себя эти переговоры вместо господина прокуриста. Ваши дела, естественно, должны быть обсуждены безотлага-

тельно. Мы тоже деловые люди, как и вы, и умеем ценить время деловых людей, как оно того стоит. Не угодно ли пройти сюда?

И он открыл дверь в приемную его кабинета.

Как все-таки этот заместитель директора ухитрялся присвоить себе все, что К. сейчас поневоле вынужден был отдавать! Но не отдает ли К. больше, чем это безусловно необходимо? В то время как он с некими неопределенными и — он должен был себе в этом признаться — очень слабыми надеждами бежит к какому-то неизвестному художнику, здесь его авторитету наносится непоправимый ущерб. Вероятно, было бы намного лучше, если бы он снова снял это свое зимнее пальто и вернул себе хотя бы двоих из этих господ, которым ведь все равно придется еще ждать в соседней приемной. К., возможно, и попытался бы это сделать, если бы не увидел в этот момент в своем кабинете заместителя директора, который искал там что-то на стеллаже так, словно он был его собственный. Когда К. в возбуждении приблизился к двери, тот воскликнул:

— Ах, так вы еще не ушли!

Он на мгновение повернул к К. лицо — складки крутого лба говорили, казалось, не о возрасте, а о силе — и тут же снова продолжил поиски.

— Я ищу копию одного договора, — сказал он, — которая, как утверждает представитель фирмы, должна быть у вас. Вы не поможете мне ее найти?

К. сделал шаг вперед, но заместитель директора сказал:

— Спасибо, я уже нашел, — и с большим пакетом бумаг, в котором была, конечно, не только копия договора, но и еще многое другое, вновь вернулся в свой кабинет.

Сейчас я ему не противник, сказал себе К., но если мои личные трудности когда-нибудь кончатся, то воистину он будет первым, кто почувствует это на своей шкуре — и сильнее, чем кто-либо. Немного утешенный этими мыслями, К. сказал секретарю, который давно уже держал для него открытой дверь в коридор, чтобы тот при случае доложил директору, что он ушел с деловым визитом, и, почти счастливый от того, что может какое-то время целиком посвятить своему делу, покинул банк.

Он сразу же поехал к художнику, который жил в предместье, примыкавшем к городу со стороны, прямо противоположной той, в которой находились канцелярии суда. Это была еще более бедная окраина, дома были еще темнее, а

улицы были полны грязи, которая от таявшего снега медленно расползалась в слякоть. В доме, где жил художник, была открыта только одна створка больших ворот, другая стояла закрытой, но там, внизу, в кирпичной кладке была пробита дыра, из которой, как раз когда подошел К., полилась отвратительная желтая дымящаяся жижа; несколько напуганных крыс метнулись от нее в близкий канал. Внизу у лестницы лежал лицом вниз маленький ребенок, он плакал, но его почти не было слышно из-за перекрывавшего все звуки грохота, доносившегося с другой стороны подворотни из мастерской жестянщика. Дверь мастерской была открыта, трое подручных стояли полукругом вокруг какой-то заготовки и били по ней молотками. Большой лист белой жести, висевший на стене, отбрасывал сноп бледного света, который пробивался между двумя подручными и освещал лица и рабочие фартуки. К. заметил все это лишь мельком, он хотел как можно быстрее все здесь закончить, расспросить в двух словах этого художника и сразу же возвратиться обратно в банк. Если он добьется здесь хоть малейшего успеха, это еще сможет хорошо отразиться на его сегодняшней работе в банке. К четвертому этажу ему пришлось снизить скорость, он совсем запы-

хался, ступени и этажи были непомерно высокие, а художник жил, должно быть, на самом верху, в какой-нибудь мансарде. К тому же воздух был очень тяжелым, у лестницы не было никакого пролета, узкие ступени обоими концами упирались в стену, и лишь иногда где-то в самом верху виднелось маленькое окошко. Как раз когда К. остановился немного передохнуть, из дверей одной квартиры выпорхнули несколько девочек и, смеясь, быстро побежали вверх по лестнице. К. медленно пошел следом, догнал одну из девочек — она споткнулась и отстала от остальных — и спросил ее, пока они поднимались рядом:

— Здесь живет художник Титорелли?

В ответ эта немножко горбатенькая девочка, которой едва ли было больше тринадцати лет, толкнула его локтем и искоса посмотрела на него. Она уже была насквозь испорченна, ни юность, ни физический недостаток не могли этому помешать. Она даже не усмехалась, она серьезно смотрела на К. пристальным, призывным взглядом. К. сделал вид, что не замечает ее поведения, и спросил:

— Ты знаешь этого художника Титорелли?

Она кивнула и в свою очередь спросила:

— А что вам от него надо?

К. подумалось, что было бы неплохо на ходу еще немного разузнать о Титорелли.

— Я хочу, чтобы он меня нарисовал, — сказал он.

— Нарисовал? — переспросила она, чрезмерно широко раскрыла рот, слегка стукнула К. ладошкой, словно он сказал что-то совсем уж невероятное или неподобающее, подхватила обеими руками свою и без того очень короткую юбчонку и изо всех сил побежала за остальными девочками, чьи уже неразборчивые крики терялись вверху.

Однако на следующем повороте лестницы К. снова встретил всех этих девиц. По-видимому, горбунья сообщила им о его намерении, и они ждали его. Они стояли по обеим сторонам лестницы, прижавшись к стене, чтобы К. было удобнее между ними протискиваться, и ладонями разглаживали свои передники. На всех лицах, так же как и в этом построении шпалерами, была смесь детскости и порочности. Вверху, во главе этих девчоночьих цепей, которые теперь со смехом сомкнулись за спиной К., стояла принявшая на себя командование горбунья. К. был обязан ей благодарностью за то, что сразу пошел по правильному пути: он собирался подниматься все

выше, никуда не сворачивая, но она показала ему то ответвление лестницы, куда надо было свернуть, чтобы прийти к Титорелли. Лестница, которая вела к нему, была на редкость узкой, очень длинной, без поворотов — ее было видно на всю длину — и наверху заканчивалась непосредственно перед дверью Титорелли. Эта дверь, в отличие от всей лестницы сравнительно ярко освещенная маленьким, косо над ней расположенным окном в крыше, была сбита из некрашеных досок; на двери красной краской широкими мазками было намалевано имя Титорелли. К. со своей свитой еще не достиг и середины этой лестницы, как дверь наверху, видимо, откликаясь на шум многих шагов, слегка приоткрылась и в щели показался человек, одетый, кажется, в одну только ночную рубашку.

— О! — воскликнул он, увидев приближающуюся толпу, и исчез.

Горбунья захлопала в ладоши от радости, а остальные девочки начали напирать сзади на К., чтобы заставить его быстрее продвигаться вперед.

Они, однако, еще не успели дойти до верха, как художник уже целиком распахнул дверь и с глубоким поклоном пригласил К. войти. Девчо-

нок он, напротив, остановил, не желая впускать ни одну из них, как они ни просили и как ни старались проникнуть внутрь если не с его разрешения, так против его воли. Только горбунье удалось прошмыгнуть под его вытянутой рукой, но художник погнался за ней, поймал за юбку, прокрутил разок вокруг себя и затем выставил за дверь к остальным девчонкам, которые, в то время когда он оставил свой пост, все-таки не отважились переступить порог. К. не знал, как ко всему этому относиться, поскольку у него складывалось впечатление, что все происходило с обоюдного дружеского согласия. Девчонки в дверях вытягивали одна из-за другой шеи и кричали художнику разные явно шутливые слова, которых К. не понимал, да и сам художник смеялся, когда горбунья почти летала в его руках. Затем он закрыл дверь, еще раз поклонился К., протянул ему руку и сказал, представляясь:

— Живописец Титорелли.

К. указал на дверь, за которой перешептывались девчонки, и сказал:

— Вы, кажется, пользуетесь большой любовью в доме.

— А, эти мордашки! — сказал художник, тщетно пытаясь застегнуть на шее свою ночную

рубашку.

Он был босиком, и вообще, помимо рубашки, на нем были только широкие желтоватые полотняные штаны, схваченные ремнем (его длинный конец свободно болтался из стороны в сторону).

— Эти мордашки для меня сущее наказание, — продолжал он, оставив в покое свою ночную рубашку, от которой только что отвалилась верхняя пуговица, взял стул и настойчиво пригласил К. садиться. — Я одну из них — как раз сегодня ее с ними нет — как-то написал, и с тех пор они все за мной бегают. Ну, когда я сам здесь, они заходят только с моего разрешения, но стоит мне уйти, как уж хотя бы одна всегда залезет. Им сделали ключ от моей двери, и они теперь одалживают его друг у друга. Вы даже не можете себе представить, как это надоедает. Прихожу я, к примеру, домой с дамой, собираясь провести с ней натурный сеанс, открываю моим ключом дверь и нахожу, допустим, эту горбунью: сидит там за столиком с кисточкой и красит себе губы кармином, а все ее маленькие братья и сестры, за которыми она должна смотреть, ползают по всей комнате и пачкают во всех углах. Или прихожу я, как это вот только вчера было, домой поздно вечером — с учетом этого прошу извинить мое

состояние и этот беспорядок в комнате, — прихожу я, значит, домой поздно вечером и пытаюсь залезть в кровать, но тут меня кто-то щиплет за ногу; я, естественно, лезу под кровать и вытаскиваю оттуда опять какую-нибудь из них. Почему они так ко мне липнут, я не знаю, — что я не пытаюсь их сюда приваживать, вы могли только что заметить и сами. И, естественно, работе моей это тоже мешает. Если бы не то, что это ателье мне предоставили даром, я бы уже давно отсюда съехал.

Как раз в этот момент за дверью нежным и испуганным голоском закричали:

— Титорелли, ну можно уже нам зайти?

— Нет, — ответил художник.

— И мне одной тоже нельзя? — спросил голосок.

— Тоже нельзя, — сказал художник, подошел к двери и запер ее.

К. между тем осмотрелся в комнате; ему самому никогда бы и в голову не пришло, что такую жалкую маленькую комнатку можно назвать «ателье». Здесь едва ли удалось бы сделать больше двух широких шагов, что вдоль, что поперек. Пол, стены, потолок — все было деревянное, между досками видны были узкие щели. Напротив

К. у стены стояла кровать, заваленная разноцветными постельными принадлежностями. В центре комнаты на мольберте была установлена картина, накрытая рубашкой, рукава которой свисали до пола. За спиной К. было окно, сквозь которое в тумане ничего не было видно, кроме покрытой снегом крыши соседнего дома.

Поворот ключа в замке напомнил К. о том, что он не собирался тут задерживаться. Поэтому он вытащил из кармана письмо фабриканта, вручил его художнику и сказал:

— Я узнал о вас от этого господина, вашего знакомого, и пришел к вам по его совету.

Художник небрежно пробежал глазами письмо и бросил его на кровать. Если бы фабрикант не так уверенно говорил о Титорелли как о своем знакомом и как о бедном человеке, который не может обойтись без его подачек, то поистине можно было бы сейчас подумать, что Титорелли вообще не знает этого фабриканта или, во всяком случае, не припоминает такого. К тому же художник еще и спросил:

— Желаете купить картины или чтобы написали вас самих?

К. изумленно уставился на художника. Что там, собственно, было написано, в этом письме? К.

считал само собой разумеющимся, что фабрикант в своем письме сообщал художнику о том, что К. желает навести справки о своем процессе — и только. Все-таки он слишком поспешно и необдуманно сюда прибежал! Но он должен был теперь что-то ответить этому художнику, и он сказал, взглянув на мольберт:

— Вы сейчас работаете над новой картиной?

— Да, — сказал художник, и рубашка, висевшая на мольберте, полетела на кровать вслед за письмом. — Это портрет. Хорошая работа, но еще не совсем закончена.

Случай благоприятствовал К.: он получал формальный повод завести речь о суде, поскольку перед ним был явно портрет какого-то судьи. Он, кстати, поразительно напоминал портрет в рабочем кабинете адвоката. Правда, здесь был изображен другой судья — толстый мужчина с широкой черной взъерошенной бородой, с боков высоко взбегавшей на щеки, к тому же тот портрет был написан маслом, а этот слабо и нечетко набросан пастельными красками. Но все остальное было похоже, потому что и здесь судья как раз собирался угрожающе подняться со своего трона, уцепившись за подлокотники. «Так это же судья», — хотел сразу сказать К., но пока

что удержался и приблизился к картине, словно намерен был детально ее изучить. Посередине спинки трона стояла какая-то большая фигура, которой К. не находил объяснений, и он спросил о ней художника.

— Ее еще надо немного доработать, — ответил художник, взял со столика пастельный карандаш и слегка обвел им контуры фигуры, отчего она, однако, не стала для К. яснее.

— Это Правосудие, — сказал наконец художник.

— Да, теперь я узнаю ее, — сказал К., — вот повязка на глазах, а вот весы. Но вот это что же, у нее на пятках крылья, и она бежит?

— Да, — сказал художник, — заказано было так написать; это, собственно говоря, совмещенная богиня: Правосудие и Победа в одной фигуре.

— Не лучшее сочетание, — сказал К., усмехаясь, — Правосудию нужно спокойствие, иначе весы покачнутся и справедливый приговор станет невозможен.

— Тут я подчиняюсь моему заказчику, — сказал художник.

— Да, конечно, — сказал К., не желавший своим замечанием кого-то задеть. — Вы изобразили эту фигуру так, как она на самом деле стояла на

этом троне?

— Нет, — сказал художник, — я в глаза не видел ни этой фигуры, ни этого трона, это все выдумки, но мне заказали так написать.

— Да? — спросил К., он намеренно делал вид, что не вполне понимает художника. — Значит, это судья в судейском кресле?

— Да, — сказал художник, — но он не высокого ранга судья и никогда на таком троне не сидел.

— И все-таки захотел, чтобы его изобразили в таком торжественном виде? Он же сидит тут, словно какой-нибудь верховный судья.

— Да, эти господа тщеславны, — сказал художник. — Но им дано разрешение свыше на то, чтобы их так изображали. Каждому точно предписано, как ему дозволяется выглядеть на портрете. Только, к сожалению, как раз по этому портрету о деталях облачения и сиденья нельзя судить: пастель для таких изображений не годится.

— Да, — сказал К., — это странно, что он написан пастелью.

— Судья так захотел, — сказал художник, — это для одной дамы.

Вид картины, казалось, пробудил в нем желание работать, он закатал рукава рубашки, взял

в руку несколько карандашей — и на глазах у К. под дрожащими кончиками карандашей вокруг головы судьи возникли красноватые тени, расходившиеся лучами и исчезавшие у края картины. Постепенно игра этих теней охватила голову судьи, как какое-то украшение или знак какого-то высокого отличия. Но вокруг фигуры Правосудия все оставалось светлым, если не считать легкой, незаметной тонировки; на этом светлом фоне фигура особенно выделялась, она уже почти не напоминала богиню правосудия — и богиню победы тоже, она теперь, скорее, выглядела совершенно как богиня охоты. Эта работа художника увлекла К. больше, чем он того хотел, но наконец он все-таки упрекнул себя за то, что уже так долго здесь находится и еще ничего, в сущности, не предпринял по своему собственному делу.

— А как зовут этого судью? — неожиданно спросил он.

— Этого я вам не могу сказать, — ответил художник; он низко склонился к портрету, явно пренебрегая своим гостем, которого сам же вначале так почтительно приветствовал.

К. счел это за каприз и разозлился, что зря терял дорогое время.

— Вы, очевидно, доверенное лицо этого суда? — спросил он.

Художник тут же отложил в сторону карандаши, выпрямился, потер ладони одну о другую и с усмешкой посмотрел на К.

— Ну что, давайте начистоту, — сказал он. — Вы хотите узнать что-то о суде, как это и написано в вашем рекомендательном письме, но для начала заговорили о моих картинах, чтобы расположить меня к себе. Я не в претензии, вы же не могли знать, что со мной это ни к чему. О, пожалуйста! — воскликнул он, резко отметая попытку К. что-то возразить, и затем продолжил: — А вообще, это ваше замечание совершенно справедливо: я доверенное лицо суда.

Он сделал паузу, словно хотел дать К. время освоиться с этим фактом. Теперь снова стала слышна возня девчонок за дверью. Они, по всей видимости, толпились у замочной скважины, хотя заглядывать в комнату, вероятно, можно было и через щели. К. оставил всякие попытки извинений, поскольку не хотел отвлекать художника, но не стоило и позволять художнику слишком уж заноситься, чтобы тот не стал по-своему недоступным, поэтому он сказал:

— Это ваше положение официально признано?

— Нет, — коротко ответил художник и замолчал, словно от сказанного лишился дара речи.

Но К. не собирался затыкать ему рот и сказал:

— Ну, часто влияние неофициального положения такого рода сильнее, чем официального.

— Это как раз мой случай, — сказал художник и кивнул, сморщив лоб. — Я разговаривал вчера с этим фабрикантом о вашем деле, он спросил меня, не могу ли я вам помочь, я ответил: «Он мог бы как-нибудь зайти ко мне» — и я рад так скоро увидеть вас здесь. Похоже, вы действительно очень переживаете за это дело, что меня, естественно, нисколько не удивляет. Может быть, желаете для начала снять ваше пальто?

Хотя К. и собирался пробыть здесь лишь самое короткое время, но это предложение художника пришлось как нельзя более кстати. В этой каморке ему постепенно становилось все труднее дышать, он уже не раз с удивлением устремлял взгляд в угол, на маленькую, судя по всем признакам, не растопленную железную печку, — духота в комнатке была необъяснима. Пока он снимал пальто и заодно расстегивал сюртук, художник, извиняясь, говорил:

— Мне нужно, чтобы тут было тепло. Все-таки здесь очень приятно, правда? В этом смысле ком-

ната очень удобно расположена.

К. ничего на это не ответил; собственно, не по себе ему было не от жары, скорее виноват был спертый, почти не дававший вздохнуть воздух; комната, очевидно, уже давно не проветривалась. Эта неприятность была еще усугублена тем, что художник попросил К. пересесть на кровать, в то время как сам он уселся на единственный имевшийся в комнате стул у мольберта. К тому же художник, кажется, неверно понял, почему К. сел лишь на краешек кровати, он предложил К., напротив, расположиться поудобнее и, поскольку К. медлил, сам подошел к кровати и вдвинул К. глубоко в тюфяки и подушки. После этого он снова возвратился на свой стул и, наконец, задал первый деловой вопрос, заставивший К. забыть про все остальное.

— Вы невиновны? — спросил он.

— Да, — сказал К.

Ответ на этот вопрос доставил ему просто-таки радость, в особенности потому, что дан был частному лицу и, следовательно, не мог повлечь за собой никакой ответственности. Еще никто его так прямо не спрашивал, и, чтобы продлить наслаждение этой радостью, он прибавил:

— Я абсолютно невиновен.

— Так, — сказал художник, опустил голову и, казалось, погрузился в размышления.

Неожиданно он вновь поднял голову и сказал:

— Но ведь если вы невиновны, то дело очень просто.

Взгляд К. помрачнел; это якобы доверенное лицо суда говорило, как неразумное дитя.

— Моя невиновность не упрощает дела, — сказал К., невольно все же усмехнувшись, и медленно покачал головой. — Тут много закоулков, в которых плутает этот суд. А в конце из какого-нибудь угла, где поначалу вообще ничего не было, вылезает какая-то большая вина.

— Да-да, конечно, — сказал художник так, словно К. без необходимости прервал ход его мыслей. — Но вы все-таки невиновны?

— Ну да, — сказал К.

— Это главное, — сказал художник.

Контраргументы не могли на него повлиять, однако, несмотря на такую его твердость, было не ясно, от убежденности он так говорит или от равнодушия. К. прежде всего хотел выяснить это, поэтому он сказал:

— Конечно же, вы знаете этот суд куда лучше, чем я, — я знаю не намного больше того, что я о нем слышал, — правда, от совершенно разных

людей. Но все они сходятся в том, что легкомысленных обвинений там не выдвигают и что суд, раз уж он выдвинул обвинение, твердо убежден в виновности обвиняемого, и очень трудно заставить его отказаться от этого убеждения.

— Трудно? — вопросил художник и вскинул одну руку вверх. — Суд никогда от этого не откажется. Если я вот тут напишу всех судей в ряд на одном холсте и вы станете защищаться перед этим холстом, то вы добьетесь большего успеха, чем перед их настоящим судом.

«Да», — сказал про себя К. и забыл, что хотел только прощупать художника.

Девочка за дверью снова принялась канючить:

— Титорелли, ну скоро он уйдет отсюда?

— Замолчите! — крикнул художник в сторону двери. — Вы что, не видите, что мы с господином разговариваем?

Но девочка, не удовлетворившись этим ответом, спросила:

— У тебя будет с ним сеанс? — и, поскольку художник ничего не ответил, прибавила: — Пожалуйста, не делай с ним сеанс, он такой урод.

Несколько одобрительных восклицаний, последовавших за этими словами, разобрать было трудно, поскольку они прозвучали одновремен-

но. Художник подскочил к двери, чуть приоткрыл ее — было видно, как к этой щели протянулись умоляюще сложенные руки девочек — и сказал:

— Если вы не замолчите, я вас всех спущу с лестницы. Сядьте тут на ступеньках, и чтобы вас не было слышно!

По-видимому, они не сразу подчинились, потому что ему пришлось скомандовать еще раз:

— Вниз, на ступени!

Только после этого стало тихо.

— Извините, — сказал художник, вновь возвращаясь к К.

К. почти не повернул головы в сторону этой двери, полностью предоставив художнику решать, будет ли тот его защищать, и если да, то как именно. Почти не шелохнулся он и сейчас, когда художник склонился к нему и прошептал ему на ухо, чтобы не услышали за дверью:

— И эти девчонки тоже имеют отношение к суду.

— Как? — переспросил К., отклонил голову и посмотрел на художника.

Но тот снова уселся на свой стул и полушутя-полусерьезно сказал:

— Ведь все имеет отношение к суду.

— Этого я пока еще не заметил, — коротко ска-

зал К.; широкое обобщение художника лишило его предшествующие слова о девочках их тревожного смысла.

Тем не менее К. некоторое время смотрел на дверь, за которой эти девочки тихо сидели теперь на ступеньках. Впрочем, одна из них просунула в щель между досками соломинку и медленно водила ею вверх и вниз.

— Вы, похоже, еще не составили себе общего представления об этом суде, — сказал художник; он сидел, широко расставив ноги, и постукивал пятками по полу. — Но поскольку вы невиновны, оно вам и не потребуется. Я и один вас вытащу.

— Как вы это сделаете? — спросил К. — Вы же сами только что сказали, что на этот суд никакие доводы не действуют.

— Не действуют только такие доводы, которые приводятся на суде, — сказал художник и поднял вверх указательный палец, как бы показывая этим, что К. не уловил тонкого различия. — Но совсем иначе обстоит в этом смысле с теми попытками, которые предпринимаются за рамками официальной судебной процедуры, то есть в совещательной комнате, в кулуарах или, к примеру, здесь, в этом ателье.

То, что художник сейчас говорил, казалось не

столь уж неправдоподобным, более того, это в значительной мере совпадало с тем, что К. слышал от других людей. Да, это звучало даже очень обнадеживающе. В самом деле, если посредством личных отношений можно так легко управлять судьями, как это изображал адвокат, то тогда отношения художника с этими тщеславными судьями были особенно важны, и уж во всяком случае их никоим образом нельзя было недооценивать. Тогда этот художник очень хорошо впишется в штат помощников, который К. постепенно набирал себе. Когда-то он славился в банке своим организаторским талантом, и вот теперь, когда он должен был рассчитывать только на самого себя, представлялась хорошая возможность испытать этот талант в самом предельном случае. Художник некоторое время наблюдал за тем эффектом, который произвело его объяснение на К., и затем с некоторой озабоченностью сказал:

— Вас, может быть, удивляет, что я говорю почти как какой-нибудь юрист? Это на мне сказываются непрерывные контакты с господами из суда. Я, естественно, извлекаю из них немалые выгоды, но, правда, художнический пыл в значительной мере утратил.

— А как вы впервые вступили в эти отношения

с судьями? — спросил К., он хотел завоевать доверие художника, перед тем как непосредственно привлечь его к себе на службу.

— Это было очень просто, — сказал художник, — я эти отношения получил по наследству. Ведь мой отец тоже был судебным художником. Это место всегда передается по наследству. Новые люди тут не годятся. Ведь для портретирования чиновников разных рангов установлены такие разные, такие многочисленные и, главное, такие секретные правила, что, кроме членов определенных семей, их вообще никто не знает. К примеру, там, в ящике стола, у меня лежат эскизы моего отца, которые я никому не показываю. Но тот, кто их не видел, писать судей уже не сможет. Впрочем, даже если я их и потеряю, у меня в голове останется еще столько правил, что за мое место со мной никто не сможет поспорить. Ведь каждый судья должен быть написан так, как были написаны прежние великие судьи, а это знаю только я.

— Вам можно позавидовать, — сказал К., думая о своем положении в банке. — Значит, вы за свое место не беспокоитесь?

— Да, я за него не беспокоюсь, — сказал художник и гордо расправил плечи. — Потому-то я и

решаюсь иногда помочь какому-нибудь бедолаге, у которого начался процесс.

— И как вы это делаете? — спросил К. так, словно это не его художник только что назвал «каким-то бедолагой».

Но художник не собирался отклоняться от темы и продолжал:

— К примеру, в вашем случае, поскольку вы полностью невиновны, я собираюсь предпринять следующее.

Эти повторяющиеся упоминания о его невиновности уже надоели К. Ему порой даже казалось, что такими упоминаниями художник делает благоприятный исход его процесса какой-то предпосылкой своей помощи, которая в таком случае, естественно, сама собой обесценивалась. Но, несмотря на эти сомнения, К. сдерживался и не прерывал художника. Он твердо решил не отказываться от его помощи, к тому же эта помощь представлялась ему ничуть не более сомнительной, чем помощь адвоката. К. даже отдавал явное предпочтение этой помощи, поскольку та была не так безобидна и предлагалась не так открыто.

Художник придвинул свой стул ближе к кровати и продолжил, понизив голос:

— Я забыл вас с самого начала спросить, какого

освобождения вы хотите? Тут есть три возможности: действительное оправдание, мнимое оправдание и затягивание процесса. Действительное оправдание, естественно, лучше всего, но на такое решение я никак повлиять не могу. И, по-моему, вообще не существует такого отдельно взятого человека, который мог бы поспособствовать действительному оправданию. Тут решает, по всей видимости, только невиновность обвиняемого. А поскольку вы невиновны, то вы действительно можете целиком положиться на эту вашу невиновность. Но тогда вам не нужен ни я, ни какой-то еще помощник.

Такая четкость изложения поначалу ошеломила К., но затем он — так же тихо, как и художник, — сказал:

— По-моему, вы сами себе противоречите.

— В чем же? — ласково спросил художник и с усмешкой откинулся на спинку стула.

От этой усмешки у К. возникло такое чувство, словно ему теперь предстояло обнаружить противоречия уже не в словах художника, а в самой судебной процедуре. Это, однако, его не остановило, и он сказал:

— Ранее вы заметили, что на этот суд доводы не действуют, потом вы ограничили ваше утвержде-

ние рамками официальной судебной процедуры, а теперь утверждаете даже, что невиновному никакой помощи в этом суде не требуется. Уже здесь имеется противоречие. Но, кроме того, ранее вы сказали, что на судей можно влиять посредством личных отношений, а теперь утверждаете, что на это действительное, как вы его называете, оправдание никто персонально повлиять не может. В этом заключается второе противоречие.

— Эти противоречия легко объяснить, — сказал художник. — Тут речь идет о двух разных вещах: о том, что написано в законе, и о том, что я лично знаю по своему опыту, — вы не должны их путать. В законе — я, впрочем, его не читал, — естественно, написано, что невиновный подлежит оправданию, но, с другой стороны, там не написано, что на судей можно повлиять. Ну, а я на своем опыте убедился как раз в обратном. Я не знаю ни одного случая действительного оправдания, но я очень хорошо знаю много случаев влияния на судей. Естественно, вполне возможно, что во всех известных мне случаях невиновность отсутствовала. Но ведь в это трудно поверить. Чтобы в таком количестве случаев не обнаружилось одной-единственной невиновности? Еще будучи ребенком, я внимательно слушал отца, когда он

дома рассказывал о процессах, и судей, когда они, приходя к нему в ателье, рассказывали о суде, в наших кругах вообще ни о чем другом не говорили; сам я, едва получив возможность являться в суд, постоянно пользовался ею, присутствовал на важнейших стадиях несчетного числа процессов — и отслеживал их ход, пока они оставались в зоне видимости, но должен признаться, что на моей памяти не было ни одного действительного оправдания.

— Значит, ни одного действительного оправдания, — повторил К., словно разговаривал сам с собой и со своими надеждами. — Что, впрочем, подтверждает мнение, которое у меня уже сложилось об этом суде. Таким образом, и с этой стороны он тоже бесцелен. Весь этот суд мог бы заменить один-единственный палач.

— У вас нет оснований для подобных обобщений, — недовольно сказал художник, — я ведь говорил только о моем личном опыте.

— Довольно и этого, — сказал К., — или вы слышали об оправданиях, имевших место в прежние времена?

— Такие оправдания, конечно, должны были иметь место, — ответил художник. — Просто это очень трудно теперь установить. Окончательные

решения суда не публикуются, они даже судьям недоступны, поэтому о старых судебных делах сохранились только легенды. А в легендах, конечно, есть и действительные оправдания, и даже много; в это можно верить, но это недоказуемо. Тем не менее ими нельзя совсем пренебрегать, какая-то доля правды в них, конечно, присутствует, к тому же они очень красивы, я сам написал несколько картин на сюжеты этих легенд.

— Одними легендами моего мнения не изменить, — сказал К., — ведь перед судом на эти легенды, по-видимому, нельзя будет сослаться?

— Да, это не пройдет, — сказал художник.

— Тогда не имеет смысла об этом и говорить, — сказал К.; он намерен был пока что принимать к сведению все высказывания художника, даже если они представлялись ему невероятными и противоречили другим сведениям.

У него сейчас не было времени проверять истинность всего, что говорил художник, или, тем более, возражать ему; самое большее, чего можно было сейчас достичь, это склонить художника к согласию каким-то, пусть даже не решающим образом помогать ему. Поэтому К. сказал:

— Значит, давайте забудем о действительном оправдании, но вы упомянули еще две возмож-

ности.

— Мнимое оправдание и затягивание, — напомнил художник. — Речь может идти только об этом. Но не хотите ли вы прежде, чем мы об этом поговорим, снять сюртук? Вам, по-моему, жарко.

— Да, — сказал К.; до этого момента он не обращал внимания ни на что, кроме объяснений художника, но теперь, когда ему напомнили о жаре, у него на лбу выступил обильный пот. — Это почти невыносимо.

Художник кивнул, как бы подтверждая, что неприятные ощущения К. ему очень хорошо понятны.

— Нельзя ли открыть это окно? — спросил К.

— Нет, — сказал художник. — Это же просто намертво вделанное стекло, оно не открывается.

Теперь К. понял, что все это время он надеялся на то, что художник — или он сам — вдруг подойдет к этому окну и распахнет его. Он был готов вдыхать, раскрыв рот, даже туман. Ощущение полной отрезанности от воздуха вызвало у него головокружение. Он слегка шлепнул ладонью по тюфяку, наползавшему на него сбоку, и слабым голосом произнес:

— Это в самом деле неприятно и нездорово.

— О нет, — сказал художник, защищая свое

окно, — благодаря тому, что оно не открывается, этот простой лист стекла сохраняет здесь тепло лучше, чем любая двойная рама. А если я захочу проветрить, в чем не бывает особой необходимости, поскольку через щели между досками тут везде проходит воздух, я могу открыть одну из дверей или даже обе сразу.

К., немного успокоенный этим разъяснением, оглянулся по сторонам, пытаясь увидеть вторую дверь. Художник заметил это и сказал:

— Она за вами, мне пришлось заставить ее кроватью.

Только теперь К. заметил маленькую дверь в стене.

— Здесь ведь все слишком маленькое для ателье, — сказал художник, как бы предупреждая осуждение К. — Пришлось обустраиваться, как позволяло место. Естественно, кровать перед дверью — это очень неудобное расположение. К примеру, судья, которого я сейчас пишу, всегда приходит через дверь у кровати, я ему даже ключ дал от этой двери, чтобы он мог подождать здесь, в ателье, если не застанет меня дома. Но обычно он приходит рано утром, когда я еще сплю. И, естественно, всякий раз, когда рядом с кроватью открывается дверь, просыпаешься, хоть бы

ты спал как убитый. Если бы вы услышали те проклятия, которыми я его встречаю, когда он ранним утром перелезает через мою кровать, вы бы потеряли всякое уважение к этому судье. Конечно, я мог бы отобрать у него ключ, но от этого возникли бы только лишние хлопоты. Здесь ведь достаточно самого легкого усилия, чтобы сорвать с петель любую дверь.

В продолжение всей этой речи К. размышлял о том, удобно ли будет снять сюртук, но в конце концов понял, что если он этого не сделает, то просто не сможет здесь больше находиться, поэтому сюртук он снял, однако оставил его у себя на коленях, чтобы сразу надеть его в случае, если обсуждение вдруг закончится. Но стоило ему снять сюртук, как одна из девочек закричала: «Он уже пиджак снял!» — и стало слышно, как все они затеснились у щелей, чтобы увидеть такое зрелище своими глазами.

— Это девочки подумали, — сказал художник, — что я вас сейчас буду писать и что вы для этого раздеваетесь.

— Понятно, — сказал К., не слишком этим позабавленный, поскольку, сидя теперь без сюртука, чувствовал себя не намного лучше, чем раньше; почти брюзгливо он спросил: — Как вы там на-

звали две другие возможности?

Он уже снова забыл эти выражения.

— Мнимое оправдание и затягивание процесса, — сказал художник. — Что из этого выбрать, решать вам. И то и другое с моей помощью достижимо, — естественно, не без усилий, — различие здесь состоит в том, что мнимое оправдание требует эпизодического концентрированного напряжения сил, а затягивание — значительно меньшего, но длительного. Ну, начнем с мнимого оправдания. Если вы выбираете этот вариант, я беру лист бумаги и пишу свидетельство о вашей невиновности. Текст этого свидетельства я получил от моего отца, и он совершенно неопровержим. И вот с этим свидетельством я совершаю обход знакомых мне судей. Начну я, скажем, с того, что положу это свидетельство перед судьей, которого я сейчас пишу, когда он сегодня вечером придет ко мне на сеанс. Итак, я кладу перед ним это свидетельство, заявляю ему, что вы невиновны, и лично ручаюсь в вашей невиновности. И это не какое-нибудь там формальное, а действительное, обязывающее ручательство.

Во взгляде художника читался как бы упрек за то, что К. хочет возложить на него груз подобного ручательства.

— Это было бы в самом деле очень любезно с вашей стороны, — сказал К. — Значит, судья вам поверил бы, но тем не менее действительного оправдания я бы не получил?

— Да, я это уже объяснял, — ответил художник. — К тому же нет никакой уверенности, что мне поверят все; некоторые судьи, к примеру, могут потребовать, чтобы я привел к ним вас самих. В таком случае вам придется идти со мной. Правда, при таком обороте дело уже можно считать наполовину выигранным, в частности, потому, что я, естественно, заранее подробно вас проинструктирую, как вам следует вести себя перед соответствующим судьей. Хуже обстоит с теми судьями, которые меня обрывают сходу, — случается и такое. От таких — после ряда попыток, когда уже будет сделано все, что можно, — нам придется отказаться, но мы можем себе это позволить, потому что отдельные судьи тут решающего значения не имеют. Ну и когда у меня набирается под этим свидетельством достаточное количество судейских подписей, я иду с ним к тому судье, который непосредственно ведет ваш процесс. При этом не исключено, что у меня уже есть и его подпись, в этом случае развитие событий идет еще немного быстрее, чем обычно.

Но и в общем случае на этой стадии остается уже совсем немного препятствий, и для обвиняемого наступает время наивысшей уверенности. Как ни удивительно, но это правда, что люди в это время чувствуют себя увереннее, чем после оправдания. И теперь никаких особенных усилий уже больше не требуется. Ваш судья, имея в этом свидетельстве ручательства определенного числа судей, спокойно может объявить вас оправданным и — разумеется, после выполнения различных формальностей — без сомнений делает это, чтобы доставить удовольствие мне и другим своим знакомым. А вы выходите из-под суда и — свободны.

— И тогда, следовательно, я свободен, — медленно повторил К.

— Да, — подтвердил художник, — но только мнимо свободны или, лучше сказать, временно свободны. Ведь этим низовым судьям, к которым относятся все мои знакомые, не дано права окончательного оправдания, таким правом обладает только высший, для вас, для меня и для всех нас совершенно недоступный суд. И как все это выглядит там, мы не знаем, да и, по правде говоря, не хотим знать. Так что высшего права освобождать от обвинения наши судьи не имеют, но они имеют полное право освобождать обвиняемого.

Это значит, что если вы оправданы таким образом, то на данный момент вы от обвинения ушли, но оно продолжает висеть над вами и дальше, и, как только сверху приходит соответствующее распоряжение, обвинение тут же приобретает законную силу. И поскольку я нахожусь с этим судом в таких хороших отношениях, то я могу вам даже сказать, как — чисто внешне — проявляется в предписаниях для судебных канцелярий это различие между действительным и мнимым оправданием. При действительном оправдании абсолютно все материалы процесса изымаются, они полностью выводятся из судебной машины; не только обвинение, но и само дело, и даже оправдательный приговор уничтожаются, — уничтожается все. При мнимом оправдании поступают иначе. С делом не происходит вообще никаких изменений, оно только дополняется этим свидетельством о невиновности, оправдательным приговором и обоснованием этого оправдательного приговора. В остальном же оно остается в судебной машине и, как того требует поддержание непрерывного бумагооборота между канцеляриями, пересылается дальше в суды высших инстанций, возвращается назад в суды низших, и вот так, с большими или меньшими

отклонениями, с большими или меньшими задержками, плавает туда и обратно. И пути его неисповедимы. Непосвященному порой может показаться, что все давным-давно предано забвению, дело утеряно и оправдание — это полное оправдание. Но посвященный этому не поверит. Ни одно дело не утеряно, а что такое забвение, суд не знает. В один прекрасный день, когда никто этого уже не ожидает, какой-нибудь судья просматривает это дело внимательнее, чем обычно, замечает, что в данном случае обвинение еще жизнеспособно, и немедленно подписывает ордер на арест. Я все это излагаю в предположении, что между мнимым оправданием и новым арестом проходит достаточно большое время; это возможно, и мне такие случаи известны, но точно так же возможен и такой случай, когда оправданный приходит после суда домой, а там уже ждут уполномоченные, чтобы снова его арестовать. И на этом, естественно, свободная жизнь кончается.

— И процесс начинается заново? — почти не веря своим ушам, спросил К.

— Конечно, — сказал художник, — процесс начинается заново, но опять-таки есть возможность точно так же, как раньше, добиться мнимого

оправдания. И для этого нужно снова собрать все силы, тут нельзя сдаваться.

Последние слова художника, по-видимому, объяснялись тем впечатлением, которое производил на него несколько обмякший К.

— Но добиться второго оправдания, — сказал К., словно пытаясь предупредить какое-то разоблачение художника, — не труднее ли, чем первого?

— В этом случае, — отозвался художник, — ничего определенного сказать нельзя. Вы, очевидно, имеете в виду, что этот второй арест может повлиять на мнение судей не в пользу обвиняемого? Это не так. Ведь судьи уже в момент оправдания предвидели этот арест. Так что подобное обстоятельство вряд ли окажет какое-то влияние. Но настроение судей — так же как и их правовая оценка данного случая — может измениться в силу бесчисленного количества других причин, и поэтому усилия по достижению второго оправдания должны прилагаться с учетом изменившихся обстоятельств и, вообще говоря, быть такими же энергичными, как те, которые прилагались к первому оправданию.

— Но ведь это второе оправдание тоже не окончательное, — сказал К. и, словно отгоняя что-то, качнул головой.

— Естественно, нет, — сказал художник, — за вторым оправданием следует третий арест, за третьим оправданием — четвертый арест и так далее. Это заложено уже в самом понятии мнимого оправдания.

К. молчал.

— Я вижу, мнимое оправдание кажется вам невыгодным, — сказал художник, — может быть, вам больше подойдет затягивание процесса. Объяснить вам сущность затягивания?

К. кивнул. Художник сидел, удобно развалясь на своем стуле, его ночная рубашка была широко распахнута, он запустил под нее руку и поглаживал себя по груди и бокам.

— Затягивание, — начал художник и на какое-то мгновение застыл, глядя прямо перед собой, словно подыскивал абсолютно точное объяснение, — затягивание заключается в том, что процесс надолго задерживается на самой низшей процессуальной стадии. Для достижения этого необходимо, чтобы обвиняемый и его помощник — в особенности, помощник — оставались в непрерывном личном контакте с судом. Я повторяю, здесь не требуется такой затраты сил, как при достижении мнимого оправдания, но требуется значительно большая внимательность

ность. Процесс ни на минуту нельзя упускать из виду; соответствующего судью нужно посещать через регулярные промежутки времени, а также при всяком удобном случае и всеми средствами стараться поддерживать его доброжелательное отношение; если же лично с этим судьей вы не знакомы, тогда нужно влиять на него через знакомых судей, но, конечно, никоим образом не отказываться по этой причине от непосредственных контактов. И если ничего в этом плане не упустить, то можно с достаточной определенностью полагать, что процесс не выйдет из своей начальной стадии. Процесс при этом не прекращается, но обвиняемый гарантирован от приговора почти так же надежно, как если бы он был свободен. По сравнению с мнимым оправданием, затягивание имеет то преимущество, что будущее обвиняемого здесь менее неопределенно, он огражден от этого ужаса внезапного ареста и не должен бояться, к примеру, того, что как раз в тот момент, когда прочие обстоятельства менее всего будут к этому располагать, ему придется взваливать на себя все те хлопоты и переживания, которые связаны с достижением мнимого оправдания. Правда, и в затягивании тоже есть определенные недостатки, которых обвиняе-

мому не следует недооценивать. Я не говорю здесь о том, что обвиняемый в этом варианте никогда не получит свободы, ведь и при мнимом оправдании он ее, в собственном смысле, тоже не получает. Но тут есть другой недостаток. Процесс не может стоять на месте, если для этого нет хотя бы мнимых оснований. Поэтому формально в рамках процесса должно что-то происходить. Это значит, что время от времени должны приниматься различные постановления, обвиняемого должны допрашивать, должны проводиться расследования, и так далее. Потому что процесс должен все время вращаться в том маленьком кругу, которым он искусственно ограничен. Что, естественно, влечет за собой определенные неприятные для обвиняемого последствия, которые вам опять-таки не следует представлять себе слишком уж преувеличенно. Ведь это все просто формальности, поэтому, к примеру, допросы всегда очень короткие, и если иной раз нет времени или желания, то можно и отговориться, а с некоторыми судьями можно даже сесть и заранее расписать вызовы надолго вперед, речь ведь, в сущности, идет только о том, чтобы вы время от времени являлись к своему судье.

Художник еще договаривал последние слова, а

К. уже подхватил сюртук на руку и встал.

— Он встает! — немедленно вскрикнули за дверью.

— Вы уже уходите? — спросил художник, тоже поднявшись. — Вас, конечно, этот воздух отсюда гонит. Это очень неприятно. Мне бы нужно было еще многое вам сказать. Я поневоле так сократил изложение. Надо было еще короче, но, я надеюсь, смысл до вас дошел.

— О да, — сказал К.; он с таким напряжением заставлял себя слушать, что у него теперь болела голова.

Несмотря на это подтверждение, художник еще раз резюмировал все сказанное, словно хотел, чтобы К., отправляясь домой, взял это с собой в качестве утешения:

— Общее в обоих методах то, что они предотвращают приговор.

— Но они предотвращают и действительное оправдание, — тихо сказал К., словно стыдясь того, что он это понял.

— Вы схватили самую суть, — быстро сказал художник.

К. положил руку на свое пальто, хотя никак не мог решиться надеть даже сюртук. Больше всего ему хотелось схватить все в охапку и бежать

бегом на свежий воздух. Даже эти девчонки не могли заставить его одеться, хотя они, забегая вперед, уже кричали друг другу, что он одевается. Художнику хотелось как-то уяснить себе настроение К., поэтому он сказал:

— Вы, по-видимому, еще не определились в отношении моих предложений. Я это одобряю. Я бы даже не советовал вам сразу определяться. Преимущества и недостатки тут на волосок друг от друга. Это все надо точно оценить. Правда, и слишком много времени терять тоже не следует.

— Я скоро снова приду, — сказал К.; внезапно решившись, он надел сюртук, забросил пальто на плечо и поспешил к двери, за которой девчонки теперь подняли крик.

К. казалось, что он видит этих кричащих девочек сквозь дверь.

— Но вы должны будете сдержать слово, — сказал художник, не последовавший за ним к двери, — иначе я сам приду к вам в банк с вопросами.

— Да откройте же дверь, — сказал К., дергая за ручку, которую, как он почувствовал по противодействию, держали снаружи девочки.

— Вы что, хотите, чтобы на вас накинулись девчонки? — спросил художник. — Воспользуйтесь

лучше этим выходом, — и он указал на дверь за кроватью.

К., выражая свое согласие, бросился назад к кровати. Однако вместо того, чтобы открыть там дверь, художник полез под кровать и из-под нее спросил:

— Еще только одну минутку, — не желаете ли взглянуть на одну картину, которую я мог бы вам продать?

К. не хотел быть невежливым, ведь художник в самом деле принял в нем участие и обещал помогать и дальше, к тому же вследствие забывчивости К. еще совершенно не было речи о вознаграждении за эту помощь, поэтому К. не мог сейчас уклоняться и согласился на демонстрацию картины, хотя дрожал от нетерпения, мечтая выбраться из этого ателье. Художник вытащил из-под кровати кучу необрамленных картин, которые были настолько покрыты пылью, что, когда художник попытался сдуть ее с верхнего холста, она взлетела удушающим облаком и медленно заклубилась перед глазами К.

— Степной пейзаж, — сказал художник и протянул К. картину.

На картине были изображены два чахлых деревца, стоящих далеко друг от друга в темной

траве на многоцветном фоне заходящего солнца.

— Красиво, — сказал К. — Я беру ее.

К. необдуманно высказался столь кратко, поэтому он был рад, когда художник, вместо того чтобы обидеться, поднял с пола вторую картину.

— Эта вещь — парная к той, — сказал художник.

Возможно, вещь задумывалась как парная, но на ней нельзя было заметить ни малейшего отличия от первой картины: те же деревья, та же трава и тот же заход солнца. Но К. все это было не очень важно.

— Красивые пейзажи, — сказал он, — я возьму оба и повешу их у себя в кабинете.

— Похоже, мотив вам понравился, — сказал художник и потянул с пола третью картину, — и очень кстати, что у меня есть здесь еще одна похожая картина.

Но это была вовсе не похожая картина, это был совершенно тот же степной пейзаж. Художник хорошо использовал возможность продать старые картины.

— Я беру и эту тоже, — сказал К. — Сколько стоят эти три картины?

— Об этом мы поговорим после, — сказал художник. — Вы сейчас торопитесь, а мы ведь нашу

связь не прерываем. Вообще, меня радует, что они вам понравились, я отдам вам все картины, которые у меня тут внизу. Здесь исключительно степные пейзажи, я уже много степных пейзажей написал. Некоторые люди отвергают такие картины из-за того, что они слишком мрачные, но другие — и вы принадлежите к таким — любят как раз мрачное.

Но К. сейчас совершенно не воспринимал эти профессиональные наблюдения художника-вымогателя.

— Упакуйте все эти картины! — воскликнул он, прервав разглагольствования художника, — завтра придет мой секретарь и заберет.

— В этом нет необходимости, — сказал художник. — Думаю, я найду вам носильщика, который прямо сейчас пойдет с вами.

И наконец, наклонившись над кроватью, он отпер дверь.

— Наступайте без стеснений на кровать, — сказал художник, — так делают все, кто здесь входит.

К. и без этого приглашения не стал бы церемониться, да и вообще уже наступил одной ногой прямо на середину тюфяка, но, взглянув в этот момент сквозь открытую дверь, убрал ногу с

кровати.

— Что это? — спросил он художника.

— Чему вы удивляетесь? — спросил тот, в свою очередь удивляясь. — Это судебные канцелярии. Вы что, не знали, что здесь помещаются судебные канцелярии? Но ведь судебные канцелярии помещаются почти на всех чердаках, почему же их не должно быть именно здесь? Собственно, и мое ателье тоже относится к судебным канцеляриям, но суд предоставил его в мое распоряжение.

К. испугался даже не того, что и здесь обнаружил судебные канцелярии, он испугался главным образом себя, своей неосведомленности в судебных делах. Он считал одним из главных принципов поведения обвиняемого — всегда быть в состоянии готовности, никогда не позволять застигать себя врасплох, не смотреть, разинув рот, направо, если слева рядом с тобой стоит судья, — и именно этот принцип он раз за разом нарушал. Перед ним открылся длинный проход, и из него дохнуло таким воздухом, в сравнении с которым воздух ателье освежал. По обеим сторонам прохода были поставлены скамейки — точно так же, как в коридоре той канцелярии, где находилось дело К. По-видимому, существовали точные инструкции по устройству канцелярий.

В данный момент наплыв посетителей здесь был не очень велик. Какой-то мужчина полулежал на скамье, закрыв голову руками, и, казалось, спал, другой стоял в полутьме в конце прохода. К. все-таки перелез через кровать, художник последовал за ним с картинами в руках. Вскоре они встретили служителя суда — К. теперь уже узнавал всех служителей суда по золотой пуговице, которая выделялась среди прочих пуговиц на их цивильных костюмах, — и художник поручил ему сопровождать К. с картинами. К. не столько шел, сколько шатался из стороны в сторону, прижимая ко рту носовой платок. Когда они были уже недалеко от выхода, им навстречу высыпали те же девочки, ускользнуть от которых К., таким образом, не удалось. Они, очевидно, увидели, что вторая дверь ателье открыта, и обежали вокруг, чтобы проникнуть туда с этой стороны.

— Я не могу вас проводить дальше! — крикнул художник, смеясь под натиском девочек. — До свидания! И не раздумывайте слишком долго!

К. на него даже не оглянулся. На улице он взял первый попавшийся экипаж. Он хотел отделаться от этого служителя, чья золотая пуговица все время мозолила ему глаза, хотя никто, кроме него, ее, наверное, не замечал. Служитель, про-

являя рвение, полез было на козлы к извозчику, но К. согнал его вниз. Когда К. подъехал к банку, было уже далеко за полдень. Он с удовольствием оставил бы картины в пролетке, но побоялся, как бы не понадобилось при случае предъявить их художнику. Поэтому он приказал отнести их в свой кабинет и запер в самом нижнем ящике стола, чтобы они не попались на глаза заместителю директора хотя бы в ближайшие дни.

Глава восьмая
КОММЕРСАНТ БЛОК. УВОЛЬНЕНИЕ АДВОКАТА

Наконец К. все-таки решился изъять у адвоката полномочия представительства. Хотя сомнения по поводу правильности таких действий у него не исчезли, однако убежденность в их необходимости перевесила. Это решение отняло у К. много умственной энергии; в тот день, когда он должен был идти к адвокату, он работал особенно медленно, ему пришлось засидеться в кабинете допоздна, и, когда наконец он оказался перед дверью адвоката, было уже больше десяти часов вечера. Перед тем как позвонить, он еще раз подумал, не лучше ли уволить адвоката по телефону или письмом, личная беседа наверняка будет очень неприятной. Но в конце концов К. решил не отказываться от нее, поскольку при всякой другой форме увольнения адвокат промолчал бы или ответил несколькими формальными словами, и К., если бы ему не удалось, к примеру, выяснить что-нибудь у Лени, никогда бы не узнал, как адвокат принял это увольнение и

какие последствия для К. оно могло иметь, по мнению адвоката, пренебрегать которым не следовало. Если же адвокат будет сидеть напротив К., то даже если из него, ошеломленного этим увольнением, мало что удастся выудить, К. легко поймет все, что нужно, по его лицу и поведению. А если К. убедится в том, что все-таки неплохо было бы оставить защиту адвокату, то тогда он сможет и отменить его увольнение, — даже и такую возможность нельзя было исключать.

Первый звонок в дверь адвоката оказался, как обычно, бесполезным. Лени могла бы быть и порасторопней, подумал К. Но хорошо было уже то, что никто из посторонних, вопреки обыкновению, не вмешивался; не хватало только, чтобы начал надоедать какой-нибудь господин в шлафроке или кто-нибудь еще. Нажимая на кнопку звонка вторично, К. оглянулся на другие двери, но в этот раз и они оставались закрыты. Наконец в смотровом окошечке адвокатской двери появились два глаза, но это были не глаза Лени. Кто-то отпер дверь, однако вначале еще придержал ее, прокричал вглубь квартиры: «Это он!», и только после этого начал открывать ее. К. нажал на дверь, потому что уже слышал, как в дверях квартиры за его спиной быстро повора-

чивается в замке ключ. Когда под его нажимом дверь наконец открылась, он буквально ввалился в переднюю и успел еще заметить, как Лени, предупрежденная криком открывателя двери, убегала по коридору, ведущему в глубь квартиры, в одной рубашке. Какое-то мгновение он смотрел ей вслед, а затем повернулся к этому открывателю дверей. Перед ним стоял низкорослый худой мужчина с большой бородой, в руке он держал свечу.

— Вы здесь служите? — спросил К.

— Нет, — ответил мужчина, — я здесь посторонний, просто адвокат — мой представитель, я пришел по юридическому делу.

— Без сюртука? — спросил К. и движением руки указал на неполноту костюма мужчины.

— Ах, простите! — сказал мужчина и осветил себя свечой, словно сам впервые видел, как он выглядит.

— Лени — ваша любовница? — коротко спросил К.

Он стоял, слегка расставив ноги, а руки, в которых была шляпа, сцепил за спиной. Уже то, что он был в плотном пальто, сообщало ему чувство огромного превосходства над этим тощим коротышкой.

— О Боже! — сказал тот и поднял, испуганно защищаясь, одну руку к лицу, — нет-нет, как вы можете так думать?

— Звучит убедительно, — сказал К., усмехаясь, — тем не менее идемте.

Он показал ему взмахом шляпы, чтобы тот шел вперед.

— Как хоть вас зовут? — спросил К. по дороге.

— Блок, коммерсант Блок, — ответил коротышка и повернулся представиться, но К. не позволил ему остановиться.

— Это ваше настоящее имя? — спросил К.

— Разумеется, — ответил тот, — а почему вы усомнились?

— Я подумал, что у вас могут быть причины скрывать ваше имя, — сказал К.

Он чувствовал себя так свободно, как это бывает, только когда где-нибудь вдали от дома разговариваешь с теми, кто ниже тебя; все, что касается тебя самого, оставляешь при себе и лишь равнодушно рассуждаешь о том, что интересует других, поднимаешь их этим над ними самими, но, при желании, можешь их и опустить. У двери рабочего кабинета адвоката К. остановился, открыл ее и крикнул коммерсанту, который послушно продолжал движение:

— Не так быстро! Посветите-ка сюда!

К. подумал, что Лени могла спрятаться здесь, он заставил коммерсанта облазить все углы, но комната была пуста. Перед портретом судьи К. задержал коммерсанта, уцепив его сзади за подтяжки.

— Знаете его? — спросил К. и указательным пальцем указал вверх.

Коммерсант поднял свечу, посмотрел, моргая, вверх и сказал:

— Это судья.

— Высокий судья? — спросил К. и встал рядом с коммерсантом, чтобы наблюдать впечатление, которое производил на того портрет.

Коммерсант смотрел вверх со страхом и почтением.

— Это высокий судья, — сказал он.

— Немного же вы понимаете, — сказал К. — Из всех низовых следователей этот — самый низший.

— Теперь и я вспомнил, — сказал коммерсант и опустил свечу, — я тоже это слышал.

— Ну, конечно! — воскликнул К. — Я и забыл, конечно, вы тоже должны были это услышать.

— Но почему же? почему же? — на ходу спрашивал коммерсант, подталкиваемый рукой К. по

направлению к двери.

Уже за дверью, в коридоре, К. сказал:

— Вы ведь знаете, где прячется Лени?

— Прячется? — переспросил коммерсант, — да нет, она, наверное, на кухне варит адвокату суп.

— А почему вы сразу этого не сказали? — спросил К.

— Но я же хотел вас туда отвести, а вы меня позвали назад, — ответил коммерсант как бы в замешательстве от противоречивости распоряжений.

— Вы, наверное, считаете себя очень хитрым, — сказал К., — ну так ведите меня!

На кухне К. еще никогда не бывал, она была ошеломляюще большой и богато оснащенной. Уже одна плита была в три раза больше обычных плит, других деталей, впрочем, не было видно, так как кухня освещалась сейчас только одной маленькой лампой, висевшей при входе. У плиты стояла Лени, в белом переднике, как обычно, и разбивала яйца в какой-то горшок, подогревавшийся на спиртовке.

— Добрый вечер, Йозеф, — сказала она, искоса взглянув на него.

— Добрый вечер, — сказал К. и указал рукой в направлении стоявшего в стороне стула, на

который надлежало сесть коммерсанту, что тот и сделал.

А К. подошел сзади вплотную к Лени, наклонился над ее плечом и спросил:

— Кто этот человек?

Лени обхватила К. за шею одной рукой — другая помешивала суп, — притянула его к себе и сказала:

— Просто жалкий человек, один несчастный коммерсант, некто Блок. Ты только взгляни на него.

Они оба посмотрели назад. Коммерсант сидел на стуле, указанном ему К., свечу, которая была уже не нужна, он задул и теперь сжимал пальцами фитиль, чтобы не шел дымок.

— Ты была в рубашке, — сказал К. и ладонью повернул ее голову обратно к плите.

Она молчала.

— Он твой любовник? — спросил К.

Она потянулась к суповому горшку, но К. взял ее за обе руки и сказал:

— Ну, отвечай!

— Пойдем в кабинет, — сказала она, — я тебе все объясню.

— Нет, — сказал К., — я хочу, чтобы ты мне здесь объяснила.

Она повисла на нем и хотела его поцеловать, но К. отстранил ее и сказал:

— Я не хочу, чтобы ты сейчас меня целовала.

— Йозеф, — сказала Лени, просительно и в то же время открыто взглянув ему в глаза, — ведь не станешь же ты ревновать к господину Блоку. Руди, — сказала она затем, повернувшись к коммерсанту, — ну, помоги мне, ты же видишь, что меня подозревают, оставь эту свечу.

Могло показаться, что коммерсант даже не смотрит в их сторону, но он был вполне в курсе происходящего.

— И я бы не понимал, с чего вам ревновать, — не слишком остроумно заметил он.

— Я, собственно, тоже этого не понимаю, — сказал К. и с усмешкой посмотрел на коммерсанта.

Лени громко засмеялась, повисла, воспользовавшись невнимательностью К., на его руке и прошептала:

— Да оставь ты его, ты же видишь, что это за человек. Я немного забочусь о нем, потому что он важный клиент адвоката, и никакой другой причины тут нет. А ты? Ты прямо сегодня хочешь говорить с адвокатом? Он сегодня очень болен, но если ты хочешь, то я пойду доложу о тебе. А на ночь ты безо всяких отговорок остаешься со

мной. Ты ведь уже так давно у нас не был, даже адвокат про тебя спрашивал. Не пренебрегай процессом! И я тоже хочу тебе рассказать разные вещи, которые я узнала. Но только ты сначала сними все-таки свое пальто!

Она помогла ему раздеться, забрала у него шляпу, побежала в переднюю повесить его вещи, потом прибежала обратно и попробовала суп.

— Мне сначала доложить о тебе или сначала отнести ему суп?

— Сначала обо мне, — сказал К.

Он был раздражен; ведь у него было намерение подробно обсудить с Лени свое дело, в особенности это проблематичное увольнение адвоката, но присутствие коммерсанта отбило у него всякую охоту. Однако теперь К. решил, что его дело все же слишком важно, чтобы позволить вмешательству этого маленького коммерсанта оказать, может быть, решающее влияние, поэтому он крикнул Лени, которая уже уходила, чтобы она вернулась.

— Все-таки отнеси ему сначала суп, — сказал он, — пусть подкрепится перед разговором со мной: ему понадобятся силы.

— Вы тоже клиент адвоката, — тихо сказал из своего угла коммерсант, как бы просто конста-

тируя факт.

Но это было плохо воспринято.

— Вам-то какое дело? — сказал К.

Откликнулась и Лени:

— А ты помалкивай. Так я ему тогда сначала отнесу суп, — сказала она К. и вылила суп в тарелку. — Но только есть опасность, что он тогда скоро заснет, после еды он быстро засыпает.

— От того, что я ему скажу, он долго не заснет, — сказал К.; он все время старался дать понять, что собирается говорить с адвокатом о чем-то серьезном, он хотел, чтобы Лени начала расспрашивать, о чем пойдет речь, и только тогда спросить у нее совета.

Но она лишь пунктуально выполняла приказы, высказанные вслух. Проходя с подносом мимо К., она умышленно слегка толкнула его и прошептала:

— Я доложу о тебе сразу же, как только он съест суп, чтобы скорее получить тебя обратно.

— Иди, давай, — сказал К., — иди-иди.

— Будь немножко полюбезнее, — сказала она и, проходя с подносом в дверь, еще раз всем корпусом обернулась назад.

К. смотрел ей вслед; теперь он окончательно решил, что адвоката надо отстранять, и это,

может быть, даже к лучшему, что он не смог предварительно поговорить об этом с Лени; она вряд ли могла в достаточной мере представлять себе всю ситуацию в целом, наверняка начала бы его отговаривать, возможно даже, и в самом деле удержала бы его на этот раз от увольнения адвоката, и К. так и оставался бы в сомнениях и в тревоге, но в конце концов через какое-то время все равно возникла бы необходимость осуществить принятое решение, потому что необходимость эта была слишком настоятельна. И чем раньше оно будет осуществлено, тем большего ущерба удастся избежать. Кстати, не исключено, что и коммерсант может что-то сказать об этом.

К. повернулся; едва заметив это, коммерсант проявил намерение встать.

— Сидите, — сказал К. и пододвинул себе другой стул. — Так вы, значит, старый клиент адвоката? — спросил он.

— Да, — сказал коммерсант, — очень старый клиент.

— И сколько лет он уже вас представляет? — спросил К.

— Смотря как считать, — сказал коммерсант, — по деловым юридическим вопросам — у меня

хлебное дело — адвокат представляет меня еще с тех пор, как я в него вошел, то есть это примерно лет двадцать, а по моему собственному процессу, на который вы, наверное, и намекаете, он тоже представляет меня с самого начала, это будет уже больше пяти лет. Да, намного больше пяти лет, — прибавил он затем и вытащил старый бумажник, — вот, тут у меня все записано, если вы хотите, я назову вам точные даты. Трудно все в голове удержать. Мой процесс длится, наверное, уже намного дольше, он начался вскоре после смерти моей жены, значит, прошло уже больше пяти с половиной лет.

К. придвинулся ближе к нему.

— То есть адвокат берет и обычные гражданские дела? — спросил он; такое совмещение хлебного с уголовным подействовало на К. необыкновенно успокаивающе.

— Конечно, — сказал коммерсант и заговорил шепотом: — Поговаривают даже, что в этих-то гражданских делах он получше разбирается, чем в других, — но он, кажется, пожалел о сказанном, положил руку на плечо К. и сказал: — Я вас очень прошу, не выдавайте меня.

К. успокоительно похлопал его по бедру и сказал:

— Нет, я не предатель.

— Понимаете, он мстителен, — сказал коммерсант.

— Ну, такому верному клиенту он наверняка ничего плохого не сделает, — сказал К.

— О, еще как сделает, — сказал коммерсант, — когда он возбуждается, для него все одинаковы, к тому же я ему, собственно говоря, не верен.

— Как это не верны? — спросил К.

— Могу ли я вам доверять? — с сомнением спросил коммерсант.

— Я думаю, можете, — сказал К.

— Ну, — сказал коммерсант, — я вам это частично доверю, но вы тоже должны будете раскрыть мне какую-нибудь тайну, чтобы мы по отношению к адвокату были взаимно связаны.

— Вы очень предусмотрительны, — сказал К., — но я раскрою вам тайну, которая вас совершенно успокоит. Итак, в чем состоит ваша неверность по отношению к адвокату?

— У меня, — сказал коммерсант нерешительно и таким тоном, словно признавался в нечестном поступке, — есть, кроме него, еще другие адвокаты.

— Но ведь это не такое уж большое преступление, — несколько разочарованно сказал К.

— Здесь — большое, — сказал коммерсант, все еще с трудом переводивший дух после своего признания, но благодаря замечанию К. почувствовавший себя увереннее. — Это не разрешается. И в особенности не разрешается, помимо одного так называемого адвоката, брать еще и теневых адвокатов. А я именно это и сделал, у меня, кроме него, еще пять теневых адвокатов.

— Пять! — воскликнул К., которого удивило только число. — Пять адвокатов кроме этого?

Коммерсант кивнул.

— И я как раз договариваюсь еще с шестым.

— Но зачем вам нужны все эти адвокаты? — спросил К.

— Мне все нужны, — сказал коммерсант.

— Не могли бы вы мне это объяснить? — спросил К.

— Почему нет? — сказал коммерсант. — Прежде всего, я все-таки не хочу проиграть мой процесс, но это само собой разумеется. Поэтому, если что-то может принести мне пользу, я не должен оставлять это без внимания; и даже если надежда на эту пользу в каком-то определенном случае будет совсем маленькая, мне и такую тоже не следует отбрасывать. То есть я должен употребить на этот процесс все, что я имею. Например,

я забрал все деньги из моего дела, раньше моя контора занимала почти целый этаж, а сегодня хватает одной маленькой каморки во флигеле, где со мной работает один мальчишка-ученик. Естественно, такой упадок наступил не только из-за оттока денег, но еще больше из-за оттока моей производительной силы. Когда ты хочешь чего-то добиться по своему процессу, ты уже почти не можешь заниматься ничем другим.

— Так вы, значит, сами тоже работаете в суде? — спросил К. — Я как раз об этом хотел что-нибудь узнать.

— Об этом я могу сообщить совсем немного, — сказал коммерсант. — Хотя поначалу я делал такие попытки, но вскоре вынужден был их оставить. Это очень изматывает и не приносит особых результатов. Даже просто работать там и вести переговоры оказалось совершенно невозможным, по крайней мере для меня. Там ведь просто сидеть и ждать — уже огромное напряжение. Вы же сами знаете, какой в канцеляриях тяжелый воздух.

— А откуда вам известно, что я там был? — спросил К.

— А я как раз был в зале ожидания, когда вы проходили.

— Какое удивительное совпадение! — воскликнул К., совершенно увлеченный и совершенно забывший свою прежнюю насмешливость. — Так вы меня видели! Вы были в зале ожидания, когда я проходил! Да, я там как-то раз проходил.

— Это совпадение не такое уж удивительное, — сказал коммерсант, — я там бываю почти ежедневно.

— Мне теперь, по всей вероятности, тоже придется чаще туда ходить, — сказал К., — но, пожалуй, с таким почетом, как в тот раз, меня уже встречать не будут. Ведь все вставали! Думали, наверное, что я судья.

— Нет, — сказал коммерсант, — мы тогда приветствовали служителя суда. А что вы тоже обвиняемый, мы знали. Такие сведения распространяются очень быстро.

— Значит, вы это уже знали, — сказал К., — но тогда мое поведение, наверное, показалось вам высокомерным. Там ничего такого не говорили?

— Нет, — сказал коммерсант, — напротив. Но это все глупости.

— И какие же именно глупости? — спросил К.

— Да зачем вы об этом спрашиваете? — с досадой сказал коммерсант. — Вы же, кажется, еще не знаете тамошних людей и, возможно,

неправильно поймете. Вы не должны забывать, что в подобных обстоятельствах у людей всегда слетает с языка много такого, что идет уже не от рассудка; там слишком устают, и часто уже не могут сосредоточиться, и вместо рассудка полагаются на предрассудки. Я говорю о других, но я и сам нисколько не лучше. Вот, например, один из таких предрассудков: многие заявляют, что можно по лицу обвиняемого, в особенности по линии губ, предугадать исход его процесса. Так вот, эти люди утверждают, что, судя по вашим губам, вы наверняка — и скоро — будете приговорены. Я повторяю, это смехотворный предрассудок, и, кстати, в большинстве случаев он полностью противоречит фактам, но, когда живешь в этом обществе, трудно избежать влияния таких мнений. Вы даже не представляете себе, как сильно может воздействовать подобный предрассудок. Вы ведь там заговорили с одним, да? Но он почти не в состоянии был вам отвечать. Естественно, там хватает причин для того, чтобы прийти в замешательство, но одной из этих причин были ваши губы. Он потом рассказывал, что на ваших губах он, как ему показалось, увидел печать и своего собственного приговора.

— На моих губах? — спросил К., вытащил кар-

манное зеркальце и посмотрелся в него. — Я на моих губах ничего особенного увидеть не могу. А вы?

— Я тоже не могу, — сказал коммерсант, — совершенно ничего не могу.

— Как же суеверны эти люди! — воскликнул К.

— А я что говорю? — сказал коммерсант.

— Так они что же, много общаются, обмениваются мнениями, да? — спросил К. — А я до сих пор совсем в стороне держался.

— Не очень-то они общаются, — сказал коммерсант, — да это было бы и невозможно, ведь их так много. Да и общих интересов у них почти нет. А если в какой-то группе и возникает вера в какой-то общий интерес, то вскоре обнаруживается, что это было заблуждение. Сообща против этого суда никак не выступить. Каждый случай расследуется особо, этот суд ведь самый дотошный из всех судов. Так что сообща тут ничего не добиться, тут только отдельно взятый обвиняемый иногда может чего-то втайне достичь, и, только когда уже достигнет, об этом узнают и другие, и никто не знает, как это получилось. Так что тут никакой общности нет, и хотя время от времени они сходятся в залах ожидания, но там мало что обсуждается. А суеверные мнения существуют

с давних пор и размножаются буквально сами по себе.

— Я видел этих господ там, в зале ожидания, — сказал К., — и это их ожидание показалось мне таким бессмысленным.

— Ожидание не бессмысленно, — сказал коммерсант, — бессмысленно только самодеятельное вмешательство. Я уже говорил, что у меня теперь, кроме этого, еще пять адвокатов. Можно было бы подумать — я и сам вначале так думал, — что теперь я мог бы полностью передоверить все дело им. Но это было бы совершенно неверно. Я еще меньше могу передоверить им дело, чем если бы у меня был только один адвокат. Вы, наверное, этого не понимаете?

— Нет, — сказал К. и, чтобы попридержать слишком быстро говорившего коммерсанта, успокаивающе накрыл рукой его руку, — я только хотел бы вас попросить говорить чуть помедленнее, это ведь все для меня очень важные вещи, и я не успеваю их как следует усвоить.

— Хорошо, что вы мне об этом напомнили, — сказал коммерсант, — вы ведь еще новичок, еще молодой. Вашему процессу полгодика, верно? Да, я о нем слышал. Такой еще молодой процесс! Я-то эти вещи уже несчетное число раз передумал, они

для меня самые самоочевидные вещи на свете.

— Вы, наверное, довольны, что ваш процесс уже так далеко продвинулся, — спросил К., он не хотел прямо в лоб спрашивать, в каком состоянии дело коммерсанта.

И ясного ответа не получил.

— Да, я тяну мой процесс уже пять лет, — сказал коммерсант и опустил голову, — а это не мало.

Он помолчал. К. прислушивался, не идет ли Лени. С одной стороны, он не хотел, чтобы она приходила, потому что у него было еще много вопросов и было нежелательно, чтобы Лени застала его за этим доверительным разговором с коммерсантом, но, с другой стороны, его злило, что она, несмотря на то, что он здесь, так долго остается у адвоката — намного дольше, чем нужно для того, чтобы подать суп.

— Я еще хорошо помню то время, — снова заговорил коммерсант, и К. немедленно обратился в слух, — когда мой процесс был примерно в том же возрасте, как теперь ваш. У меня был тогда только этот адвокат, но я не слишком был им доволен.

Вот сейчас-то я все и узнаю, подумал К. и оживленно закивал головой, словно мог этим подбодрить коммерсанта, чтобы тот сказал все,

что нужно.

— Мой процесс, — продолжал коммерсант, — не продвигался, хотя расследования проводились; я на каждое являлся, собирал материалы, представил в суд все мои бухгалтерские книги, в чем, как я узнал позднее, совсем не было необходимости, снова и снова бегал к адвокату, и он подавал разные заявления…

— Разные заявления? — переспросил К.

— Конечно, — сказал коммерсант.

— Это для меня очень важно, — сказал К., — в моем случае он все еще работает над первым заявлением. Он ничего еще не сделал. Теперь я вижу, что он нагло пренебрегает мной.

— Могут быть разные основательные причины, по которым заявление еще не готово, — сказал коммерсант. — Кстати, мои заявления, как потом выяснилось, совершенно ничего не стоили. Я даже, благодаря любезности одного судейского чиновника, сам читал одно из них. Оно было хотя и ученым, но, по существу, бессодержательным. Во-первых, очень много латыни, которой я не понимаю, потом на целые страницы общие обращения к суду, потом похвалы в адрес каких-то отдельных чиновников, имена которых хотя и не назывались, но посвященный, наверное, должен

был их угадать, потом похвалы адвоката самому себе, в которых он буквально по-собачьи ползал перед судом на брюхе, и, наконец, исследования судебных дел всех времен, которые должны были чем-то напоминать мое. Впрочем, эти исследования, насколько я мог понять, были выполнены очень тщательно. Я вовсе не хочу всем этим дать какую-то оценку работе этого адвоката, к тому же то заявление, которое я читал, было только одним из многих, но как бы там ни было — именно это я хочу сейчас сказать, — я тогда не видел никакого продвижения моего процесса.

— А какое продвижение вы хотели увидеть? — спросил К.

— Вполне разумный вопрос, — сказал, усмехаясь, коммерсант, — в таких делах очень редко можно увидеть какое-то продвижение. Но тогда я этого не знал. Я коммерсант, а тогда был им еще значительно больше, чем сейчас, я хотел ощутимого продвижения, все должно было уже близиться к концу или хотя бы надлежащим образом развиваться. Вместо этого шли одни только расспросы, по большей части об одном и том же, ответы я уже выучил, как молитву; посыльные из суда приходили по нескольку раз на неделе в мою контору, ко мне на квартиру или еще ку-

да-нибудь, где можно было меня встретить, это, естественно, мешало (сейчас по крайней мере в этом отношении стало немного лучше, телефонные звонки мешают значительно меньше), к тому же и среди моих деловых партнеров и, в особенности, среди моих родственников начали распространяться слухи о моем процессе, то есть неприятности сыпались со всех сторон, и при этом не было ни малейших признаков того, что в ближайшее время состоится хотя бы первое слушание дела. Тогда я пошел к адвокату и высказал ему мои претензии. Он, правда, долго давал мне разъяснения, но решительно отказался сделать что-то так, как хотел я, заявив, что никто не может повлиять на назначение слушания, и настаивать на этом в заявлении, как я требовал, было бы просто неслыханным делом и погубило бы и меня, и его. Тогда я подумал: то, что не может или не хочет сделать этот адвокат, сможет или захочет сделать другой. И начал подыскивать других адвокатов. Хочу сразу предупредить: ни один из них не потребовал и не добился основного слушания, это — по крайней мере с той оговоркой, о которой я еще скажу, — действительно невозможно, в этом пункте адвокат меня не обманул, но в остальном мне не пришлось пожалеть о том, что я обратился

еще и к другим адвокатам. Вы, наверное, тоже могли уже многое услышать от доктора Пьета об этих теневых адвокатах; по всей вероятности, в его изображении они выглядели весьма презренными, и они действительно такие. Правда, в его рассказы о них, когда он сравнивает их с собой и своими коллегами, всегда вкрадывается одна маленькая ошибка, на которую я — просто к слову — хочу все же обратить ваше внимание. Он в таких случаях всегда называет адвокатов своего круга, в отличие от прочих, «крупными адвокатами». Это неправда; то есть, конечно, каждый может назвать себя «крупным», если ему так хочется, но в данном случае решает все-таки только судебное словоупотребление, а согласно этому употреблению, помимо теневых адвокатов, имеются еще мелкие и крупные. Но этот адвокат и его коллеги — всего лишь мелкие адвокаты, а крупные, которых я никогда не видел и о которых только слышал, по своему рангу несравненно больше возвышаются над мелкими, чем эти мелкие над презираемыми ими теневыми.

— Крупные адвокаты? — переспросил К. — Кто это такие? Как к ним попасть?

— Так вы никогда еще о них не слышали, — сказал коммерсант. — Нет такого обвиняемого,

который бы, узнав о них, какое-то время о них не мечтал. Но вы лучше не обольщайтесь. Кто эти крупные адвокаты, я не знаю, а попасть к ним, по-видимому, вообще нельзя. Я не знаю ни одного дела, о котором можно было бы с уверенностью сказать, что они в нем участвовали. Они многих защищают, но вашего желания тут недостаточно, они защищают только тех, кого хотят защищать. Правда, дела, которые они берут, должны, видимо, уже выйти за рамки суда нижней инстанции. Вообще же, лучше о них совсем не думать, потому что иначе консультации с другими адвокатами, их советы и их защитительные усилия начнут вызывать такое отвращение и покажутся такими бесполезными, — я сам это пережил, — что захочется все бросить, улечься дома в кровать и накрыться с головой. Но, естественно, это было бы уже глупее всего, да и в кровати покой тоже был бы недолгим.

— Значит, вы тогда не думали о крупных адвокатах? — спросил К.

— Какое-то время думал, — сказал коммерсант и опять усмехнулся, — совсем о них не думать, к сожалению, невозможно, и в особенности ночь словно создана для таких мыслей. Но я ведь тогда хотел немедленного результата, поэтому я пошел

к теневым адвокатам.

— Как вы тут сидите друг с дружкой! — воскликнула Лени, которая уже вернулась и остановилась с подносом в дверях.

Они действительно сидели так близко друг к другу, что при малейшей попытке повернуться должны были стукнуться головами; коммерсант, кроме того что был маленький, еще и сидел, согнув спину, и К., чтобы все услышать, тоже был вынужден низко сгибаться.

— Да погоди ты! — крикнул К., отгоняя Лени, и нетерпеливо дернул рукой, которой он все еще накрывал руку коммерсанта.

— Он хочет, чтобы я ему рассказал о моем процессе, — пояснил коммерсант Лени.

— Ну, расскажи, расскажи, — отозвалась та.

Она разговаривала с коммерсантом дружелюбно, но в то же время и свысока. К. это не понравилось; как он теперь узнал, этот человек все же чего-то стоил, во всяком случае, у него был опыт, который он хорошо передавал. Лени, по всей видимости, судила о нем неверно. Теперь К. с раздражением смотрел на то, как Лени забрала у коммерсанта свечу, которую тот все это время держал в руке, отерла его руку передником и затем опустилась перед ним на колени, чтобы

сцарапать капельки воска, упавшие со свечи на его брюки.

— Вы хотели рассказать мне о теневых адвокатах, — напомнил К. и без лишних слов оттолкнул руку Лени.

— Что тебе надо? — спросила Лени, слегка стукнула К. и продолжила свою работу.

— Да, о теневых адвокатах, — сказал коммерсант и провел рукой по лбу, словно размышляя.

К., желая ему помочь, сказал:

— Вы хотели немедленного результата и поэтому обратились к теневым адвокатам.

— Совершенно верно, — сказал коммерсант, но дальше не продолжал.

Он, может быть, не хочет говорить об этом при Лени, подумал К., сдержал свое нетерпеливое желание прямо сейчас услышать продолжение и теперь уже больше не торопил коммерсанта.

— Ты доложила обо мне? — спросил он Лени.

— Разумеется, — сказала она. — Он тебя ждет. Что ты вцепился в Блока, с Блоком ты можешь и потом поговорить, он же остается здесь.

К. все еще колебался.

— Вы остаетесь здесь? — спросил он коммерсанта; он хотел услышать ответ от него самого, он не хотел, чтобы Лени говорила о коммерсанте,

как об отсутствующем; он вообще был сегодня переполнен тайным раздражением против Лени. И вновь ответила одна Лени:

— Он частенько здесь ночует.

— Ночует? — воскликнул К.; он думал, что коммерсант просто подождет здесь, пока он быстро закончит свои переговоры с адвокатом, а потом они вместе уйдут отсюда и все основательно и без помех обсудят.

— Да, — сказала Лени, — не каждый, как ты, Йозеф, в любой час допускается к адвокату. Ты, кажется, даже нисколько и не удивляешься, что адвокат в одиннадцать часов ночи, несмотря на свою болезнь, все-таки тебя принимает. То, что делают для тебя твои друзья, ты принимаешь как слишком уж само собой разумеющееся. Впрочем, твои друзья делают это с удовольствием, по крайней мере я. Я не хочу никакой благодарности, да мне и не нужна никакая, мне нужно только, чтобы ты меня любил.

Любил тебя? — подумал К. в первый момент, и только потом сообразил: ну, да, я ее люблю. Тем не менее, оставляя без внимания все остальное, он сказал:

— Он принимает меня, потому что я его клиент. Если бы еще и для этого требовалась посторонняя

помощь, тогда вообще на каждом шагу приходилось бы клянчить и благодарить одновременно.

— Какой он сегодня противный, да? — обратилась Лени к коммерсанту.

Теперь уже я — отсутствующий, подумал К. и даже почти разозлился на коммерсанта, когда тот, перенимая эту невежливость Лени, сказал:

— Адвокат принимает его еще и по другой причине. Дело в том, что его случай интереснее моего. Но, кроме того, его процесс еще в самом начале, значит, скорей всего, еще не очень запутан, поэтому адвокат еще с удовольствием им занимается. Потом все пойдет по-другому.

— Да-да, — сказала Лени и насмешливо посмотрела на коммерсанта, — тебе бы только поболтать. Ему на самом деле, — при этих словах она повернулась к К., — вообще нельзя верить. Насколько он милый, настолько же и болтливый. Может быть, еще и поэтому адвокат его терпеть не может. Во всяком случае, он принимает его только под настроение. Я уж как только ни старалась, но изменить это невозможно. Представь себе, иной раз я докладываю о Блоке, а он принимает его только на третий день после этого. Но если в тот момент, когда он его вызывает, Блока нет на месте, то все пропало, и нужно до-

кладывать о нем заново. Поэтому я и позволила Блоку здесь спать, ведь уже бывало, что адвокат звонил и требовал его ночью. А теперь Блок готов и ночью. Правда, иногда бывает и так, что, когда выясняется, что Блок здесь, адвокат отменяет свое распоряжение и не принимает его.

К. вопросительно посмотрел на коммерсанта. Тот кивнул и, возможно, забывшись от унижения, с той же откровенностью, с какой до этого говорил с К., сказал:

— Да, со временем становишься очень зависимым от своего адвоката.

— Это он только для вида жалуется, — сказала Лени. — А на самом деле он очень доволен тем, что ночует здесь, как он мне уже не раз признавался.

Она подошла к какой-то маленькой двери и распахнула ее.

— Хочешь посмотреть на его спальню? — спросила она.

К. подошел и заглянул с порога в низкое, без окон, помещение, целиком заполненное узкой кроватью. Залезать в эту кровать нужно было через спинку. В углублении стены у изголовья кровати были аккуратно размещены свеча, чернильница, перо и перевязанная пачка бумаг

— очевидно, документы процесса.

— Вы спите в комнате горничной? — спросил К., повернувшись к коммерсанту.

— Лени уступила мне ее, — ответил коммерсант, — это очень удобно.

К. долгим взглядом посмотрел на коммерсанта; то первое впечатление, которое у него сложилось об этом человеке, по-видимому, все-таки было правильным: да, опыт у него был, поскольку процесс длился уже долго, но за этот опыт он дорого заплатил. Неожиданно К. почувствовал, что не может больше выносить вида этого коммерсанта.

— Так уложи его спать! — крикнул он Лени, которая его, кажется, совершенно не поняла.

Сам же К. направился к адвокату, намереваясь его увольнением освободить себя не только от адвоката, но и от Лени, и от этого коммерсанта. Но он даже еще не успел дойти до двери, когда коммерсант тихим голосом обратился к нему:

— Господин прокурист.

К. сердито обернулся.

— Вы забыли ваше обещание, — сказал коммерсант и просительно наклонился па своем стуле в сторону К. — Вы хотели еще открыть мне одну тайну.

— Да, верно, — сказал К. и тоже скользнул взглядом по Лени, которая внимательно на него смотрела, — ну, слушайте; это, впрочем, почти уже и не тайна. Я иду сейчас к адвокату, чтобы отстранить его.

— Он его отстраняет! — вскрикнул коммерсант, вскочил со стула и, воздев руки, забегал по кухне, то и дело восклицая: — Он отстраняет адвоката!

Лени хотела тут же наброситься на К., но коммерсант, попавшись на дороге, помешал ей, за что получил тычок кулаками. Затем, так и не разжав кулаки, она побежала вслед за К., но тот двигался со значительным опережением. Лени настигла его, когда он уже вошел в комнату адвоката. Он почти уже закрыл за собой дверь, но Лени, успев вставить в дверь ногу, закрыть ее не дала, схватила его за руку и попыталась вытащить из комнаты. Однако он с такой силой сжал ее запястье, что она, застонав, вынуждена была отпустить его. Сразу войти в комнату она не решилась, и К., повернув в замке ключ, запер

дверь.[14]

— Я давно уже вас ожидаю, — сказал из кровати адвокат, положил на ночной столик какую-то бумагу, которую он читал при свече, надел очки и пристально посмотрел на К.

Вместо того чтобы извиниться, К. сказал:

— Я ненадолго.

Поскольку это не было извинением, адвокат оставил замечание К. без внимания и сказал:

— Впредь в столь позднее время я вас больше принимать не буду.

— Это совпадает с моими намерениями, — сказал К.

Адвокат посмотрел на него вопросительно.

— Садитесь, — сказал он.

— Если угодно, — сказал К., пододвинул стул к ночному столику и уселся.

— Мне показалось, что вы заперли дверь, — сказал адвокат.

— Да, — сказал К., — это из-за Лени.

---

[14] Примечания: 14

Вычеркнуто автором:

В комнате было совсем темно, по-видимому, на окнах висели тяжелые гардины из плотной материи, не пропускавшие никакого света. Легкое возбуждение бега еще владело К., и он бессознательно сделал несколько длинных шагов. Только после этого он остановился и обнаружил, что совершенно не понимает, в какой части комнаты находится. Адвокат, во всяком случае, уже спал, и дыхания его не было слышно, поскольку он имел обыкновение накрываться периной с головой.

Он не собирался никого щадить. Но адвокат спросил:

— Она опять была навязчива?

— Навязчива? — переспросил К.

— Да, — сказал адвокат, при этом он засмеялся, зашелся в приступе кашля и, когда кашель прошел, снова начал смеяться. — Вы ведь, я полагаю, уже заметили ее навязчивость? — спросил он и хлопнул К. по руке, которой К. в рассеянности оперся о ночной столик и которую теперь резко отдернул. — Вы не придаете этому большого значения, — сказал адвокат, поскольку К. молчал, — тем лучше. А то бы мне пришлось, пожалуй, перед вами извиняться. Это такая странность у Лени, которую я, впрочем, давно уже ей простил и о которой не стал бы и говорить, если бы вы сейчас не заперли дверь. Эта странность — собственно, вам я, по-видимому, менее всего должен был бы ее объяснять, но вы смотрите на меня с таким недоумением, — эта странность состоит в том, что большинство обвиняемых кажутся Лени красивыми. Она на всех виснет, всех любит — впрочем, кажется, и любима всеми — и потом, при случае, если я ей это позволяю, рассказывает мне об этом, чтобы меня развлечь. У меня все это отнюдь не вызывает такого удив-

ления, какое, кажется, испытываете вы. Если правильно посмотреть на это, то обнаружится, что обвиняемые в самом деле часто красивы. Это, впрочем, любопытное, в какой-то мере естественнонаучное явление. Разумеется, никакого явного, точно определимого изменения внешности в результате обвинения не происходит. Здесь ведь все обстоит не так, как в других судебных делах, здесь большинство клиентов сохраняют свой привычный образ жизни и, если имеют хорошего адвоката, который за них хлопочет, сами процессом не занимаются. И тем не менее те, у кого есть опыт в таких вещах, способны в любой толпе опознавать обвиняемых одного за другим. По какому признаку, спросите вы. Мой ответ вас не удовлетворит. Обвиняемыми как раз и будут самые красивые. Что же делает их красивыми? вина? но этого не может быть, поскольку не все ведь виновны — во всяком случае, я как адвокат должен так говорить; но, может быть, предстоящее заслуженное наказание уже сейчас делает их красивыми? нет, поскольку все-таки не все будут наказаны; таким образом, это может быть связано только с возбуждением против них дела, которое каким-то образом накладывает на них свой отпечаток. Разумеется, среди этих красивых

есть те, кто особенно красив, но красивы все, даже этот жалкий червяк Блок.

К концу этой речи К. обрел уже полное спокойствие, при последних словах адвоката он даже стал заметно кивать головой, словно клевать, подтверждая самому себе правильность своего прежнего мнения, согласно которому адвокат всегда — и в этот раз тоже — старался общими, не относящимися к делу рассуждениями отвлечь его и увести от главного вопроса о той фактической работе, которую он выполнил по делу К. Видимо, адвокат заметил, что К. в этот раз оказывал ему большее, чем обычно, сопротивление, так как оборвал свою речь, предоставляя К. возможность высказаться, но К. не нарушал молчания, и адвокат спросил:

— Вы сегодня пришли ко мне с каким-то определенным намерением?

— Да, — сказал К. и слегка заслонил рукой свечу, чтобы лучше видеть адвоката, — я хотел вам сказать, что с сегодняшнего дня я изымаю у вас полномочия представительства.

— Правильно ли я вас понимаю? — спросил адвокат, поднявшись в кровати и опершись локтем на подушки.

— Думаю, да, — сказал К., напряженно подо-

бравшись, словно сидел в засаде.

— Ну, что ж, мы можем обсудить и этот план, — сказал, помолчав, адвокат.

— Это уже не план, — сказал К.

— Возможно, — сказал адвокат, — тем не менее мы не должны проявлять излишней поспешности.

Он сказал «мы», словно не собирался отпускать К. на свободу и намерен был — если уж не мог быть его представителем — по крайней мере, оставаться его советником.

— Это не поспешность, — сказал К., медленно поднялся и встал за спинкой своего стула, — это то, что хорошо и, может быть, даже слишком долго обдумывалось. Это — окончательное решение.

— Тогда позвольте сказать вам всего лишь несколько слов, — сказал адвокат, откинул перину и сел на краю кровати.

Его голые, покрытые седыми волосками ноги дрожали в ознобе. Он попросил К. подать ему с дивана плед. К. принес плед и сказал:

— Вы совершенно напрасно подвергаете себя риску простуды.

— Повод достаточно серьезен, — сказал адвокат, укутывая периной верхнюю часть тела и затем обертывая ноги пледом. — Ваш дядя — мой

друг, да и к вам я за это время привязался. Я открыто в этом признаюсь. У меня нет причин этого стыдиться.

Эти трогательные речи старого человека были К. чрезвычайно неприятны, поскольку вынуждали его давать подробные объяснения, которых он предпочел бы избежать, а кроме того, такие речи — он откровенно себе в этом признавался — смущали его, хотя, конечно, никак не могли заставить его изменить свое решение.

— Я благодарю вас за ваше дружеское расположение, — сказал он, — и я понимаю, что вы занимались моим делом настолько активно, насколько это было для вас возможно и насколько вы полагали это полезным для меня. Я, однако, пришел в последнее время к убеждению, что этого недостаточно. Я, естественно, ни в коем случае не стану делать попыток убедить вас, человека, который настолько старше и опытнее меня, принять мою точку зрения, и если я иногда непроизвольно делал такие попытки, то прошу меня простить; дело, однако, как вы сами выразились, достаточно серьезно, и, по моему убеждению, требуется значительно более энергичное вмешательство в процесс, чем то, которое имело место до сих пор.

— Я понимаю вас, — сказал адвокат, — вы нетерпеливы.

— Я не нетерпелив, — сказал К., несколько раздражаясь и менее тщательно подбирая слова. — Еще при моем первом посещении, когда я пришел к вам с дядей, вы могли заметить, что этот процесс не был для меня так уж важен, и, когда мне не напоминали о нем в каком-то смысле насильно, я вообще о нем забывал. Но дядя настаивал на том, чтобы я поручил вам представительство, и я сделал это для его удовольствия. Ну, а после этого все-таки можно было ожидать, что процесс пойдет для меня как-то легче, чем раньше, поскольку полномочия представительства передают адвокату, собственно, для того, чтобы как-то облегчить себе тяжесть процесса. Произошло же прямо противоположное. С тех пор, как вы стали меня представлять, у меня появилось столько забот, связанных с процессом, сколько никогда раньше не было. Когда я был один, я ничего не предпринимал по моему делу, но я почти и не замечал его; теперь же, когда у меня появился представитель и все было подготовлено для того, чтобы что-то происходило, я непрерывно и все более напряженно ожидал вашего вмешательства, но его не было. Я, правда,

получал от вас разнообразную информацию о суде, которую я, может быть, ни от кого другого не смог бы получить, но мне этого не могло быть достаточно, когда этот процесс, в буквальном смысле под покровом тайны, подбирался ко мне все ближе.

К. оттолкнул от себя стул и стоял теперь, выпрямившись и засунув руки в карманы сюртука.

— Начиная с некоторого определенного момента времени, — тихо и спокойно[15] произнес адвокат, — в моей практике уже не происходит ничего существенно нового. Сколько уже клиентов, находившихся на подобной стадии процесса, стояли передо мной, подобно вам, и говорили подобные вещи!

— В таком случае, — сказал К., — все эти подобные мне клиенты были точно так же правы, как и я. Этим вы нисколько не опровергаете мои выводы.

— Я не собираюсь этим опровергать их, — сказал адвокат, — но я хотел бы только заметить, что от вас я мог бы ожидать большей способности понимания, чем от других, в особенности потому,

---

[15] Примечания: 15

Вычеркнуто автором:

…словно ожидал проявления каких-то признаков жизни со стороны обвиняемого…

что вам я дал более широкое представление о характере этого суда и моей деятельности, чем я это обычно делаю, работая с клиентом. И несмотря на все это, я вынужден сейчас констатировать, что вы недостаточно мне доверяете. Вы не облегчаете мне этим жизнь.

Как этот адвокат унижался перед К.! И без всякой оглядки на честь сословия, которую, конечно, наиболее чувствительно задевало именно это. Но зачем он это делал? Ведь он, судя по всему, был адвокатом с большой клиентурой и к тому же богатым человеком; ни упущенная выгода, ни потеря клиента сами по себе не могли так уж много для него значить. Кроме того, он хворал и сам должен был бы позаботиться о том, чтобы его освободили от части работы. А он, несмотря на это, так держится за К.! Почему? Что это, проявление личного участия по отношению к дяде, или он в самом деле считает процесс К. таким из ряда вон выходящим и надеется в нем отличиться либо перед К., либо — такой возможности тоже никак не следовало исключать — перед своими друзьями в суде? По его виду ничего нельзя было понять, как ни сверлил его К. бесцеремонно-испытующим взглядом. Могло даже показаться, что адвокат намеренно сделал каменное лицо

и выжидает, когда подействуют его слова. Но, очевидно, он излишне оптимистично истолковал молчание К., поскольку теперь продолжил:

— Вы могли заметить, что, несмотря на наличие большой канцелярии, я не использую помощников. Прежде было не так, было время, когда у меня работало несколько молодых юристов, — сегодня я работаю один. Это связано отчасти с тем, что изменился характер моей практики и я стал все больше ограничивать ее судебными делами вашего типа, отчасти — со все более глубокими познаниями, которые я приобретал в этих делах. Я обнаружил, что я никому не могу перепоручать эту работу, если не хочу погрешить против моего клиента и против той задачи, которую я на себя взял. Но такое решение — выполнять всю работу самому — имело естественные следствия: я вынужден был отклонять почти все просьбы о представительстве и мог откликаться только на те, которые особенно меня трогали; ну, тут вокруг достаточно тварей — и даже совсем близко, — готовых кинуться на каждый кусок, который я выброшу. К тому же от перенапряжения я тогда заболел. Но, несмотря на это, я не сожалею о своем решении; возможно, мне следовало отказывать чаще, чем я это делал, но то, что я целиком

посвящал себя взятым процессам, оказалось безусловно необходимым и было вознаграждено успехами. Я как-то нашел в одной бумаге очень красивое выражение различия, существующего между представительством в обычных судебных делах и представительством в таких делах. Там говорилось: один адвокат ведет своего клиента к приговору на ниточке, тогда как другой сразу сажает клиента себе на плечи и несет его, не ссаживая, к приговору и даже дальше. Так оно и есть. Но когда я говорил, что ни разу не пожалел о большой проделанной работе, это было не совсем верно. Когда она встречает так мало понимания, как в вашем случае, тогда — да, тогда я о ней почти жалею.

Все эти речи не столько убедили К., сколько истощили его терпение.[16] В интонациях адвоката он, как ему казалось, каким-то образом

[16] Примечания: 16

Вычеркнуто автором:

— Вы не откровенны со мной и никогда не были со мной откровенны. Поэтому вы не можете жаловаться на то, что вас, по крайней мере с вашей точки зрения, не понимают. Вот я откровенен и поэтому не боюсь, что меня не понимают. Вы перетянули мой процесс на себя якобы для того, чтобы полностью освободить меня, но мне теперь уже почти что кажется, что вы не только плохо вели его, но, не предпринимая ничего серьезного, пытались скрывать его от меня, чтобы предотвратить мое вмешательство и чтобы в мое отсутствие в один прекрасный день где-нибудь был вынесен приговор. Я не говорю, что вы всего этого хотели…

расслышал, что́ его ждет, если он уступит: снова начнутся утешения, намеки на продвинувшееся заявление, на улучшившееся настроение судейских чиновников, но также — и на большие трудности, которые мешают работе, — короче, все то, что было уже до тошноты знакомо, будет извлечено вновь, чтобы снова морочить К. неопределенными надеждами и терзать неопределенными угрозами. С этим надо было кончать раз и навсегда, поэтому он сказал:

— Что вы намерены предпринять по моему делу, если останетесь моим представителем?

Адвокат проглотил даже такой оскорбительный вопрос и ответил:

— Продолжать дальше то, что я уже предпринял для вас.

— Так я и знал, — сказал К., — ну, тогда всякие дальнейшие разговоры излишни.

— Я сделаю еще одну попытку, — сказал адвокат так, словно раздражение, возникшее у К., прорвалось не у К., а у него. — У меня, видите ли, есть предположение, что причиной не только вашей ошибочной оценки моей правовой помощи, но и вашего поведения в целом стало то, что с вами, хотя вы обвиняемый, слишком хорошо обращаются, или, правильнее сказать,

пренебрежительно, — как бы пренебрежительно обращаются. Последнее тоже имеет свою причину; зачастую лучше быть в цепях, чем на свободе. Но я хотел бы вам показать, как обращаются с другими обвиняемыми; быть может, это вас чему-нибудь научит. А конкретно, я вызову сейчас Блока; отоприте дверь и сядьте здесь, около ночного столика.

— Извольте, — сказал К. и сделал то, что потребовал адвокат: учиться он был всегда готов. Однако для гарантии, на всякий случай, еще спросил:

— Но вы приняли к сведению, что полномочия представительства я у вас изъял?

— Да, — сказал адвокат, — но сегодня у вас еще есть возможность вернуть их.

Он снова улегся в кровать, натянул перину до подбородка и отвернулся к стене. После этого он позвонил.

Лени появилась почти одновременно со звонком; быстро оглядевшись, она попыталась понять, что здесь произошло; вид К., спокойно сидящего у кровати адвоката, кажется, подействовал на нее успокаивающе. Она усмехнулась и кивнула К., смотревшему на нее неподвижным взглядом.

— Приведи Блока, — сказал адвокат.

Но она, вместо того чтобы привести его, только подошла к двери, крикнула: «Блок! К адвокату!» — и, очевидно, пользуясь тем, что адвокат по-прежнему лежал, отвернувшись к стене, и ни на что не обращал внимания, проскользнула за спинку стула К. С этого момента она начала мешать К., то наклоняясь вперед над спинкой стула, то ероша — впрочем, очень осторожно и нежно — его волосы, то проводя ладонями по его щекам. В конце концов К. попытался это прекратить, поймав одну ее руку, которую она после некоторого сопротивления оставила ему.

Блок явился на зов сразу, но остановился перед дверью и, казалось, не решался войти. Он приподнял брови и наклонил голову, словно прислушивался, не повторится ли приказ. К. мог бы сделать ему знак войти, но он решил окончательно порвать не только с адвокатом, но и со всем остальным в этой квартире, поэтому оставался неподвижен. И Лени молчала. Блок, заметив, что его по крайней мере никто не гонит, на цыпочках, с напряженным лицом и судорожно сцепленными за спиной руками, вошел в комнату. Дверь он оставил открытой для возможного отступления. На К. он даже не взглянул, он смотрел только на

высокую перину, под которой адвоката, лежавшего совсем близко к стене, даже не было видно. Но зато раздался его голос:

— Блок здесь? — спросил он.

Блока, который зашел уже довольно далеко, этим вопросом буквально толкнуло в грудь и затем — в спину; покачнувшись, он низко согнулся и, оставаясь в таком положении, сказал:

— К вашим услугам.

— Что тебе надо? — спросил адвокат. — Не вовремя пришел.

— Меня разве не звали? — спросил Блок более себя самого, чем адвоката, выставил перед собой руки, защищаясь, и был уже готов выбежать вон.

— Тебя звали, — сказал адвокат, — тем не менее, ты пришел не вовремя, — и после паузы прибавил: — Ты всегда приходишь не вовремя.

С того момента, как адвокат заговорил, Блок уже не смотрел в сторону кровати, он уставился куда-то в угол и только вслушивался в голос, словно вид говорящего был слишком ослепителен, чтобы он мог его вынести. Но и расслышать что-то тоже было трудно, так как адвокат говорил в стену, причем тихо и быстро.

— Желаете, чтобы я ушел? — спросил Блок.

— Ну, раз уж ты здесь, — сказал адвокат, —

оставайся!

Можно было подумать, что адвокат не желание Блока исполнил, а пригрозил ему какой-то карой, потому что теперь Блока уже просто начала бить дрожь.

— Я был вчера, — сказал адвокат, — у третьего судьи, моего приятеля, и постепенно перевел разговор на тебя. Хочешь знать, что он сказал?

— О, пожалуйста, — сказал Блок.

Поскольку адвокат сразу не ответил, Блок еще раз повторил свою просьбу и наклонился, словно собираясь встать на колени. Но тут на него накинулся К.

— Что ты делаешь? — закричал он.

Так как Лени попыталась помешать ему крикнуть, он схватил и вторую ее руку. Он стискивал ей руки, но это не было выражением любви, и она время от времени вздыхала и пыталась вывернуться. Блок, однако, был наказан за этот выкрик К., потому что адвокат спросил его:

— Так кто твой адвокат?

— Вы, — сказал Блок.

— А кроме меня? — спросил адвокат.

— Никого кроме вас, — сказал Блок.

— Тогда и не слушай больше никого, — сказал адвокат.

Блок был целиком с ним согласен, он смерил К. злым взглядом и, глядя на К., возбужденно покачал головой. Переведенные в слова, эти жесты стали бы грубыми ругательствами. И с этим человеком К. собирался дружески обсуждать свое собственное дело!

— Я больше не буду тебе мешать, — сказал К., откидываясь на спинку стула. — Становись на колени или ползай на четвереньках, делай, что хочешь. Мне это безразлично.

Но у Блока все-таки было чувство собственного достоинства, по крайней мере по отношению к К., потому что он подступил к К., размахивая кулаками, и крикнул так громко, как ему только позволяла близость адвоката:

— Вы не можете так разговаривать со мной, так не полагается. Почему вы меня оскорбляете? И к тому же еще здесь, перед господином адвокатом, где нас обоих, и вас, и меня, терпят только из милости. Вы не лучше меня, потому что вы тоже обвиняемый и у вас тоже процесс. А если вы, несмотря на это, все еще «господин», тогда и я такой же господин, если еще не больший. И я хочу, чтобы ко мне так и обращались, и именно вы. А если вы считаете себя привилегированным, потому что можете сидеть тут и спокойно

слушать, в то время как я, как вы выражаетесь, ползаю на четвереньках, так я вам напомню старую юридическую поговорку: для подозреваемого движение лучше покоя, потому что тот, кто не двигается, всегда может, сам того не зная, оказаться на чаше весов и быть взвешенным вместе со своими грехами.

К. ничего не отвечал и лишь пристально вглядывался в этого замороченного человека. Сколько перемен произошло с ним за один только последний час! Неужели это процесс так бросает его из стороны в сторону, не позволяя ему разглядеть, где друг, а где враг? Неужели он не видит, что адвокат унижает его намеренно, причем в этот раз — с единственной целью: похвалиться перед К. своей властью и тем самым, может быть, подчинить ей и К.? Но если Блок был не способен это понять или если он так сильно боялся адвоката, что это понимание не могло ему помочь, то как же у него хватало хитрости — или дерзости — в то же время обманывать адвоката и скрывать от него, что он нанял, кроме него, еще и других адвокатов? И как он осмеливался наскакивать на К., когда тот ведь мог тут же, не сходя с места, выдать его тайну? Но он осмелился и на большее, он подошел к кровати адвоката и начал теперь

уже там жаловаться на К.:

— Господин адвокат, — говорил он, — вы слышали, как этот человек со мной разговаривает? Часы его процесса еще можно по пальцам пересчитать, а он уже берется поучать меня, человека, который пять лет находится в процессе. Еще и ругается на меня. Сам ничего не знает, а меня ругает, в то время как я, насколько хватило моих слабых сил, изучил в подробностях, чего требуют приличия, долг и судебные обычаи.

— Не слушай никого, — сказал адвокат, — и делай то, что считаешь правильным.

— Конечно, — сказал Блок, словно ободряя самого себя, и затем, бросив короткий взгляд в сторону, опустился на колени у самой кровати. — Я уже на коленях, мой адвокат, — сказал он.

Но адвокат молчал. Блок осторожно погладил одной рукой перину.[17] В воцарившейся тишине Лени, высвобождаясь из рук К., сказала:

— Ты делаешь мне больно. Пусти меня. Я пойду

---

[17] Примечания: 17

Вычеркнуто автором:

Трудно было удержаться, чтобы не рассмеяться сейчас над Блоком. Лени, пользуясь тем, что К. отвлекся, оперлась локтями — К. по-прежнему не выпускал ее руки — на спинку его стула и начала слегка раскачивать его; К. поначалу не обратил на это внимания, он наблюдал за тем, как осторожно Блок приподнимал край перины — очевидно, для того, чтобы отыскать руки адвоката, которые он собирался целовать.

к Блоку.

Она подошла к нему и села на край кровати. Блок был чрезвычайно обрадован ее приходом и сразу же возбужденно, но молча, знаками, попросил ее вступиться за него перед адвокатом. Ему явно очень нужны были сведения адвоката, но, возможно, лишь для того, чтобы использовать их через других своих адвокатов. Лени, по-видимому, точно знала, как подступиться к адвокату, она указала на его руку и вытянула губы, изображая поцелуй. Блок немедленно поцеловал эту руку и затем, по указанию Лени, поцеловал еще раз. Но адвокат по-прежнему молчал. Тогда Лени, вытянувшись всем телом (при этом стало заметно, какая красивая у нее фигура), наклонилась над адвокатом и, низко нагнувшись к самому его лицу, провела рукой по его длинным седым волосам. И это заставило его наконец ответить:

— Я не знаю, надо ли ему это говорить, — сказал адвокат; было видно, как он слегка встряхивает головой, — возможно, для того, чтобы сильнее ощутить прикосновение Лениной руки.

Блок прислушивался, опустив голову, словно подслушивал, зная, что преступает запрет.

— Почему же ты не знаешь? — спросила Лени.

У К. было такое чувство, словно он слушает за-

ученный диалог, который уже не раз повторялся в прошлом, и еще не раз повторится в будущем, и только для Блока никогда не потеряет своей новизны.

— Как он сегодня вел себя? — спросил вместо ответа адвокат.

Перед тем как высказать свое мнение на этот счет, Лени опустила взгляд вниз на Блока и некоторое время смотрела, как тот поднимает и простирает к ней руки, умоляюще потирая ладони. Наконец она важно кивнула, повернулась к адвокату и сказала:

— Он был тихим и прилежным.

Пожилой коммерсант, мужчина с длинной бородой вымаливал у молоденькой девушки благосклонный отзыв. Даже если у него и были при этом какие-то задние мысли, ничто не могло оправдать его в глазах другого человека. К. не понимал, как мог адвокат надеяться завоевать его доверие этим представлением; если бы К. не уволил его еще раньше, адвокат добился бы этого такой сценой. Она была почти оскорбительной для зрителя. Значит, методы адвоката оказывают такое воздействие — К., к счастью, подвергался ему недостаточно долго, — что клиент в конце концов забывает все на свете и только надеется,

следуя этим ошибочным курсом, дотянуть до конца процесса. Это был уже не клиент, это была собака адвоката. И если бы адвокат ему приказал заползти под кровать, как в собачью конуру, и лаять оттуда, он бы с радостью это сделал. К. слушал все, что здесь говорилось, с высокомерным чувством экзаменатора, словно имел задание все точно запомнить и представить в некую высшую инстанцию донесение и отчет об услышанном.

— Что он делал весь этот день? — спросил адвокат.

— Я заперла его, — сказала Лени, — чтобы он не мешал мне работать, в комнате для прислуги, где он обычно и находится. Через окошко я время от времени смотрела, чем он там занимается. Он все время стоял на коленях на кровати и, разложив на подоконнике бумаги, которые ты ему дал, читал их. Это произвело на меня хорошее впечатление, потому что окно там выходит в вентиляционную шахту и почти не дает света. А Блок, несмотря на это, читал, вот я и увидела, как он послушен.

— Рад это слышать, — сказал адвокат. — Но он читал с пониманием?

Блок во время этого разговора беспрерывно шевелил губами, очевидно, проговаривая про себя ответы, которые надеялся услышать от Лени.

— На это я, естественно, не могу ответить с уверенностью, — сказала Лени. — Во всяком случае, я видела, что читает он основательно. Он весь день читал одну и ту же страницу и, читая, водил пальцем по строчкам. И всякий раз, когда я к нему заглядывала, он так вздыхал, словно читать это было ему очень тяжело. По-видимому, бумаги, которые ты ему дал, трудно понять.

— Да, — сказал адвокат, — это уж точно. Да я и не думаю, чтобы он в них что-нибудь понял. Они должны были только дать ему представление о том, как тяжела борьба, которую я веду, защищая его. И ради кого я веду эту тяжелую борьбу? Ради — смешно сказать, — ради Блока. Так он должен научиться понимать, что́ это значит. Он занимался без перерывов?

— Почти без перерывов, — ответила Лени, — только один раз попросил у меня воды попить, и я ему подала через окошко стакан. А потом в восемь часов выпустила и дала ему немного поесть.

Блок искоса взглянул на К. так, словно о нем сейчас рассказывали что-то похвальное, что должно было произвести впечатление и на К. У него, кажется, появились теперь неплохие надежды, движения его стали свободнее, он ерзал

на коленях из стороны в сторону. Тем заметнее было, как он окаменел при следующих словах адвоката:

— Ты его хвалишь, — сказал адвокат. — Но именно поэтому мне и трудно говорить. Потому что судья высказался в неблагоприятном смысле и о самом Блоке, и о его процессе.

— В неблагоприятном? — переспросила Лени. — Как это может быть?

Блок смотрел на нее таким напряженным взглядом, словно верил в то, что смысл этих уже давно сказанных судейских слов она еще может сейчас изменить в его пользу.

— В неблагоприятном, — повторил адвокат. — Ему было неприятно даже то, что я вообще заговорил о Блоке. «Не говорите мне о Блоке», сказал он. «Он мой клиент», сказал я. «Вы позволяете ему использовать вас», сказал он. «Я не считаю его дело проигранным», сказал я. «Вы позволяете ему использовать вас», повторил он. «Я так не думаю», сказал я, — «Блок старателен в процессе и все время занимается своим делом. Он, можно сказать, живет со мной в моем доме, чтобы не прерывать процессуальной связи. Такое рвение не всегда встретишь. Конечно, лично он неприятен, у него отвратительные манеры

и он нечистоплотен, но в отношении процесса — безупречен». Я сказал «безупречен», это было намеренное преувеличение. На это он ответил: «Блок просто хитрый. Он набрался опыта и знает, как затянуть процесс. Но его невежество все еще намного больше его хитрости. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что его процесс вообще еще не начат, если бы ему сказали, что еще даже звонка к началу его процесса не было». Спокойно, Блок, — сказал адвокат, поскольку Блок в этот момент начал подниматься на дрожащие ноги, явно собираясь просить разъяснений.

И тут адвокат впервые обратил свой монолог непосредственно к нему, устремив усталый взгляд то ли в пространство, то ли вниз на Блока, который под этим взглядом снова медленно опустился на колени.

— Это высказывание судьи, — сказал адвокат, — не имеет для тебя вообще никакого значения. И нечего вздрагивать от каждого слова. Если это еще раз повторится, я вообще ничего больше не буду тебе передавать. Стоит только рот раскрыть, и ты уже смотришь так, как будто сейчас тебе будет объявлен окончательный приговор. Хоть бы здесь, перед моим клиентом постыдился! К тому же ты разрушаешь те надежды, которые он

на меня возлагает. Что тебе вообще надо? Ты все еще жив и все еще находишься под моей защитой. Бессмысленный страх! Ты где-то вычитал, что в некоторых случаях окончательный приговор может быть оглашен неожиданно, любым человеком, в любой момент. Это — разумеется, со многими оговорками — справедливо, но точно так же справедливо и то, что твой страх мне отвратителен и что я в нем усматриваю отсутствие необходимого доверия. Что я, собственно, такого сказал? Я передал высказывание одного судьи. А тебе известно, что различных воззрений на судопроизводство нагромождено столько, что концов не найдешь. К примеру, этот судья принимает за начало производства другой момент, не тот, что я. Несовпадение мнений, только и всего. Есть старинный обычай, по которому на какой-то определенной стадии процесса дается звонок. Согласно воззрениям этого судьи, с этого момента и начинается процесс. Я не могу тебе сейчас рассказывать все, что противоречит этому воззрению, да ты бы этого и не понял, с тебя достаточно того, что многое этому противоречит.

Блок, опустив руки вниз, к меховому коврику, смущенно елозил пальцами в волосках; страх, вызванный высказыванием судьи, заставил его

на время забыть о зависимости от адвоката, он был теперь занят только самим собой, мысленно употребляя во всех формах слова этого судьи.

— Блок, — сказала Лени предупреждающим тоном и слегка приподняла его за ворот сюртука, — сейчас же прекрати пачкать руки и слушай, что говорит адвокат.

(Глава осталась неоконченной.)

Глава девятая
В СОБОРЕ

К. дали поручение показать городские достопримечательности одному очень важному для банка итальянскому контрагенту, который впервые посетил их город. В другое время он, конечно, счел бы такое поручение почетным, но сейчас, когда он только ценой огромного напряжения сил мог еще отстоять свой авторитет в банке, он принял его с неудовольствием. Каждый час, который он отрывал от своей работы, вызывал у него озабоченность; хотя его работоспособность была уже далеко не та, что раньше, и многие часы он проводил, создавая лишь бледную видимость настоящей работы, но тем сильнее было его беспокойство, когда он отлучался со службы. Ему тогда казалось, что он видит, как заместитель директора, который ведь постоянно сидел в засаде, время от времени заходит в его кабинет, садится за его письменный стол, роется в его бумагах, принимает и отбивает у него клиентов, с которыми К. за долгие годы уже почти сдружился, и даже, может быть, отыскивает ошибки, угрозу

которых К. теперь во время работы постоянно чувствовал со всех сторон и которых уже не мог избежать. Поэтому когда его направляли в какую-нибудь местную или, тем более, сравнительно дальнюю, пусть даже очень почетную, командировку — такие задания в последнее время как-то совершенно случайно участились, — у него всякий раз закрадывалось подозрение, что его на некоторое время удаляют из кабинета с целью перепроверить его работу или, по крайней мере, считают, что не так уж он в этом кабинете необходим. От большинства этих поручений он мог бы без труда уклониться, но не решался на это, потому что если его опасения были хоть в самой малой степени обоснованны, такое уклонение от поручений означало бы признание его страха. По этой причине он принимал подобные поручения внешне невозмутимо и даже скрыл серьезную простуду, когда его отправляли в напряженную двухдневную поездку, — только для того, чтобы не подвергаться риску переноса командировки из-за как раз наступившей ненастной осенней погоды. И когда он с жуткой головной болью возвратился из этой поездки, он узнал, что на следующий день ему предстоит вести по городу итальянского контрагента. Искушение отказать-

ся хотя бы только в этот единственный раз было очень велико; ведь то, что ему тут приготовили, не было непосредственно связано с его работой, и хотя исполнение этой общественной обязанности в отношении контрагента само по себе было, несомненно, достаточно важным делом, но только не для К., который прекрасно знал, что удержаться сможет, лишь добившись успехов в работе, и что если это ему не удастся, то пусть он даже очарует итальянца, чего никто от него не ждет, это не поможет; он не хотел даже на один день оказаться выдворенным из своей рабочей зоны, потому что слишком велик был страх, что его уже не пустят обратно, — страх, преувеличенность которого он очень отчетливо сознавал, но освободиться от которого все-таки не мог. Впрочем, в данном случае изобрести какую-то уважительную причину было почти невозможно. Познания К. в итальянском были хоть и не слишком велики, но все же достаточны, решающим, однако, было то, что К. от прежних времен сохранил кое-какие познания в истории искусств; это стало известно в банке (и обросло крайними преувеличениями) благодаря тому, что К. в течение некоторого времени — тоже, впрочем, из чисто деловых соображений — являлся членом

городского общества охраны памятников искусства. А поскольку этот итальянец, по слухам, был любителем искусств, то выбор К. в качестве сопровождающего лица был уже делом само собой разумеющимся.

В это очень промозглое, ненастное утро К., крайне раздраженный перспективой предстоящего дня, пришел на работу уже в семь часов утра, чтобы успеть сделать хоть что-нибудь, прежде чем приход контрагента вырвет все из его рук. К. был очень утомлен, так как полночи провел, штудируя итальянскую грамматику, чтобы немного подготовиться; окно, на котором он в последнее время сидел куда чаще, чем следовало, привлекало его больше, чем письменный стол, но он не поддался искушению и уселся за работу. К сожалению, сразу же вошел экспедитор и сообщил, что господин директор послал его выяснить, не пришел ли господин прокурист, а если пришел, то не будет ли он так любезен пройти в приемную: господин из Италии уже там.

— Иду, — сказал К., запихнул в карман словарик, сунул под мышку альбом городских достопримечательностей, приготовленный в подарок приезжему, и через кабинет заместителя директора направился в директорскую приемную.

Это было очень удачно, что он так рано пришел на работу и может теперь явиться по первому требованию, чего, по-видимому, никто на самом деле от него не ждал. Кабинет заместителя директора, естественно, был пуст, словно была еще глубокая ночь; скорей всего, экспедитор должен был вызвать в приемную и его тоже, но эта попытка не увенчалась успехом. Когда К. вошел в приемную, из глубоких кресел поднялись два господина. Директор дружески улыбнулся, он явно был очень обрадован появлением К. и немедленно представил его. Итальянец крепко пожал К. руку и, улыбаясь, назвал кого-то ранней пташкой. К. не совсем понял, кого он имеет в виду, к тому же это было своеобразное выражение, смысл которого К. угадал лишь с некоторым опозданием. Он ответил несколькими обтекаемыми фразами, на которые итальянец тоже ответил улыбкой и при этом несколько раз нервно пригладил пальцами свои густые сизые усы. Эти усы явно были надушены, К. даже почти сделал попытку приблизиться и понюхать. Все уселись, началась маленькая вводная беседа, и К., испытывая страшную неловкость, обнаружил, что в речи итальянца понимает только отдельные слова. Когда тот говорил совершенно спокойно,

К. понимал почти все, но это были лишь редкие исключения, а по большей части речь итальянца лилась потоком, и он, словно наслаждаясь этим, еще потряхивал головой. Но кроме того, к этим излияниям у него постоянно примешивался какой-то диалект, в котором для К. не было уже ничего итальянского, тогда как директор не только понимал этот язык, но и говорил на нем, что, впрочем, К. мог предвидеть, поскольку итальянец был родом из Южной Италии, а директор там провел несколько лет. Как бы то ни было, К. понял, что для него возможность договориться с итальянцем более чем сомнительна, поскольку и его французский тоже было нелегко понять, к тому же его усы скрывали движения губ, которые могли бы помочь достижению взаимопонимания. К. уже предвидел многочисленные затруднения, но пока что оставил попытки понять итальянца — в присутствии директора, который так легко все понимал, это были ненужные усилия — и ограничился угрюмым созерцанием того, как глубоко и в то же время вольготно итальянец уселся в кресле, как он время от времени обдергивает свой короткий, вызывающе скроенный сюртучок и как он вдруг, вскинув легко изгибающиеся в суставах руки, пытается что-то изобразить, чего

К. не мог понять,[18] хотя, весь подавшись вперед, не сводил глаз с его рук. В конце концов у К., не имевшего иных занятий, кроме механического слежения взглядом за обменом репликами, вновь дало о себе знать прежнее утомление, и он, к собственному своему испугу, но, к счастью, еще вовремя, поймал себя на том, что, в рассеянности, собирался сейчас встать, повернуться и уйти отсюда. Наконец итальянец взглянул на часы и вскочил. Попрощавшись с директором, он устремился к К., причем подлетел так близко, что К. вынужден был отодвинуться вместе с креслом, иначе просто не смог бы встать. Директор, очевидно, понявший по глазам К., какие затруднения К. испытывает в общении с итальянцем, включился в разговор, причем настолько умно и тактично, что выглядело это так, как будто он просто прибавляет от себя маленькие рекомендации, тогда как в действительности он в самой краткой форме пересказывал К. все то, что этот неутомимо его перебивавший итальянец теперь говорил. К. узнал, таким образом, что ита-

---

[18] Примечания: 18

Вычеркнуто автором:

…и что, по крайней мере на первый взгляд — и не зная, о чем он говорил, — можно было принять за падение воды в каком-нибудь фонтане.

льянец должен сейчас заняться еще некоторыми делами, что и вообще в его распоряжении будет совсем немного времени и он ни в коем случае не намерен в спешке обегать все достопримечательности, что, напротив, он предполагает — разумеется, только при условии, что К. будет на это согласен, решение остается целиком за К. — осмотреть только собор, но зато основательно. Он будет необычайно рад возможности произвести этот осмотр в сопровождении столь просвещенного и любезного человека (подразумевался К., который все это время был занят только тем, что пропускал речи итальянца мимо ушей, а теперь старался схватить на лету слова директора), и он просит его, — если это время ему удобно, — через два часа, то есть примерно в десять часов появиться в соборе. Сам он надеется, что он уже определенно сможет прийти туда к этому времени. К. ответил что-то подобающее, итальянец пожал руку сначала директору, затем К., затем еще раз директору и в сопровождении их обоих, уже лишь вполоборота к ним, но все еще не переставая говорить, направился к двери. К. потом еще немного пробыл у директора, который в этот день имел особенно болезненный вид. Он полагал, что должен как-то извиниться перед

К., и сказал (они стояли так близко, что можно было говорить шепотом), что сначала собирался пойти с итальянцем сам, но потом решил — он не указал более определенной причины, — что лучше послать К. Если К. не сможет сразу с первых слов понять итальянца, он не должен смущаться, понимание придет очень скоро, а если он даже многого и не поймет, то и это не так страшно, потому что для итальянца не слишком важно, понимают его или нет. Впрочем, итальянский К. поразительно хорош, и нет сомнений, что они прекрасно найдут с итальянцем общий язык. С этим К. и ушел. Оставшееся у него время он провел, выписывая из словаря редкие слова, которые должны были ему понадобиться для проведения экскурсии по собору. Это была чрезвычайно изнурительная работа; секретари приносили почту, чиновники приходили со всякими вопросами и, увидев, что К. занят, останавливались в дверях, но не уходили, и К. вынужден был их выслушивать, заместитель директора, не упуская случая помешать К., то и дело заходил, брал у него из рук словарь и явно без толку листал его, и даже клиенты, когда раскрывалась дверь, начинали маячить в полутьме приемной и неопределенно кланяться: они пытались обратить на себя вни-

мание, но не были уверены, видят ли их, — все это вращалось вокруг К., словно вокруг центра притяжения, в то время как сам он подбирал нужные слова, потом отыскивал их в словаре, потом выписывал их, потом тренировался в их произнесении и, наконец, старался заучить их наизусть. Но его прежде хорошая память, кажется, совершенно изменила ему, иногда его охватывала такая злость на итальянца, который был причиной этих его трудностей, что он закапывал словарь под горой бумаг с твердым намерением больше не готовиться, но потом понимал, что он все-таки не может молча переходить с итальянцем в соборе от одного произведения искусства к другому, и с еще большей злостью снова откапывал словарь.

Ровно в полдесятого, именно тогда, когда он собирался уходить, раздался телефонный звонок: Лени желала ему доброго утра и осведомлялась о его самочувствии; К. торопливо поблагодарил и сказал, что сейчас совершенно не может пускаться в разговоры, потому что ему надо в собор.

— В собор? — удивилась Лени.

— Да, да, в собор.

— А почему в собор? — спросила Лени.

К. попытался вкратце ей объяснить, но едва он

начал, как Лени неожиданно сказала:

— Они тебя загоняют.

К. не выносил сочувствия, которого он не просил и не ожидал, и коротко попрощался, но, вешая на место трубку, все-таки сказал — то ли себе, то ли далекой девушке, которая его уже не слышала:

— Да, они меня загоняют.

Но теперь уже было поздно, и была уже почти реальной опасность, что он не успеет к назначенному времени. Он поехал на машине, еще успев в последний момент вспомнить об альбоме, передать который у него пока не было возможности и который он поэтому взял теперь с собой; всю дорогу он держал его на коленях и нервно барабанил по нему пальцами. Дождь поутих, но было сыро, холодно и пасмурно, в соборе не много удастся разглядеть, а вот простуда К. очень может разыграться, если придется долго стоять там на холодных плитах. Соборная площадь была совершенно пустынна; К. вспомнилось, что еще маленьким ребенком он обратил внимание на то, что в этом тесном городке на окнах всегда задернуты почти все занавески. Впрочем, в такую погоду, как сегодня, это еще можно было понять. И в соборе, кажется, тоже было пусто; никому,

естественно, не приходило в голову являться сюда в такое время. К. пробежал оба боковых придела и обнаружил только одну закутанную в теплый платок старуху, которая стояла на коленях перед образом девы Марии и смотрела на нее. Вдалеке он успел еще заметить хромоногого служку, исчезнувшего за какой-то дверью в стене. К. не опоздал, как раз когда он входил, пробило десять, но итальянца здесь еще не было. Возвратившись к главному входу, К. некоторое время постоял там в нерешительности и затем совершил под дождем обход собора, чтобы проверить, не поджидает ли его итальянец, может быть, у какого-нибудь бокового входа. Нигде его не было. Может быть, директор неправильно понял назначенное время? Как, вообще, можно было правильно понять этого человека? Но как бы там ни было, К. в любом случае должен был, по крайней мере с полчаса, его подождать. Поскольку он был утомлен и ему хотелось сесть, он снова вошел в собор, заметил на ступенях маленькую подстилку, что-то вроде коврика, подтянул ее носком ботинка к ближайшей скамье, запахнулся поплотнее в пальто, поднял воротник и уселся. От нечего делать он раскрыл альбом и немного полистал его, но вскоре вынужден был оставить

это занятие, потому что в соборе было так темно, что, когда он поднял глаза, он даже в ближайшем приделе почти ничего не смог разглядеть.

Вдали на главном алтаре мерцало большое трисвечие, К. не смог бы с уверенностью сказать, видел ли он его уже раньше. Возможно, свечи зажгли только сейчас. Церковные служки обучены ходить крадучись, их не замечаешь. Случайно оглянувшись, К. увидел невдалеке за своей спиной большую толстую свечу, укрепленную на колонне, она тоже горела. Это было очень красиво, но совершенно недостаточно для освещения икон, большая часть которых висела в темноте боковых алтарей, более того, темнота от этого даже усиливалась. То, что итальянец не пришел, было с его стороны столь же неучтиво, сколь и разумно; никакого осмотра сейчас бы не получилось, пришлось бы выбрать несколько картин, поползать по ним глазами вслед за лучом карманного фонарика К. и этим удовлетвориться. Чтобы посмотреть, что из этого могло бы выйти, К. подошел к ближайшей боковой часовне, поднялся на несколько ступенек к низкой мраморной оградке и, перегнувшись через нее, осветил фонариком икону. Колеблющийся свет горевшей перед ней неугасимой лампады мешал.

Первое, что К. не столько увидел, сколько угадал, был огромный закованный в броню рыцарь, изображенный на самом краю картины. Он стоял, опираясь на меч, воткнутый в голую землю, из которой лишь кое-где торчали редкие стебельки травы. Казалось, он внимательно наблюдает за тем, что происходит перед ним. Было не понятно, почему он так остановился и не подходит ближе. Может быть, его назначение — стоять на страже? К., давно уже не видевший картин, долго разглядывал этого рыцаря, несмотря на то что вынужден был все время смаргивать, поскольку не переносил зеленоватого карманного света. Когда он затем побегал по остальной части иконы узким лучом, он обнаружил на ней традиционно изображенное «Положение во гроб»; картина, впрочем, была новая. Он спрятал фонарик и вернулся на свое место.

Ждать итальянца, по всей вероятности, уже не имело смысла, но снаружи наверняка лил дождь, и, поскольку внутри оказалось не так холодно, как ожидал К., он решил пока что остаться здесь. Неподалеку от него была высокая кафедра, на маленьком круглом навесе над ней два полулежачих пустотелых золотых креста пересекались верхними концами своих обводов. На наруж-

ной стороне барьера и на переходе к несущей колонне были изображены отчасти смешные, отчасти трогательные ангелочки, цеплявшиеся за зеленый растительный орнамент. К. подошел к кафедре и осмотрел ее со всех сторон; резьба была выполнена чрезвычайно тщательно, густая тьма между листьями орнамента и за ними, казалось, была поймана и удержана в камне. К. вложил руку в одну из таких впадин и осторожно ощупал ее; о существовании этой кафедры он до сих пор вообще не знал. В этот момент он случайно заметил за ближайшим рядом скамей церковного сторожа, который стоял там в обвисшем, измятом черном сюртуке, держал в левой руке табакерку и смотрел на него. Что ему нужно? — подумал К. Я ему подозрителен? Ждет подачки? Но сторож, увидев, что теперь К. его заметил, показал правой рукой, в двух пальцах которой все еще была зажата понюшка табаку, в каком-то неопределенном направлении. Поведение его было почти непонятно, К. подождал еще немного, но сторож, не переставая, указывал куда-то рукой, вдобавок еще и кивая.

— Да что ему надо? — тихо произнес К., кричать здесь он не решался; однако затем он вытащил портмоне и начал протискиваться между скамья-

ми, чтобы подойти к мужчине.

Но тот сразу же сделал рукой отталкивающее движение, пожал плечами и захромал прочь. Похожей на это торопливое прихрамывание побежкой К. в детстве пытался подражать скачке на лошади. В детство впал, подумал К., рассудка хватает только на то, чтобы сторожить церковь. Ну вот, теперь остановился, потому что я встал, и ждет не дождется, когда я пойду дальше? Усмехаясь, К. проследовал за стариком через весь боковой придел почти до алтаря, старик, не переставая, куда-то показывал, но К. намеренно не оборачивался: эти жесты старика имели одну-единственную цель — сбить К. со следа. Однако в конце концов К. и в самом деле отстал от старика, он не хотел слишком пугать и, чего доброго, совсем спугнуть это привидение — вдруг все-таки появится итальянец.

Войдя в главный неф, чтобы отыскать свое место, на котором он оставил альбом, К. заметил в одной из колонн, совсем рядом со скамьями певчих на хорах, маленькую боковую кафедру, очень скромную, из простого тусклого камня без резьбы. Она была столь мала, что издали походила на еще не заполненную нишу, предназначенную для статуи какого-нибудь святого. Проповеднику

там наверняка и на один полный шаг нельзя было отступить от барьера. Кроме того, каменный свод кафедры был необычайно низким и, хоть и не имел украшений, но шел с таким изгибом, что человек среднего роста выпрямиться там не мог и должен был все время перегибаться вперед через барьер. Все это словно специально предназначалось для того, чтобы мучить проповедника, и было не понятно, зачем нужна эта кафедра, когда ведь имеется в распоряжении другая, большая и с таким искусством украшенная.

К. наверняка и не обратил бы внимания на эту маленькую кафедру, если бы там наверху не была прикреплена лампа, как это обычно делается незадолго перед началом проповеди. Так что же, сейчас, что ли, будет проповедь? В пустой церкви? К. опустил взгляд на лесенку, которая вела к кафедре, вжимаясь в колонну, и была так узка, словно должна была служить не человеку, а украшению колонны. Но внизу под кафедрой — К. даже улыбнулся от удивления — в самом деле стоял священник; положив руку на перила, уже готовый взойти, он смотрел на К. Затем он чуть заметно кивнул, К. в ответ перекрестился и поклонился, что, впрочем, ему следовало бы сделать раньше. Священник, предприняв

маленький начальный рывок, стал быстрыми мелкими шажками всходить на кафедру. Что же, действительно сейчас будет проповедь? Так, может быть, и церковный сторож не совсем выжил из ума и старался подогнать К. поближе к проповеднику, что, разумеется, в пустой церкви было крайне необходимо? Кстати, ведь где-то тут перед каким-то образом Марии была еще одна старуха, ее тоже следовало пригнать. Но если уж будет проповедь, то ведь перед началом должен играть орган? Однако орган хранил молчание и только слабо мерцал во мраке своей огромной высоты.

К. подумал, не лучше ли ему сейчас как можно быстрее уйти отсюда; если он не сделает этого сейчас, то рассчитывать на то, что он сможет сделать это во время проповеди, уже не приходится, он тогда должен будет тут оставаться, пока она не кончится, и потеряет все это время для работы, а ждать итальянца он давно уже больше не обязан; он посмотрел на свои часы, было одиннадцать. Но может ли это быть, чтобы в самом деле стали читать проповедь? Может ли один К. представлять собой общину? А что, если бы он был какой-нибудь чужак, который хотел только осмотреть церковь? В сущности, ведь так оно и было. Сама мысль о том, что сейчас, в одиннадцать часов,

в будний день, в такую отвратительнейшую погоду будут читать проповедь, казалась нелепой. Священник — а этот молодой человек с гладким смуглым лицом несомненно был священником — явно поднимался наверх только для того, чтобы погасить лампу, зажженную по ошибке.

Это, однако, было не так, напротив, священник проверил лампу и добавил еще немного света, затем медленно повернулся к барьеру и оперся обеими руками на его ребристый край. Некоторое время он стоял так и, не поворачивая головы, осматривался вокруг. К. отошел на приличное расстояние назад и оперся локтем на спинку передней скамьи. Размытым взглядом, не определявшим точного места, он заметил где-то согнутую, скрюченную фигуру церковного сторожа, выглядевшего удовлетворенным, как человек, который выполнил свою задачу. Какая тишина царила сейчас в соборе! Но К. должен был ее нарушить, он не намерен был здесь оставаться; если это был долг священника — читать в определенный час проповедь вне зависимости от обстоятельств, пусть читает, это у него получится и в отсутствие К., точно так же как присутствие К. определенно не усилит ее воздействия. И К. медленно, ощупью двинулся на цыпочках вдоль

скамьи, затем выбрался в широкий главный проход и пошел по нему, так же совершенно беспрепятственно, разве что каменный пол откликался на самые легкие шаги и высокие своды слабо, но непрерывно отзывались многократным, неуклонно нарастающим эхом. Проходя в одиночестве меж рядов пустых скамеек, быть может, сопровождаемый взглядом священника, К. чувствовал себя как-то сиротливо, да и громада собора казалась ему чем-то лежащим уже на грани того, что еще способен вынести человек. Дойдя до своего прежнего места, он, не задерживаясь ни на миг, буквально кинулся на оставленный там альбом и схватил его. Он уже почти миновал зону скамеек и приближался к открытому пространству, отделявшему его от выхода, когда впервые раздался голос священника. Это был мощный, хорошо поставленный голос. Как он наполнял готовый к его восприятию собор! Но священник обратился совсем не к общине, это было совершенно ясно и не допускало никаких разночтений, — он выкрикнул: «Йозеф К.!»

К. замер на месте, глядя перед собой в пол. Он пока еще был свободен, он мог еще двинуться дальше и сквозь одну из трех маленьких темных деревянных дверей, которые были уже недалеко

от него, выйти отсюда на волю. И это значило бы, что он просто не расслышал или что он хотя и расслышал, но не захотел обратить внимания. Но если он обернется, то тогда он уже задержан, потому что тогда он признается, что он все хорошо расслышал, что он действительно тот, кого окликнули, и что он готов подчиниться. Если бы священник крикнул во второй раз, К. точно бы ушел, но поскольку, пока К. ожидал, вокруг тоже было тихо, то он повернул немного голову, потому что хотел увидеть, что сейчас делает священник. Тот спокойно стоял на кафедре так же, как и раньше, но было ясно видно, что этот поворот головы К. он заметил. Если бы К. теперь не повернулся полностью, это было бы детской игрой в прятки. Он сделал это, и священник пригласил его подойти поближе, поманив пальцем. Поскольку теперь игра уже шла в открытую, К. побежал — он сделал это из любопытства, но также и для того, чтобы все быстрее закончилось, — длинными, летящими скачками он побежал к кафедре. У первого ряда скамеек К. остановился, но расстояние показалось священнику все еще слишком большим, он вытянул руку и опущенным круто вниз указательным пальцем указал на место прямо перед кафедрой. К. вновь

подчинился; на этом месте ему уже приходилось далеко назад запрокидывать голову, чтобы увидеть священника.

— Ты Йозеф К., — сказал священник и поднял руку с барьера в каком-то неопределенном жесте.

— Да, — сказал К.; он думал о том, что раньше он всегда совершенно свободно называл свое имя, однако с некоторых пор оно стало для него обузой, а теперь вот его имя знают даже те люди, которых он впервые видит; как все-таки замечательно, когда ты сначала представляешься и только после этого становишься известен.

— Ты обвиняемый, — сказал священник, как-то по-особому понизив голос.

— Да, — сказал К., — меня об этом известили.

— Тогда ты тот, кого я ищу, — сказал священник. — Я тюремный капеллан.

— Ах, вот оно что, — сказал К.

— Я попросил вызвать тебя сюда, — сказал священник, — чтобы поговорить с тобой.

— Я этого не знал, — сказал К. — Я пришел сюда, чтобы показать собор одному итальянцу.

— Оставь суету, — сказал священник. — Что у тебя в руках? Это молитвенник?

— Нет, — ответил К. — Это альбом городских

достопримечательностей.

— Освободи от него руки, — сказал священник.

К. так резко отшвырнул от себя альбом, что тот раскрылся в полете и потом заскользил, сминая страницы, по полу.

— Тебе известно, что твое дело складывается плохо? — спросил священник.

— Мне и самому так кажется, — сказал К. — Я старался, как только мог, но пока безуспешно. Правда, заявление у меня еще не готово.

— Как ты представляешь себе финал? — спросил священник.

— Раньше я думал, что все должно хорошо кончиться, — сказал К., — а теперь я иногда и сам в этом сомневаюсь. Я не знаю, как все закончится. А ты это знаешь?

— Нет, — сказал священник, — но я боюсь, что кончится это плохо. Тебя считают виновным. Твой процесс, возможно, даже не выйдет из нижних судебных инстанций. По крайней мере, на сегодняшний день твоя вина считается доказанной.

— Но я невиновен, — сказал К., — это ошибка. И как вообще один человек может быть виновен? А мы здесь все — люди, и все — как один.

— Это верно, — сказал священник, — но так

обычно говорят виновные.

— Ты тоже предубежден против меня? — спросил К.

— У меня нет предубеждения против тебя, — сказал священник.

— Спасибо тебе, — сказал К., — но все остальные, кто участвует в процессе, предубеждены против меня. А они влияют и на тех, кто не участвует. И мое положение становится все тяжелее.

— Ты превратно толкуешь факты, — сказал священник, — приговор по делу возникает не вдруг, само производство по делу постепенно переходит в приговор.

— Вот, значит, как, — сказал К. и опустил голову.

— Что ты собираешься дальше предпринять по своему делу? — спросил священник.

— Я собираюсь еще искать помощи, — сказал К. и поднял голову, чтобы увидеть, как священник к этому отнесется. — Есть еще некоторые возможности, которые я пока не использовал.

— Слишком уж ты надеешься на чужую помощь, — неодобрительно сказал священник, — в особенности — на женскую. Разве ты не видишь, что это не настоящая помощь?

— В некоторых — и даже во многих случаях я бы

с тобой согласился, — сказал К., — но не во всех. Женщины имеют большую власть. Если бы я смог нескольких женщин, которых я знаю, склонить к сотрудничеству со мной, это был бы прорыв. Особенно в этом суде, который почти целиком состоит из кобелей. Покажи этому следователю издалека какую-нибудь женщину, и он перескочит и через судейский стол, и через обвиняемого, лишь бы только успеть добежать вовремя.

Священник склонил голову к барьеру, казалось, что только теперь свод кафедры придавил его. Что же это за погода должна быть снаружи? Это был уже не просто хмурый день, это была глубокая ночь. Витражи высоких окон не могли бросить ни единого светлого блика на темные стены. И как раз в это время сторож начал гасить одну за другой свечи главного алтаря.

— Ты сердишься на меня? — спросил К. у священника. — Ты, может быть, и не знаешь, какому суду ты служишь.

Ответа не было.

— Я ведь это просто по своему опыту, — сказал К.

Наверху по-прежнему было тихо.

— Я не хотел тебя обидеть, — сказал К.

И тогда священник закричал на К. сверху:

— Ты что, на два шага вперед уже не видишь?

Это был крик гнева, но в то же время и такой, словно кричавший увидел, как падает человек, и, сам испугавшись, нерасчетливо, невольно закричал.

Оба долго молчали. Священник наверняка не мог отчетливо различить К. в царившей внизу темноте, в то же время К. ясно видел священника, освещенного маленькой лампой. Почему бы священнику не спуститься вниз? Ведь он не проповедь читает, а только сообщает К. сведения, которые, если отнестись к ним с полным вниманием, по всей вероятности, принесут К. больше вреда, чем пользы. Но в благих намерениях священника К. не сомневался, и, если бы тот спустился вниз, почему он не мог бы присоединиться к К.? В этом не было ничего невозможного. И почему К. не мог бы получить от него какой-то решающий совет, которому можно было бы последовать, который мог бы ему, например, указать даже не то, как воздействовать на процесс, а как вырваться из процесса, как обойти его, как вообще можно жить вне процесса? И в этом не было ничего невозможного, такая возможность должна была существовать. В последнее время К. не раз о ней думал. Но знал ли этот священник

о такой возможности? рассказал бы он о ней, если его попросить? ведь он сам принадлежал к суду, ведь он, когда К. напал на этот суд, даже совершил насилие над своим мягким характером и наорал на К.

— Ты не хочешь спуститься? — спросил К. — Ведь никакой проповеди не будет. Спустись ко мне вниз.

— Теперь я уже могу спуститься, — сказал священник; возможно, он сожалел о том, что кричал, и, снимая лампу с крюка, сказал: — Мне нужно было сначала поговорить с тобой на расстоянии. А то я слишком легко поддаюсь влиянию и забываю о службе.

К. ждал его внизу у лестницы. Священник спускался и, еще находясь на одной из верхних ступенек, уже протягивал К. руку.

— Найдется у тебя немного времени для меня? — спросил К.

— Столько, сколько тебе нужно, — сказал священник и подал К. свою маленькую лампу, чтобы К. ее нес; некоторая торжественность его облика не исчезала даже вблизи.

— Ты очень любезен со мной, — сказал К.; они прогуливались в темном боковом приделе взад и вперед. — Ты исключение среди всех, принад-

лежащих к суду. Я тебе больше доверяю, чем любому из них, а я уже многих там знаю. С тобой я могу быть откровенным.

— Не заблуждайся, — сказал священник.

— В каком смысле я заблуждаюсь? — спросил К.

— В смысле суда ты заблуждаешься, — сказал священник. — Во введении к Закону об этом заблуждении сказано так. У врат Закона стоит страж. К этому стражу подходит человек из народа и просит допустить его к Закону. Но страж говорит, что сейчас допустить его не может. Человек задумывается и затем спрашивает, не допустят ли его, может быть, позже. «Это возможно, — говорит страж, — а сейчас — нет». Поскольку врата Закона, как всегда, открыты, а страж отошел в сторону, человек наклоняется, пытаясь сквозь врата заглянуть внутрь. Страж замечает это, смеется и говорит: «Если тебя уж так туда тянет, попробуй войти, переступив через мой запрет. Но учти: у меня длинные руки. И ведь я всего лишь младший страж. А там в каждом зале по стражу, и у каждого следующего руки длиннее, чем у предыдущего. Уже одного вида третьего даже я не могу вынести». Таких затруднений человек из народа не ожидал. Закон

же должен быть доступен всем и всегда, думает он, но затем, повнимательнее присмотревшись к этому стражу в его шубе, с его крупным острым носом и его длинной редкой черной татарской бородой, все-таки решает, что лучше уж он подождет, когда ему предоставят допуск. Страж дает ему скамеечку и разрешение присесть сбоку перед вратами. Там сидит он дни и годы. Он делает много попыток получить допуск и утомляет стража своими просьбами. Страж периодически устраивает ему маленькие допросы, спрашивает, откуда он родом и многое другое, но задает все эти вопросы равнодушно — так задают вопросы важные господа — и в конце всякий раз говорит ему, что пока еще допустить его не может. Человек, много всего взявший с собой в дорогу, употребляет все, даже самое дорогое, для того, чтобы подкупить этого стража. А страж, хотя и принимает все, но при этом говорит: «Я беру это только для того, чтобы ты не думал, что ты что-то упустил». Долгие годы человек почти непрерывно наблюдает за стражем. Он забывает о других стражах, и этот первый кажется ему единственным препятствием для получения допуска к Закону. В первые годы он громко проклинает эти несчастные обстоятельства, потом, постарев,

уже только ворчит себе под нос. Он впадает в детство, и поскольку за долгие годы изучения стража он узнал уже всех блох в воротнике его шубы, то он просит и их помочь ему и переубедить стража. В конце концов зрение его слабеет, и он уже не знает, действительно ли вокруг стало темней или это только глаза его обманывают. Зато теперь в темноте он различает немеркнущее сияние, которое исходит из врат Закона. Но жить ему остается уже недолго. И перед смертью все наблюдения, сделанные им за это время, выстраиваются в его голове в один вопрос, которого до сих пор он стражу еще не задавал. Он кивком подзывает его, поскольку уже не может распрямить свое коченеющее тело. Стражу приходится низко нагибаться к нему, так как разница в росте сильно изменилась не в пользу человека. «Что ты теперь еще хочешь узнать? — спрашивает страж. — Ты какой-то ненасытный». «Закон ведь нужен всем, — говорит человек, — как же так вышло, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не просил допустить его?» Страж видит, что человек уже угасает, и, чтобы слова еще достигли его закрывающегося слуха, ревет: «Здесь никого больше не допустили бы, потому что этот вход предназначался только для тебя. И сейчас я иду

его закрывать».

— То есть страж обманул человека, — сразу же сказал К., которого эта история очень сильно заинтересовала.

— Не будь слишком поспешен, — сказал священник, — и не принимай чужих мнений, не проверив их. Я рассказал тебе эту историю дословно, так, как она написана. О каком-то обмане в ней ничего не говорится.

— Но это же ясно, — сказал К., — и твое первое толкование было совершенно правильным. Этот страж сделал свое спасительное сообщение, когда оно уже не могло помочь человеку.

— Его раньше не спрашивали, — сказал священник, — и учти, что он всего лишь страж и как таковой он исполнил свой долг.

— Почему ты считаешь, что он исполнил свой долг? — спросил К. — Он его не исполнил. Его долг, по-видимому, состоял в том, чтобы не допустить к Закону никого из чужих, но того человека, для которого этот вход предназначался, он должен был допустить.

— Ты недостаточно уважаешь букву Закона и переделываешь историю, — сказал священник. — История содержит два важных разъяснения стража о допуске к Закону, одно в начале и одно

в конце. В одном случае он говорит, что сейчас допустить его не может, а в другом: этот вход предназначался только для тебя. Если бы между двумя этими разъяснениями имелось противоречие, тогда ты был бы прав, и страж обманул бы человека. Но противоречия нет. Напротив, первое разъяснение даже содержит намек на второе. Тут почти что можно было бы сказать, что страж, когда он говорит человеку о возможности допустить его впоследствии, выходит за рамки того, что предписывает ему долг. В тот момент его долг, как представляется, заключался лишь в том, чтобы не допустить человека к Закону; и действительно, многие комментаторы удивляются тому, что страж вообще делает этот намек, поскольку он, судя по всему, любит точность и строго блюдет свою службу. Он долгие годы не покидает свой пост и закрывает врата только в самом конце, он очень ясно осознает свое служебное значение, поскольку говорит: «У меня длинные руки», он уважает субординацию, поскольку говорит: «Я всего лишь младший страж», он не болтлив, поскольку вопросы, которые он задает все эти долгие годы, он, как сказано, задает «равнодушно», он не продажен, поскольку о подарке он говорит: «Я беру это только для того,

чтобы ты не думал, что ты что-то упустил», когда речь идет об исполнении долга, его нельзя ни разжалобить, ни разозлить, поскольку о человеке сказано: «Он утомляет стража своими просьбами», наконец, и его внешность указывает на педантичный характер: крупный острый нос и длинная редкая черная татарская борода. Можно ли представить стража, более верного своему долгу? Однако в характере стража присутствуют еще и другие черты, наличие которых весьма благоприятно для просящего допуск и каким-то образом объясняет, как мог этот страж все-таки выйти за рамки своего долга в том намеке на некую будущую возможность. А именно не приходится отрицать, что страж Закона несколько ограничен и, в связи с этим, несколько чванлив. И даже если его высказывания о его длинных руках, и о длинных руках других стражей Закона, и об их даже для него невыносимом виде, — даже если все эти высказывания сами по себе и справедливы, то манера, в которой он делает эти высказывания, по-моему, все-таки показывает, что его ограниченность и надменность мешают ясности взгляда. Комментаторы по этому поводу говорят: «Верный взгляд на вещи и превратное понимание этих же вещей не являются полно-

стью взаимоисключающими». Но, во всяком случае, нужно признать, что его ограниченность и надменность, даже если они, может быть, и очень слабо выражены, тем не менее ослабляют охрану входа и являются недостатками в характере стража. Сюда надо прибавить и то, что этот страж в силу наклонностей своей натуры выглядит дружелюбным и отнюдь не всегда выступает как должностное лицо. Буквально в первое же мгновение он начинает шутить шутки, предлагая человеку войти, переступив через остающийся в силе недвусмысленный запрет, далее, он не только не прогоняет его, но, как сказано, дает ему скамеечку и разрешение присесть сбоку перед вратами. Терпение, с которым он все эти годы переносит просьбы человека, маленькие допросы, принятие подарков, великодушие, с которым он допускает, что человек рядом с ним громко проклинает несчастные обстоятельства, поставившие здесь стража, — все это позволяет говорить о присущем ему чувстве сострадания. Не всякий страж вел бы себя таким образом. И, наконец, он же еще низко нагибается к человеку, откликаясь на его кивок и предоставляя ему возможность задать последний вопрос. Только когда он говорит: «Ты какой-то ненасытный», в его сло-

вах выражается легкое нетерпение, поскольку он ведь знает, что все уже кончено. В такого рода комментариях некоторые заходят и еще дальше, полагая, что слова «ты какой-то ненасытный» выражают своего рода дружеское восхищение, не свободное, впрочем, от снисходительности. Как бы там ни было, фигура стража выглядит здесь иначе, чем ты ее себе представляешь.

— Ты знаком с этой историей лучше и дольше, чем я, — сказал К.

Они немного помолчали. Потом К. сказал:

— Так ты, значит, считаешь, что человека не обманули?

— Не толкуй мои слова превратно, — сказал священник, — я только представил тебе мнения, которые существуют на этот счет. Ты не должен обращать слишком большое внимание на мнения. Буква Закона неизменна, и мнения зачастую — всего лишь выражения связанного с этим отчаяния. А по этому случаю есть даже такое мнение, что обманутым оказался как раз страж.

— Это какое-то отвлеченное мнение, — сказал К. — Чем оно обосновано?

— При его обосновании исходят из ограниченности стража, — сказал священник. — Он, как утверждают, не знает, что там, внутри Закона, а

знает только ту дорожку, по которой он должен снова и снова проходить перед вратами. Его представления о внутреннем содержании Закона считают детскими и полагают, что того, чем он пытается запугать человека, он боится сам. Он даже боится этого больше, чем человек, так как тот хочет получить доступ к Закону даже тогда, когда узнаёт об ужасных внутренних стражах, страж же, напротив, не хочет получать доступ, по крайней мере, об этом ничего не известно. Кое-кто утверждает даже, что страж уже должен быть в Законе, потому что он ведь когда-то был принят и находится теперь на службе у Закона, а это могло произойти, только если он был в Законе. На это отвечают, что он ведь мог и просто по зову изнутри стать стражем и что, по крайней мере, глубоко внутрь Закона он проникнуть не мог, поскольку он ведь не может выносить вида уже третьего стража. А кроме того, нигде не сообщается, что за эти долгие годы он что-либо рассказывал о внутреннем содержании Закона, помимо замечания о стражах. Это могло быть ему запрещено, но и о таком запрещении он тоже не рассказывал. Из всего этого заключают, что о виде и значении внутреннего содержания Закона он ничего не знает и обманывается на

этот счет. Но он, как считают, обманывается и на счет человека из народа, ибо он стоит ниже этого человека, но сам об этом не подозревает. То, что он обращается с человеком, как с нижестоящим, видно из многих эпизодов, которые ты еще должен помнить. Но и то, что на самом деле он является нижестоящим по отношению к человеку, согласно такому мнению, столь же очевидно. Прежде всего ясно, что свободный человек выше по положению, чем человек чем-то связанный. Ну, человек из народа в самом деле свободен, он может идти, куда хочет, только доступ к Закону для него закрыт, да и то лишь одним этим стражем. И если он садится на скамеечку сбоку перед вратами и сидит на ней всю свою жизнь, то он это делает добровольно, в истории ни о каком принуждении не упоминается. Напротив, страж привязан службой к своему посту, он не может далеко отойти, но, судя по всему, не может и зайти внутрь, даже если бы захотел. Кроме того, хоть он и на службе у Закона, но служит только этому входу, то есть опять-таки только тому человеку, для которого этот вход и предназначен. И по этой причине тоже он стоит ниже человека. Далее, надо полагать, что многие годы, занимающие целый период взросления человека, страж служит в

каком-то смысле впустую, поскольку сказано, что приходит человек, это значит — некто взрослый, а это значит, что стражу приходится долго ждать исполнения своего предназначения, и причем ждать так долго, как заблагорассудится человеку, который приходит ведь добровольно. Но и окончание его службы, в свою очередь, определяется концом жизни человека, таким образом, страж остается нижестоящим по отношению к человеку до конца. И хотя постоянно подчеркивается, что страж обо всем этом, по-видимому, ничего не знает, в этом не видят ничего особенного, поскольку, согласно этому мнению, страж является жертвой еще и другого, куда более серьезного обмана, касающегося его службы. В самом деле, в конце он говорит о входе так: «И сейчас я иду его закрывать», но в начале сказано, что врата Закона «как всегда, открыты», то есть врата открыты всегда, а «всегда» — это значит независимо от срока жизни человека, для которого они предназначены, но тогда и этот страж не сможет их закрыть. На этот счет мнения расходятся: может быть, страж, объявляя, что он закроет врата, просто хотел что-то ответить, или подчеркнуть, что выполняет свой служебный долг, или успеть еще в последний момент погрузить человека в тоску

и сожаления. Многие, однако, сходятся на том, что закрыть врата он не сможет. Мало того, они полагают, что он, по крайней мере в конце, даже по своим знаниям стоит ниже человека, поскольку тот видит сияние, исходящее из врат, тогда как этот, по всей видимости, стоит спиной ко входу и ни одним высказыванием не дает понять, что заметил какое-то изменение.

— Это хорошее обоснование, — сказал К., повторявший для себя вполголоса отдельные места из объяснения священника. — Это хорошее обоснование, и я теперь тоже думаю, что страж был обманут. Но я не отказываюсь и от моего прежнего мнения, потому что они оба частично совпадают. Трезво ли смотрит страж, или он обманывается, это ничего не решает. Я-то говорил о том, что обманут человек; если страж смотрит на вещи трезво, то в этом можно усомниться, но если страж обманывается, то его самообман неизбежно должен перейти и на человека. Страж в этом случае если и не лжив, то настолько наивен, что его следовало бы немедленно выгнать со службы. Ты ведь должен учесть, что самообман, в котором пребывает страж, ничем ему не вредит, но зато в тысячу раз сильнее вредит человеку.

— Здесь ты вступаешь в конфликт с противо-

положным мнением, — сказал священник. — А именно, многие говорят, что эта история никому не дает права судить о страже. Каким бы он нам ни казался, но он все-таки слуга Закона и, таким образом, от человеческого суда ускользает. А тогда уже нельзя и считать, что этот страж стоит ниже человека. Иметь служебную связь даже только со входом в Закон значит несравненно больше, чем жить свободным в свободном мире. Человек еще только приходит к Закону, а страж — уже там. Он призван на службу Законом, и сомневаться в его соответствии этому высокому призванию значило бы сомневаться в Законе.

— С этим мнением я не согласен, — сказал, покачав головой, К., — потому что, если к нему присоединиться, тогда нужно все, что говорит страж, принимать за истину. Но ты же сам подробно обосновал, что это невозможно.

— Нет, — сказал священник, — не нужно все принимать за истину, нужно только принимать это как необходимость.

— Неутешительное мнение, — сказал К. — Ложь

становится основой миропорядка.[19]

К. произнес это как заключение, но это не был его окончательный приговор. Он был слишком утомлен, чтобы суметь охватить все выводы из этой истории, к тому же он сталкивался здесь с непривычными ходами мысли, с какими-то ирреальными вещами, больше подходившими для обсуждения в обществе судейских чиновников, чем здесь. Простая история превращалась во что-то бесформенное, хотелось стряхнуть ее с себя, и священник, проявив тут большой такт, стерпел это и принял высказывание К. молча, хотя оно наверняка не совпадало с его собственным мнением.

Они еще некоторое время шли молча, К. держался поближе к священнику, не ощущая, где

---

[19] Примечания: 19

Вычеркнуто автором:

Он произнес это и осекся; ему пришло в голову, что он сейчас обсуждает и оценивает какую-то притчу, но он же совсем не знал того писания, из которого была взята эта притча, и точно так же неизвестны ему были и ее толкования. Он был втянут в совершенно неизвестный ему круг мыслей. Неужели этот священник был таким же, как все остальные, и собирался говорить о деле К. лишь намеками, и, может быть, сбить его этим с пути, и под конец замолчать? За этими размышлениями К. позабыл о лампе, она начала чадить, и К. заметил это лишь тогда, когда дым уже вился вокруг его подбородка. Он попытался теперь подкрутить фитилек пониже, и свет потух. К. стоял в полной темноте, он даже не знал, в каком месте собора он находится. Поскольку и вокруг него было тихо, он спросил:

— Где ты?

— Здесь, — сказал священник и взял К. за руку: — Зачем ты дал лампе погаснуть? Идем, я отведу тебя в ризницу, там есть свет.

К. был очень рад возможности уйти из зала собора; это высокое, широкое пространство, которое просматривалось лишь на самое короткое расстояние, угнетало его, он уже не раз, сознавая всю бесполезность этого, обращал взгляд вверх, и всякий раз со всех сторон ему навстречу буквально слетала темнота. Направляемый рукой священника, он торопливо пошел за ним.

Лампа, горевшая в ризнице, была еще меньше той, что нес К. К тому же висела она так низко, что освещала почти только пол ризницы, которая была узкой, но, по всей вероятности, такой же высокой, как и сам собор.

— Как темно везде, — сказал К. и прикрыл ладонью глаза, словно они болели от его напряженных попыток определить свое место.

находится. Лампа в его руке давно уже погасла. Серебряная статуя какого-то святого один раз блеснула прямо перед ним — именно блеском серебра — и тут же вновь растворилась в темноте. Чтобы не оставаться целиком зависимым от священника, К. спросил его:

— Мы сейчас не вблизи главного входа?

— Нет, — сказал священник, — мы сейчас вдали от него. Ты уже хочешь уходить?

Хотя именно сейчас К. об этом не думал, он сразу же сказал:

— Конечно, мне пора уходить. Я прокурист одного банка, меня ждут, я пришел сюда, только чтобы показать собор иностранному контрагенту.

— Что ж, — сказал священник и протянул К. руку, — тогда иди.

— Но один в темноте я не смогу сориентироваться, — сказал К.

— Иди налево, пока не упрешься в стену, — сказал священник, — потом вперед по стенке, не отрываясь от нее, и ты найдешь выход.

Священник отдалился всего на несколько шагов, но К. уже очень громко закричал:

— Пожалуйста, подожди еще.

— Я жду, — сказал священник.

— Тебе больше ничего от меня не нужно? — спросил К.

— Нет, — сказал священник.

— Ты раньше так по-дружески говорил со мной, — сказал К., — и все мне объяснял, а теперь отпускаешь меня, как будто я для тебя пустое место.

— Тебе же пора уходить, — сказал священник.

— Ну да, — сказал К., — ты ведь должен понять меня.

— Сначала ты должен понять, кто я, — сказал священник.

— Ты тюремный капеллан, — сказал К. и подошел ближе к священнику; его немедленное возвращение в банк не было так необходимо, как он это представлял, он вполне еще мог побыть здесь.

— Следовательно, я принадлежу к суду, — сказал священник. — Так почему мне должно быть что-то от тебя нужно? Суду от тебя ничего не нужно. Он принимает тебя, когда ты приходишь, и он отпускает тебя, когда ты уходишь.

Глава десятая
ФИНАЛ

Накануне тридцать первого дня рождения К. — было около девяти часов вечера, время, когда на улицах затихает жизнь, — в его квартиру вошли два господина. Оба были бледные, тучные, в сюртуках и в цилиндрах, сидевших, казалось, непоколебимо. После выполнения маленьких церемоний, связанных с очередностью прохода в дверь квартиры, те же церемонии, но в большем объеме, были повторены и перед дверью К. Хотя его не предупреждали об их приходе, К., также в черном, сидел на стуле неподалеку от двери в позе ожидания гостей и медленно натягивал новые, сильно сжимавшие пальцы перчатки. Он сразу же встал и с любопытством посмотрел на господ.

— Значит, мне определены вы? — спросил он.

Господа кивнули, и каждый цилиндром, который держал в руке, указал на другого. К. признался себе в том, что он ждал другого визита. Он подошел к окну и еще раз взглянул на темную улицу. Почти все окна на другой стороне улицы тоже были уже темны, на многих были

задернуты занавески. В одном освещенном окне его этажа за решеткой играли маленькие дети и, не способные еще сдвинуться с мест, на которые были посажены, цеплялись друг за друга ручонками. За мной прислали старых актеров из второго состава, сказал себе К. и оглянулся, чтобы еще раз в этом убедиться. Хотят разделаться со мной по дешевке. Неожиданно К. повернулся к ним и спросил:

— В каком театре вы служите?

— В театре? — недоуменно спросил один из господ (у него дрогнули уголки губ) у другого. Но этот другой жестикулировал, как заика, борющийся с непослушным организмом. Они не готовы к тому, что им могут задавать вопросы, сказал себе К. и пошел за своей шляпой.

Уже на лестнице господа хотели взять К. под руки, но К. сказал:

— Только когда выйдем, я не больной.

Но за дверью они сразу же повисли на нем; К. никогда еще ни с одним человеком так не ходил. Они прижимались сзади плечами к его плечам, при этом руки не сгибали, а обвивали ими руки К. по всей длине, вцепившись внизу в пальцы заученной, натренированной, мертвой хваткой. К. шел словно пригвожденный и распятый меж-

ду ними; все трое они составляли теперь такое единство, что, если бы одного из них раскололи, раскололись бы все. Это было единство, которое могло составиться почти только в неживой природе.

Проходя под фонарями, К. пытался — как ни трудно это было осуществить при таком тесном контакте — рассмотреть своих конвоиров яснее, чем это было возможно в полумраке его квартиры. Может быть, они тенора, думал он, глядя на их тяжелые двойные подбородки. Его тошнило от гладкости их лиц. Он буквально видел руку в гигиенической перчатке, копошащуюся в уголках их глаз, пробегающую по верхней губе, выскабливающую складки у подбородка.[20]

Представив это, К. остановился, из-за чего остановились и те; они стояли на краю широкой безлюдной площади, украшенной зелеными насаждениями.

— Почему послали именно вас? — не столько спросил, сколько выкрикнул К.

Господа, по-видимому, не знали ответа, они ждали, их свободные руки висели, как у санита-

---

[20] Примечания: 20

Вычеркнуто автором:

Брови у них были словно вставные и при ходьбе беспрерывно ездили вверх и вниз.

ров, ожидающих, когда больной успокоится.

— Я дальше не пойду, — попробовал упереться К.

Господам не было необходимости отвечать, им было достаточно того, что они не ослабляли хватки, и они попытались сдвинуть К. с места, но К. сопротивлялся. Я должен теперь не прилагать большие усилия, думал он, я должен теперь употребить все. Перед его мысленным взором промелькнули мухи, которые, разрывая себе лапки, рвались с липучки. Господам придется очень потрудиться.

В этот момент перед ними возникла, поднявшись по маленькой лестнице с улочки, лежавшей ниже уровня площади, фрейлейн Бюрстнер. Полной уверенности в том, что это она, не было, однако сходство было велико. Но К. было даже не важно, точно ли это была фрейлейн Бюрстнер, просто до его сознания как-то вдруг дошла вся бесцельность этого его сопротивления. Не было ничего героического в том, что он сопротивлялся, в том, что создавал теперь этим господам трудности, в том, что пытался теперь в этой самозащите последний раз ощутить вкус жизни. Он пошел с ними, и что-то от той радости, которую он им этим доставил, перешло и на него самого. Они

теперь соглашались с тем, что он выбирал направление движения, и он выбирал тот путь, которым шла эта фрейлейн впереди — не потому, что хотел ее догнать, и даже не потому, что хотел видеть ее как можно дольше, а просто чтобы не забыть то напоминание, которым она для него явилась. Единственное, что я могу теперь сделать, сказал он себе, и его шаги в ногу с шагами этих двоих подтвердили его мысли, — единственное, что я могу теперь сделать, это до конца сохранить спокойно анализирующий рассудок. Я всегда хотел запускать в мир двадцать рук, и к тому же с целью, которую нельзя одобрить. Это было неправильно. Так что же, теперь я покажу, что даже годичный процесс меня ничему не научил? И уйду как человек, который ничего не понял? И обо мне потом смогут сказать, что в начале процесса я хотел его закончить, а теперь, в его финале, хотел начать его сначала? Я не хочу, чтобы так говорили. Я благодарен за то, что в этот путь мне дали этих полунемых, неотзывчивых господ, и за то, что сказать все необходимые слова предоставили мне самому.

Фрейлейн тем временем свернула в какой-то переулок, но К. мог уже обойтись и без нее, он теперь целиком положился на своих конвоиров.

Все трое в полном согласии взошли на освещенный лунным светом мост; эти господа теперь с готовностью повторяли каждое мелкое движение, которое делал К., и, когда он чуть повернулся к перилам, они тоже, всем фронтом, развернулись к ним. Сверкающая и дрожащая в лунном свете вода обтекала маленький островок, на котором, словно согнанные в одно место, теснились зеленые массы деревьев и кустарников. Под ними, невидимые сейчас, петляли посыпанные гравием дорожки с удобными скамейками, на которых К. просидел, вытянув ноги и раскинув руки, многие жаркие часы во многие лета.

— Да я совсем не хотел останавливаться, — сказал он своим конвоирам, смущенный их услужливостью.

Они, кажется, мягко упрекнули друг друга за спиной К. в непонимании, вызвавшем эту оста-

новку, и затем двинулись дальше.[21]

Они прошли несколькими идущими в гору улочками, на которых кое-где стояли или прохаживались полицейские, иногда они маячили вдали, иногда оказывались совсем близко. Один, с пышными усами и рукой на эфесе сабли, как будто специально подошел поближе к этой несколько подозрительной группке. Господа замерли на месте, полицейский, казалось, уже открывал рот, но тут К. с силой потащил их дальше. Несколько раз К. осторожно оглядывался, проверяя, не идет ли полицейский за ними, и, когда угол дома закрыл их от его взгляда, К. побежал, заставляя и конвоиров бежать вместе с ним, несмотря на сильную одышку.

Так они быстро выбрались из города, к которому с этой стороны почти вплотную подступали

---

[21] Примечания: 21

Вычеркнуто автором:

Они прошли несколькими идущими в гору улочками, на которых то здесь, то там стояли или прохаживались полицейские, иногда они маячили вдали, иногда оказывались совсем близко. Один, с пышными усами и рукой на эфесе доверенной ему государством сабли, как будто специально подошел поближе к этой несколько подозрительной группке.

— Государство предлагает мне свою помощь, — шепотом сказал К. на ухо одному из господ.

А что, если бы я переиграл этот процесс по официальным государственным законам? Тогда могло бы дойти до того, что мне пришлось бы защищать этих господ от государства!

поля. Недалеко от еще вполне городского дома была маленькая заброшенная и пустынная каменоломня. Здесь господа остановились; то ли это место с самого начала было местом их назначения, то ли они слишком выдохлись для того, чтобы бежать еще куда-то. Здесь они отпустили К., и он молча ждал, пока они снимали свои цилиндры и, оглядывая каменоломню, обтирали носовыми платками вспотевшие лбы. В лунном свете все было таким естественным и спокойным, каким не могло бы быть ни в каком ином свете.

После обмена церемонными фразами, касавшимися того, кто будет исполнителем в последующих эпизодах — господам, по-видимому, задавался порядок действий без распределения ролей, — один из них подошел к К. и снял с него сюртук, жилет и наконец рубашку. По телу К. непроизвольно пробежал озноб, и господин, успокаивая К., слегка хлопнул его по спине. Он аккуратно сложил одежду К., как складывают вещи, которые еще понадобятся, хотя, может быть, и не в самое ближайшее время. Затем, чтобы К. не стоял без движения во все-таки прохладном ночном воздухе, он взял К. под руку и немного походил с ним взад-вперед, в то время как другой господин осматривал каменоломню в поисках

подходящего места; найдя его, он подал знак, и второй подвел туда К. Место было недалеко от края карьера, там лежал вырубленный из стены камень. Господа усадили К. на землю, прислонили его спиной к камню и пристроили на камне его голову. Однако несмотря на все их старания и несмотря на все то содействие, которое оказывал им К., его поза все-таки оставалась очень принужденной и неправдоподобной. Поэтому один из господ попросил другого дать ему некоторое время и предоставить ему одному уложить К., но и от этого лучше не стало. В конце концов они оставили К. в позе, которая даже не была лучшей из уже перепробованных. Затем один из господ расстегнул сюртук, вытащил из чехла, висевшего на ремне, надетом поверх жилета, длинный тонкий обоюдоострый мясницкий нож и высоко поднял его, проверяя заточку на свет. Снова начались отвратительные церемонии, первый передавал нож над телом К. второму, тот, вновь над телом К., возвращал его первому. К. теперь точно знал, что это был его долг, что этот нож, витавший над ним и переходивший из рук в руки, он должен был схватить и вонзить в себя сам. Но вместо того чтобы сделать это, он, поворачивая все еще свободную шею, оглядывался вокруг.

Выдержать испытание до конца, взяв на себя всю работу этих органов, он не мог, и ответственность за это последнее его прегрешение лежала на том, кто лишил его остатка необходимых для этого сил. Взгляд К. упал на верхний этаж стоявшего вблизи каменоломни дома. Как вспыхивает в темноте свет, так распахнулись там створки одного окна, какой-то человек, слабый и тонкий на таком отдалении и возвышении, рывком наклонился далеко вперед — и еще дальше простер руки. Кто это был? Друг? Добрый человек? Он сочувствовал? Он хотел помочь? Только он один? Или все? Еще можно было помочь?[22] Еще были такие апелляции, о которых забыли? Конечно, они были. Пусть логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, она не устоит. Где тот судья, которого он так и не увидел? Где тот высокий суд, до которого он так и не дошел? Он воздел руки и растопырил пальцы.

Но уже легли на горло К. руки одного господина, в то время как второй вонзил ему нож глубоко в сердце и дважды повернул его там. Стекленею-

---

[22] Примечания: 22

Первоначальный вариант окончания предпоследнего абзаца:
...Еще были такие апелляции, о которых забыли? Конечно, они были. Пусть логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, она не устоит. Где тот судья? Где тот высокий суд? Я должен высказаться. Я воздеваю руки.

щие глаза К. еще увидели, как эти господа, близко наклонясь к его лицу и прижавшись друг к другу щеками, наблюдали за финалом.

— Как собака! — прошептал он так, словно его позору предстояло его пережить.

Приложения

Неоконченные главы

У Эльзы

В один из дней, перед самым концом работы, К. позвонили по телефону и предложили немедленно явиться в судебную канцелярию. Он был предупрежден о серьезных последствиях в случае неподчинения. Его неслыханные высказывания о том, что эти допросы никому не нужны, ничего не дают и ничего дать не могут, что он больше туда не пойдет, что на телефонные и письменные вызовы он и внимания обращать не будет, а посыльных будет выкидывать на улицу, — все эти высказывания запротоколированы и уже очень ему повредили. Да и почему он не хочет сотрудничать? Разве над его запутанным делом не работают, не считаясь ни с временем, ни с затратами, чтобы навести в нем порядок? Он что, собирается преднамеренно мешать этому и довести дело до насильственных мер, которых до сих пор, щадя его, к нему не применяли? Сегодняшний вызов — это последняя попытка. Он может поступать, как угодно, но пусть он учтет, что высокий суд шутить с собой никому не позволит.

Но именно на этот вечер у К. был назначен визит к Эльзе, и по этой причине он не мог явиться в суд; он был рад возможности такого оправдания своей неявки, хотя, естественно, никогда бы не прибегнул к подобному оправданию и почти наверняка не пошел бы в суд даже и в том случае, если бы не имел на этот вечер никаких иных обязательств. Чувствуя себя в своем праве, он тем не менее поинтересовался по телефону, что будет, если он не придет.

— Вас сумеют найти, — ответили ему.

— И я буду наказан за то, что не явился добровольно? — спросил К. и усмехнулся в ожидании того, что должен был услышать.

— Нет, — ответили ему.

— Превосходно, — сказал К., — но в таком случае какая же причина должна заставить меня последовать сегодняшнему приглашению?

— Обычно приглашенные стараются не навлекать на свою голову применения судебных средств принуждения, — отвечал постепенно ослабевавший и под конец совсем исчезнувший голос.

Не делать этого было бы очень неосторожно, думал К., уходя, но все-таки следует попытаться узнать, что же это за средства.

Он не колеблясь поехал к Эльзе. Уютно устроившись в углу пролетки и засунув руки в карманы плаща — уже становилось прохладно — он погрузился в уличную суету. С чувством некоторого удовлетворения он подумал о том, что если этот суд действительно функционирует, то К. ему доставляет немало хлопот. Он не сказал определенно, явится он в суд или нет, значит, следователь будет ждать, а может быть даже, они соберутся там все, и только К., к вящему разочарованию галерки, не появится. Он ехал туда, куда хотел ехать, и суд ему был не помеха. На какое-то мгновение у него возникло сомнение, не назвал ли он кучеру по рассеянности адрес суда, поэтому он громко крикнул ему адрес Эльзы; кучер кивнул, ему никакого другого адреса и не называли. С этого момента суд постепенно начал выходить из головы К., и его снова, как в прежние времена, целиком заполнили мысли о банке.

Поездка к матери

Во время обеда он вдруг вспомнил, что собирался навестить мать. Уже почти кончилась весна, и, значит, прошло уже три года с тех пор, как он в последний раз ее видел. Она его тогда попросила приехать к ней на его день рождения; несмотря

на многочисленные препятствия, он собирался эту просьбу исполнить и даже дал ей обещание проводить у нее все свои дни рождения, однако это обещание он уже дважды не сдержал. Но зато теперь он намерен был поехать сразу, даже не дожидаясь дня рождения, хотя до него оставалось всего две недели. Впрочем, он сказал себе, что никакой особенной причины ехать именно сейчас нет, напротив, те известия, которые он регулярно каждые два месяца получал от своего кузена (имевшего в том городке торговое предприятие и распоряжавшегося деньгами, которые К. посылал для матери), были успокоительны, как никогда. Зрение мать, правда, почти потеряла, но для К., уже много лет знавшего приговор врачей, это не было неожиданностью, зато общее ее состояние улучшилось, всяческие возрастные недуги, вместо того чтобы усилиться, отступили, во всяком случае, жаловаться она стала меньше. По мнению кузена, это, возможно, было связано с тем, что она в последние годы — К. еще в тот свой приезд почти с отвращением заметил легкие признаки этого — сделалась непомерно набожной. В одном из писем кузен очень ярко изобразил, как эта старая женщина, прежде насилу таскавшая ноги, теперь, когда он по воскресеньям водит ее в цер-

ковь, просто заправски вышагивает, опираясь на его руку. А кузену К. мог доверять, поскольку тот, будучи человеком мнительным, в своих сообщениях склонен был преувеличивать скорее плохое, чем хорошее.

Но как бы там ни было, К. решил поехать теперь; в последнее время он, помимо прочих малоприятных вещей, обнаружил у себя какое-то слабодушие, какое-то почти неудержимое стремление потакать всем своим желаниям, — ну, что ж, по крайней мере в данном случае этот недостаток послужит благой цели.

Он подошел к окну, чтобы немного собраться с мыслями, потом сразу же приказал унести еду и отправил посыльного к фрау Грубах, чтобы тот сообщил о его отъезде и принес его саквояж, в который фрау Грубах должна была уложить то, что сочтет нужным; затем он дал господину Дерзье ряд деловых поручений на время своего отсутствия (в этот раз почти не рассердившись на уже ставшую привычной невежливую манеру господина Дерзье выслушивать поручения глядя в сторону, так, словно он и сам прекрасно знает, что он должен делать, и эту дачу поручений рассматривает только как церемонию) и, наконец, отправился к директору. Когда он попросил ди-

ректора предоставить ему двухдневный отпуск, поскольку ему нужно съездить к матери, тот, естественно, спросил, не заболела ли мать К.

— Нет, — сказал К. без каких-либо дальнейших разъяснений.

Он стоял посреди кабинета, заложив руки за спину, и напряженно размышлял, наморщив лоб. Не слишком ли он поторопился с этими приготовлениями к отъезду? Не лучше ли было бы ему остаться здесь? Зачем он туда едет? Или он хочет поехать туда просто из сентиментальности? И из-за этой сентиментальности, может быть, упустит здесь что-то важное, какую-то возможность вмешаться, которая может представиться в любой день и в любой час, особенно теперь, когда процесс, похоже, уже неделями не движется и почти ничего определенного о нем не слышно? И не испугает ли он к тому же старую женщину, чего он, естественно, не желает, но что очень легко может произойти помимо его желания, поскольку сейчас многое происходит помимо его желания, а мать его вовсе не зовет? Раньше в письмах кузена регулярно повторялись настойчивые приглашения матери, а теперь — нет, и уже давно. То есть он ехал туда не ради матери, это было ясно. Но если он ехал туда ради каких-то

собственных надежд, то тогда он полный дурак, и окончательное отчаяние будет ему там наградой за его глупость. Однако все эти сомнения были словно бы не его собственные, их словно бы пытались внушить ему какие-то посторонние люди, и, буквально очнувшись, он остался при своем решении ехать. Директор, который в это время случайно или, что было более вероятно, из особой деликатности по отношению к К. отвлекся, склонившись над газетой, теперь тоже поднял глаза, встал, подал К. руку и, не задавая более никаких вопросов, пожелал ему удачной поездки.

Затем К. еще подождал посыльного, расхаживая вдоль и поперек по кабинету, отделался от заместителя директора, почти ничего ему не отвечая, когда тот несколько раз заходил осведомляться о причине отъезда К., и, получив, наконец, свой саквояж, сразу же поспешил вниз к заранее вызванному экипажу. В последний момент, когда К. уже сбегал с лестницы, наверху появился клерк Покатульрих с недописанным письмом в руке, по поводу которого он, очевидно, хотел получить от К. какие-то указания. К. на ходу отмахнулся от него, но этот туго соображавший большеголовый блондинчик неверно истолковал жест К. и опасными для жизни прыжками

помчался, взмахивая своим листком, вдогонку за К. Последний был настолько этим раздосадован, что когда Покатульрих уже на ступенях крыльца догнал его, К. отнял у него письмо и разорвал в клочки. Оглянувшись уже из пролетки, К. увидел, что Покатульрих, по-видимому, все еще не осознававший своей ошибки, стоял на том же месте и смотрел вслед отъезжающему экипажу, а рядом с ним швейцар натягивал, низко надвигая на лоб, фуражку. Это означало, что К. все еще был одним из высших чиновников банка, и если бы он захотел это отрицать, швейцар бы его опроверг. А мать, несмотря на все возражения, считала его даже директором банка, причем уже не один год. В ее глазах он не мог упасть, как бы много он ни потерял во мнении прочих. Быть может, это было хорошим предзнаменованием — как раз перед своим отбытием убедиться в том, что он все еще чиновник, который имеет связи даже с судом, и может отнять и без всяких объяснений разорвать письмо, и руки у него после этого не отсохнут.[23]

...Впрочем, сделать то, что он больше всего хотел бы сделать, закатить этому Покатульриху пару звонких оплеух по его бледным круглым

---

[23] Примечания: 23
С этого места — зачеркнуто.

щекам — он не мог. Но с другой стороны, это было, конечно, очень хорошо, потому что К. ненавидел Покатульриха, и не только Покатульриха, но и Лобноместера, и Трубанера. Ему казалось, что он ненавидит их с давних пор; хотя впервые он обратил на них внимание при их появлении в комнате фрейлейн Бюрстнер, но его ненависть была старше. И в последнее время К. почти страдал от этой ненависти, потому что не мог ее удовлетворить; к ним было очень трудно подступиться, в данный момент они были самыми низшими чиновниками, причем совершенно ничтожными, не способными продвинуться по службе — а если и способными, то лишь механически, с течением лет, но и то медленнее, чем кто бы то ни было, — и поэтому ставить им палки в колеса было почти невозможно, никакая чужой рукой вставленная палка не повредила бы больше, чем глупость Покатульриха, лень Лобноместера и отвратительная лакейская скромность Трубанера. Единственное, что можно было против них предпринять, это организовать их увольнение; добиться этого было бы даже очень просто, нескольких слов К., сказанных директору, было бы достаточно, но на это К. не мог решиться. Может быть, он сделал бы это, если бы

заместитель директора, отдававший явное или тайное предпочтение всему, что К. ненавидел, вступился за этих троих, но для данного случая заместитель директора, как ни странно, сделал исключение и хотел того же, что и К.

Прокурор

Несмотря на опытность и знание людей, которые К. приобрел за долгое время службы в банке, круг завсегдатаев его пивной по-прежнему казался ему необыкновенно избранным, и он никогда сам от себя не скрывал, что принадлежать к такому обществу было для него большой честью. Общество это состояло почти исключительно из судей, прокуроров и адвокатов; допущены в него были и совсем юные чиновники и помощники адвокатов, однако они сидели в самом конце стола, и им позволялось вмешиваться в дебаты, только когда к ним обращались с вопросами. Такие вопросы, однако, задавались, большей частью, лишь с целью повеселить общество, и в особенности любил таким образом позорить молодых людей прокурор Хастерер, обычно сидевший рядом с К. Стоило прокурору положить на середину стола свою большую, покрытую густыми волосами руку с растопыренными паль-

цами и повернуться к дальнему концу стола, как все уже навостряли уши. И когда затем какой-нибудь из этих дальних, застигнутый вопросом, не мог сразу в нем разобраться, или задумчиво устремлял взгляд в свою кружку, или, вместо того чтобы говорить, начинал вхолостую двигать челюстями, или даже — это было хуже всего — неудержимым потоком извергал неверные или неавторитетные мнения, — тогда солидные господа усмехались, удобнее устраивались на своих местах и, казалось, лишь теперь начинали чувствовать себя комфортно. По-настоящему серьезная, профессиональная дискуссия оставалась забронированной только за ними.

К. был введен в это общество одним адвокатом, юрисконсультом его банка. Одно время К. пришлось вести с этим адвокатом долгие обсуждения банковских дел; беседы затягивались до позднего вечера и естественным образом завершались совместным ужином в этом кругу; К. нашел общество приятным. Он встретил здесь исключительно ученых, уважаемых и, в известном смысле, могущественных господ, отдых которых заключался в том, что они, прилагая максимум усилий, пытались разрешить трудные вопросы, лишь отдаленно связанные с повседневной

жизнью. И хотя его участие в этом, естественно, не могло быть очень значительным, но он тем не менее получал возможность узнать многие вещи, которые раньше или позже могли ему пригодиться в банке, и, кроме того, завязать личные отношения с судом, иметь которые всегда полезно. Да и общество, кажется, приняло его благосклонно. Его авторитет специалиста вскоре был признан, и мнение К. по вопросам его компетенции принималось в качестве неоспоримого, хотя, как водится, и не без некоторой сопутствующей иронии. Нередко случалось, что двое господ, по-разному смотревших на какой-то вопрос из области торгового права, хотели узнать точку зрения К. на фактическую сторону дела, и имя К. затем мелькало во всех аргументах и контраргументах и прикладывалось к абстрактнейшим умозаключениям, нить которых К. очень быстро терял. Однако, многое ему со временем стало понятнее, в особенности помог этому прокурор Хастерер, в котором К. нашел хорошего соседа, всегда готового дать добрый совет, да и просто настроенного на дружеское сближение человека. К. даже нередко провожал его вечером домой. Он только долго не мог привыкнуть идти под руку со здоровенным мужчиной, который мог совершен-

но незаметно спрятать его под своей крылаткой.

Но со временем они так притерлись друг к другу, что все образовательные, профессиональные и возрастные различия между ними сгладились. У них установились такие отношения, словно они знали друг друга с давних пор, и если внешне в этих отношениях кто-то и оказывался иногда выше другого, то это был не Хастерер, а К., поскольку в большинстве случаев сказывался его практический опыт, приобретенный в таких непосредственных сношениях с клиентами, возможность которых судейский стол просто исключал.

Эта дружба, естественно, скоро стала достоянием всего сообщества, все уже наполовину забыли, кто привел туда К., во всяком случае, теперь он перешел под покровительство прокурора, и если бы возник вопрос, на каком основании К. там сидит, он с полным правом мог бы указать на Хастерера. Но К. таким образом занял особенно удобную позицию, ибо Хастерера в той же степени уважали, в какой и боялись. Мощь и изворотливость его юридической мысли были достойны удивления, впрочем, в этом отношении многие господа ему по меньшей мере не уступали, но никто не мог сравниться с ним в свирепости, с которой он

отстаивал свое мнение. У К. сложилось впечатление, что если Хастереру и не удавалось убедить своего оппонента, то ему все же удавалось, по крайней мере, привести его в трепет; многие отшатывались уже от одного выброшенного вперед указательного пальца Хастерера. В таких случаях оппонент, похоже, забывал, что находится в обществе добрых знакомых и коллег, что речь идет все-таки только о теоретических вопросах и что на самом деле с ним никоим образом ничего не может случиться, — оппонент умолкал, и его покачивание головой уже было проявлением мужества. Случалось, что оппонент сидел далеко, и когда Хастерер, понимая, что на таком удалении никакого настоящего контакта возникнуть не может, отодвигал от себя тарелку с едой и медленно поднимался, чтобы дойти непосредственно до того человека, на это было нелегко смотреть. Сидевшие поблизости тогда запрокидывали головы, чтобы наблюдать за его лицом. Впрочем, это были лишь редкие единичные случаи; вообще же его приводили в возбуждение почти исключительно вопросы права, причем, главным образом, те, что касались процессов, которые он сам вел в прошлом или настоящем. Если же о таких вопросах речь не шла, он был дружелюбен и спокоен, улыб-

ка его была любезна, а страстность обращалась на еду и питье. Случалось даже, что он вообще переставал поддерживать общую беседу, поворачивался к К., облокачивался рукой на спинку его стула и расспрашивал его вполголоса о банке, а потом сам принимался рассказывать о своей работе или о своих знакомых дамах, которые отнимали у него не меньше сил, чем суд. Никто не видел, чтобы он подобным образом разговаривал с каким-либо иным членом этого сообщества, так что те, кто хотели о чем-то попросить Хастерера, — большей частью речь шла о попытках устроить примирение с каким-нибудь коллегой — зачастую вначале обращались к К. с просьбами о посредничестве, которые он всегда охотно и легко удовлетворял. Он вообще был очень вежлив и скромен со всеми, отнюдь не используя в этом плане своей связи с Хастерером, и, что было еще важнее, чем вежливость и скромность, умел правильно оценивать место господ в табели о рангах и обращаться с каждым в соответствии с его рангом. К тому же Хастерер постоянно давал ему надлежащие инструкции; это были заповеди, которых и Хастерер даже в самых возбужденных дискуссиях никогда не нарушал, в отличие от прочих. Поэтому и к тем юным господам на даль-

нем конце стола, которые еще не имели почти никакого ранга, он обращался всегда только с общими вопросами, словно там были не отдельные лица, а лишь сплошная сбившаяся в кучу масса. Но именно эти господа выказывали ему наибольшее почтение, и когда около одиннадцати часов он поднимался, чтобы идти домой, кто-нибудь из них всегда тут же оказывался рядом, помогая надеть тяжелый плащ, а какой-нибудь другой, низко склоняясь, открывал перед ним дверь и, естественно, держал ее до тех пор, пока вслед за Хастерером не покидал зал и К.

И если в первое время К. лишь провожал Хастерера — или тот провожал К., — то позднее такие вечера, как правило, заканчивались тем, что Хастерер просил К. зайти с ним к нему в квартиру и побыть немного у него. Там они и проводили еще добрый час за шнапсом и сигарами. Эти вечера так полюбились Хастереру, что он не хотел отказываться от них даже тогда, когда у него в течение нескольких недель проживала некая дама по имени Элен. Это была толстая молодящаяся женщина с желтоватой кожей и черными локонами вокруг лба. Поначалу К. видел ее только в постели, обычно она вполне бесстыдно валялась там, читала очередной выпуск романа с продол-

жением и никакого интереса к разговору господ не проявляла. Только когда уже становилось поздно, она начинала потягиваться, зевать и, если не могла обратить на себя внимание другим способом, швыряла в Хастерера выпуском своего романа. Тогда Хастерер, улыбаясь, вставал, и К. откланивался. Однако позднее, когда Хастерер начал уставать от этой Элен, она уже ощутимо мешала их контактам. Она теперь всякий раз ожидала господ вполне одетой, более того, она, как правило, надевала платье, которое, по-видимому, считала очень шикарным и изящным и которое в действительности было старым вычурным бальным платьем; особенно неприятное впечатление производили несколько рядов длинной бахромы, навешанной на него для украшения. Как в точности выглядит это платье, К. вообще не знал, он, в некотором роде, избегал на него смотреть и часами сидел там опустив глаза, в то время как она ходила враскачку по комнате или сидела поблизости от него. Позднее, из-за того, что ее положение становилось все более шатким, она по необходимости даже пыталась возбудить ревность Хастерера, оказывая предпочтение К. Лишь эта необходимость, а никак не злость заставляла ее налегать на стол, выгибать

оголенную круглую жирную спину и приближать к К. свое лицо, пытаясь таким образом заставить его поднять глаза. Она добилась этим лишь того, что К. начал уклоняться от посещений Хастерера; когда же через некоторое время он все-таки снова к нему зашел, Элен была уже окончательно отправлена в отставку, которую К. принял как нечто само собой разумеющееся. В этот вечер их встреча особенно затянулась, по инициативе Хастерера они пили брудершафты, и К., возвращаясь домой, чувствовал себя несколько оглушенным от всего этого питья и куренья.

И как раз на следующее утро в банке директор в ходе какого-то делового разговора мимоходом заметил, что, кажется, видел К. вчера вечером, причем, если он не ошибается, К. шел под руку с прокурором Хастерером. Судя по всему, директору это показалось настолько необычным, что он даже назвал церковь, у продольной стены которой, неподалеку от фонтана, и произошла указанная встреча, — это, впрочем, соответствовало его обычной привычке к точности, и если бы ему надо было описать какой-нибудь мираж, он не смог бы выражаться иначе. К. пришлось объяснять, что Хастерер его друг и что они действительно вчера вечером проходили мимо церкви. Директор

удивленно улыбнулся и предложил К. присесть. Это было одно из тех мгновений, за которые К. так любил директора, — мгновений, в которые этот слабый, болезненный, кашляющий, перегруженный ответственнейшей работой человек вдруг проявлял какую-то определенную заботу о благополучии К. и о его будущем. Эту заботу, впрочем, можно было по примеру других чиновников, также испытавших на себе подобное отношение директора, назвать формальной и холодной, в ней можно было увидеть лишь удобное средство, с помощью которого директор, затратив на ценного сотрудника две минуты, привязывал его к себе на годы, — как бы там ни было, на К. такие директорские мгновения действовали неотразимо. Возможно также, что и директор разговаривал с К. несколько иначе, чем с другими, причем ему совсем не нужно было забывать свое служебное превосходство, чтобы вставать с К. на дружескую ногу, — наоборот, он регулярно делал это в повседневном деловом общении, но тут, казалось, просто забывал о должности К. и разговаривал с ним, как с каким-нибудь ребенком или неопытным молодым человеком, который еще только домогается должности и в силу каких-то непонятных причин вызвал к себе расположение

директора. Разумеется, К. подобной манеры обращения не потерпел бы ни от кого-то другого, ни от самого директора, если бы эта забота не казалась ему искренней или, по крайней мере, если бы он не был совершенно очарован возможностью такой заботы, какой она представлялась ему в эти мгновения. К. знал за собой такую слабость; быть может, причина ее заключалась в том, что в этом смысле он действительно сохранял в себе еще что-то детское, поскольку никогда не знал заботы собственного отца, умершего очень молодым, рано ушел из дома и, скорее, отстранял, чем вызывал нежность матери, которая, полуослепнув, все еще жила в том же неизменном городишке и которую он последний раз навещал около двух лет назад.

— Об этой дружбе я и не подозревал, — сказал директор, лишь слабой дружеской улыбкой смягчая строгость своих слов.

Дом

Не связывая с этим поначалу никаких определенных намерений, К. при всяком удобном случае старался узнать, где помещается то учреждение, в недрах которого появилась первая бумага по его делу. Он узнал это без труда: и Титорелли, и Воль-

фарт после первого же его вопроса назвали ему точный номер дома. Позднее Титорелли, с улыбочкой, которая у него всегда была наготове для всяких тайных планов, не представленных ему на рассмотрение, дополнил свою справку, заявив, что как раз это учреждение никакого значения не имеет, оно лишь озвучивает то, что ему спускают, и является лишь самой внешней, крайней частью огромного собственно обвинительного органа, который, однако, для обвиняемых недоступен. Так что если от этого органа обвинения чего-то желают — желаний, естественно, всегда много, но не всегда стоит их высказывать, — то, разумеется, надо обращаться в упомянутую внешнюю службу, однако этим путем не удастся ни дойти до самого обвинительного органа, ни довести до него свое желание.

К. уже знал манеру художника, поэтому он не возражал ему и не пытался расспрашивать подробнее, а только кивал головой, наматывая услышанное на ус. Ему снова, как уже не раз в последнее время, казалось, что, в отношении мучительства, Титорелли — более чем убедительная замена адвокату. Разница заключалась лишь в том, что К. не был целиком отдан на милость Титорелли и мог когда угодно без всяких

церемоний от него избавиться, в том, далее, что Титорелли был чрезвычайно общителен, даже болтлив — хотя сейчас и не так, как раньше, — и в том, наконец, что и К., со своей стороны, имел прекрасную возможность мучить Титорелли.

Он пользовался ею и в этом случае, частенько говоря о том доме таким тоном, словно что-то скрывал от Титорелли, словно он завязал с той службой какие-то отношения, но еще не зашедшие настолько далеко, чтобы о них можно было рассказывать ничего не опасаясь; если же Титорелли после этого пытался вытянуть из него более определенные сведения, К. резко уходил от этой темы и потом долго к ней не возвращался. Он радовался своим маленьким успехам, они убеждали его в том, что теперь он уже намного лучше понимает этих людей, толпящихся вокруг суда, теперь он уже может ими играть, он сам уже почти вошел в их круг, и его кругозор, по крайней мере в какие-то мгновения, оказывается шире, чем у них, и, значит, он поднимается выше той, в известном смысле, первой ступени суда, на которой они стоят. Но что будет, если он в конце концов все-таки потеряет свое положение здесь, внизу? Что ж, и в этом случае еще оставалась возможность спасения там, нужно было только

затесаться в ряды этих людей, и даже если они в силу своей низости или в силу других причин не смогут помочь ему в его процессе, то уж принять его и спрятать они смогут; да, если он все как следует продумает и скрытно обделает, они просто не смогут отказать ему в таком одолжении, в особенности Титорелли, для которого он ведь теперь близкий знакомый и благодетель.

Но такого рода надеждами К. питался отнюдь не каждый день, в целом он судил еще вполне трезво, не позволяя себе пренебрегать какими-то трудностями или перешагивать через них, и все же иногда, особенно по вечерам, после работы, когда он находился в состоянии полного изнеможения, он находил утешение в мельчайших и к тому же далеко не однозначных подробностях дневных происшествий. Обычно он ложился тогда на диване в своем кабинете — он уже просто не мог покинуть кабинет, не отдохнув хотя бы час на этом диване — и мысленно нанизывал на одну нить впечатление за впечатлением. Не проявляя излишнего педантизма, он не ограничивался только людьми, связанными с судом, в этом полусне перемешивались все, и он забывал тогда об огромной работе суда, ему казалось, что он единственный обвиняемый, а все остальные

только проносятся мимо, как чиновники и юристы в коридорах какого-нибудь здания суда, и у всех, даже у самых тупых — опущенные вниз головы, выпяченные губы и остановившиеся взгляды сознающих свою ответственность мыслителей. И потом всегда являлись компактной группой жильцы пансиона фрау Грубах, они стояли рядом, голова к голове, раскрыв свои пасти, словно какой-то хор обвинителей. Среди них было много незнакомых, поскольку К. давно уже не проявлял ни малейшего интереса к тому, что происходило в пансионе. Однако из-за множества незнакомых ему было неудобно приближаться к этой группе, хотя иногда, когда он искал среди них фрейлейн Бюрстнер, он и вынужден был это делать. К примеру, он облетал эту группу, и вдруг навстречу ему вспыхивали два совершенно чужих глаза и останавливали его. И фрейлейн Бюрстнер он тогда не находил, но когда он потом, чтобы исключить всякую ошибку, делал еще попытку, он обнаруживал ее в самой середине группы, обнимающей двух господ, которые стояли справа и слева от нее. Это производило на него бесконечно малое впечатление, в особенности потому, что эта сцена представляла собой не что-то новое, но лишь неизгладимое воспоминание

о пляжной фотографии, виденной им однажды в комнате фрейлейн Бюрстнер. Тем не менее, увидев такую сцену, К. удалялся от этой группы, и хотя он потом еще не раз возвращался сюда, но уже только пробегал быстрыми шагами вдоль и поперек здания суда. Он всегда прекрасно ориентировался в расположении всех помещений, какие-то дальние проходы, которых он никогда не мог видеть, казались ему знакомыми, словно он с давних пор здесь жил. Отдельные детали с болезненной отчетливостью снова и снова врезались в его сердце, к примеру, какой-то иностранец прогуливался в каком-то вестибюле, он был одет, как тореадор, его талия была словно вырезана ножом, его совсем короткий, жесткий, облегавший фигуру камзольчик был весь в желтоватых кружевах, сплетенных из грубой нити, и этот человек, ни на мгновение не останавливая своей прогулки, позволял К. непрерывно собой любоваться. Согнувшись, К. ходил вокруг него на цыпочках и не сводил с него широко раскрытых глаз. Он знал весь рисунок кружев, все дефекты бахромы, все линии камзольчика — и все равно не мог вдоволь насмотреться. Или, наоборот, он давно уже вдоволь насмотрелся, или, еще точнее, глаза бы его на это сроду не смотрели, но зрелище

его не отпускало. Что за маскарады устраивают за границей! — думал он и еще шире раскрывал глаза. И оставался в свите этого человека до тех пор, пока не поворачивался на диване и не впечатывался лицом в кожаную обивку.[24]

Он долго так лежал, и это действительно было отдыхом. Хотя и в это время он тоже думал, но — в темноте и без помех. Охотнее всего он думал о Титорелли. Титорелли сидит на стуле, а К. стоит перед ним на коленях, гладит его руки и ублажает его всеми доступными способами. Титорелли знает, чего К. добивается, но делает вид, будто он этого не знает, и этим немного мучает К. Но К., со своей стороны, знает, что в конце концов всего добьется, потому что Титорелли легкомысленный, легко поддающийся уговорам человек без строгого чувства долга, и ему даже не понятно, как суд вообще мог связаться с таким человеком. К. знает: если где-нибудь и возможен прорыв, то только здесь. Его не смущает бесстыдная улыбка Титорелли, которую тот, подняв голову, обращает в пустоту, он настаивает на своей просьбе, и его поглаживающие руки доходят до самых щек Титорелли. Он не слишком старается, он

[24] Примечания: 24
С этого места — зачеркнуто.

почти небрежен, он растягивает удовольствие, он уверен в успехе. Как просто обмануть этот суд! Наконец, словно подчиняясь какому-то закону природы, Титорелли нагибается к нему, и его дружески, медленно прикрываемые глаза показывают, что он готов исполнить просьбу; протягивается рука и крепко пожимает К. руку. К. поднимается, он, естественно, немного ликует, но Титорелли не допускает более никаких ликований, он обнимает К. и, убегая, увлекает К. за собой. Они уже в здании суда и бегут по лестницам, но не все время вверх, а то вверх, то вниз, не затрачивая никаких усилий, легко, как легкая лодка по волнам. И как раз когда К., глядя на свои ноги, приходит к выводу, что этот чудный способ передвижения уже не может принадлежать его прежней низменной жизни, как раз в этот момент над его опущенной головой свершается превращение. Свет, который прежде падал сзади, вдруг меняется и ослепительно вспыхивает спереди. К. поднимает голову, Титорелли кивает ему и поворачивает назад. К. вновь в коридоре здания суда, но все теперь спокойнее и проще. Никаких бросающихся в глаза деталей, К. окидывает все одним взглядом, освобождается от Титорелли и идет своим путем. На К. теперь новое длинное

темное платье, он ощущает его приятное тепло и его тяжесть. Он знает, что с ним произошло, но еще не хочет себе в этом признаться: он слишком этим счастлив. В каком-то из коридоров, в углу, там, где в одной стене распахнуто высокое окно, он находит на какой-то куче хлама свою старую одежду: черный пиджак, брюки в тонкую полоску и разостланную сверху рубашку с трепещущими рукавами.

Борьба с заместителем директора

Однажды утром К. почувствовал себя намного более свежим и готовым к сопротивлению, чем обычно. О суде он почти не думал, но если мысль о нем и приходила ему в голову, то ему казалось, что каким-то — разумеется, тайным, лишь в темноте, на ощупь отыскиваемым — приемом эту необозримо огромную организацию можно легко ухватить, вырвать и размозжить. Такое необычное состояние даже подвигло К. на то, чтобы пригласить заместителя директора зайти к нему в кабинет для совместного обсуждения одного давно уже назревшего делового вопроса. В подобных случаях заместитель директора всегда вел себя так, словно его отношения с К. не претерпели за последние месяцы ни малейших

изменений. Так же, как и в прежние времена их постоянного соперничества с К., он спокойно приходил, спокойно выслушивал рассуждения К., выказывая мелкими фамильярными и даже товарищескими замечаниями свое участие, и единственное, что смущало в нем К., но в чем нельзя было усмотреть никакого умысла, было то, что он не позволял себе ни на что отвлекаться от основного делового вопроса и был готов разбирать дело буквально до самых последних его корней, в то время как мысли К. сразу же начинали разбегаться во все стороны от такого образцового исполнения долга, вынуждая К. почти без сопротивления уступать само дело заместителю директора. Один раз дошло даже до того, что К. уже только в конце успел заметить, как заместитель директора вдруг встал и молча вернулся к себе в кабинет. К. не знал, что произошло; обсуждение могло просто уже закончиться, но точно так же могло быть, что заместитель директора прервал его из-за того, что К. невольно его оскорбил, или сказал какую-то глупость, или заместитель окончательно убедился в том, что К. его не слушает и занят посторонними вещами. Могло быть даже и так, что К. принял какое-то смехотворное решение или что заместитель

директора вытянул его из К. и теперь побежал его реализовывать во вред К. Больше, однако, к этому вопросу не возвращались, К. не хотел о нем вспоминать, а заместитель директора держался отчужденно; впрочем, никаких видимых последствий пока что не проявлялось. Но это происшествие К. во всяком случае не испугало, и едва только появлялся подходящий повод, как он — если чувствовал себя хоть сколько-нибудь сносно — уже стоял перед дверью кабинета заместителя директора с намерением зайти к нему или пригласить его к себе. На то, чтобы прятаться от него, как он это делал раньше, у К. больше не было времени. Он уже не надеялся на какой-то скорый решительный успех, который разом освободит его от всех забот и автоматически восстановит старые отношения с заместителем директора. К. понял, что уступать сейчас нельзя: если он отступит — чего, может быть, требовало фактическое положение дел, — то возникнет опасность, что он, может статься, никогда уже больше не продвинется вперед. Заместитель директора не должен пребывать в уверенности, что с К. покончено, он не должен спокойно сидеть с этой уверенностью в своем кабинете, он должен беспокоиться. Он должен как можно чаще узнавать,

что К. жив и, как все живое, однажды может удивить его своими новыми способностями, пусть даже сегодня он отнюдь не выглядит опасным. Правда, иногда К. говорил себе, что этим методом он борется только лишь за свою честь, потому что какая могла быть польза от того, что он раз за разом проявлял в этих противостояниях с заместителем директора свою слабость, укреплял в нем сознание силы и давал ему возможность следить за состоянием дел и принимать свои меры в точном соответствии с текущими обстоятельствами? Но К. совершенно не мог изменить своего поведения, он поддавался самообманам, он иногда бывал просто убежден, что именно сейчас без всяких опасений может померяться с заместителем директора, самый горький опыт ничему не мог его научить, он верил, что то, чего ему не удалось достигнуть в десяти попытках, он возьмет с одиннадцатой, хотя все кончались совершенно одинаково не в его пользу. Приходя в себя после очередной такой встречи, измотанный, в поту, с пустой головой, он уже не знал, что его понесло в этот раз к заместителю директора, что это было, надежда или отчаяние, но в следующий раз это уже совершенно однозначно была только надежда, — только с ней его и несло

к двери заместителя директора.[25]

В это утро указанная надежда выглядела особенно обоснованной. Заместитель вошел медленно, держась рукой за лоб, и пожаловался на головную боль. К. вначале хотел откликнуться на это замечание, однако затем опомнился и немедленно начал изложение вопроса, не обращая никакого внимания на головную боль заместителя директора. Но то ли эта боль была не очень сильна, то ли интерес к делу заставил ее на некоторое время отступить, — так или иначе, в ходе обсуждения заместитель директора убрал руку со лба и начал отвечать как всегда, находчиво и почти не задумываясь, словно какой-нибудь первый ученик, перебивающий ответом еще не законченный вопрос. На этот раз К. сумел дать ему отпор и отбить несколько его атак, но мысль о его головной боли все время беспокоила К., словно эта боль была не слабостью, а каким-то преимуществом заместителя директора. То, как он переносил и преодолевал эту боль, было достойно восхищения! Иногда он усмехался, хотя его слова не давали для этого никаких оснований; казалось, он хвастался тем, что может думать и с больной

[25] Примечания: 25

С этого места и до слов «получать от него специальные задания» — зачеркнуто.

головой. И в то время как они говорили о совсем других вещах, параллельно шел молчаливый диалог, в котором заместитель директора хоть и не отрицал интенсивность своей головной боли, но постоянно указывал на то, что это вполне безобидная боль, то есть совершенно не такая, какой обычно мучался К. А если К. возражал, то заместитель директора опровергал его тем, как он справлялся с этой болью. В то же время эта боль была для К. примером. Разве не мог и он так же отрешиться от всех своих забот, которые не относятся к его профессии? Нужно было только еще больше, чем до сих пор, углубиться в работу, вводить в банке нововведения, поддержание которых потребовало бы от него длительных усилий, укреплять визитами и поездками свои несколько ослабевшие связи с деловым миром, чаще подавать директору докладные и стараться получать от него специальные задания.

Так было и сегодня. Заместитель директора быстро вошел в кабинет, остановился неподалеку от двери, протер по усвоенной с недавних пор привычке пенсне и внимательно осмотрел сперва К., а затем — чтобы его интерес к К. не так бросался в глаза — и всю комнату. Казалось, он пользуется случаем, чтобы проверить остроту

зрения своих глаз. К. выдержал эти взгляды — даже слегка усмехнулся — и пригласил заместителя директора садиться. Сам он, опустившись в кресло и придвинув его как можно ближе к заместителю директора, сразу взял со стола нужные бумаги и начал свой доклад. Заместитель директора вначале, казалось, почти не слушал. По краю крышки письменного стола К. шла низенькая резная балюстрадка. Стол вообще был прекрасно сработан, и балюстрадка тоже держалась крепко, но заместитель директора повел себя так, словно именно теперь обнаружил в ней какое-то слабое место, и, с целью устранения дефекта, пытался указательным пальцем выдернуть балюстрадку из крышки стола. К. хотел на это время прервать свой доклад, однако заместитель директора не позволил этого сделать, заявив, что очень хорошо все слышит и понимает. Но в то время когда К. никаких комментариев по делу требовать от него еще не мог, балюстрадка, очевидно, потребовала применения специальных средств, потому что теперь заместитель директора вытащил из кармана перочинный нож и, используя в качестве рычага линейку К., попытался вытащить балюстрадку таким способом, — по-видимому, для того, чтобы потом легче было загнать ее по-

глубже. К. выдвигал в своем докладе совершенно новое предложение, которое, как он ожидал, должно было произвести сильное впечатление на заместителя директора, и, дойдя теперь до этого предложения, он уже просто не мог остановиться, так его захватила собственная работа, или, скорее, так сильно он радовался этому все реже его посещавшему сознанию того, что он здесь, в банке, еще кое-что значит и что в его мыслях еще достаточно силы для того, чтобы оправдаться. Может быть даже, такой способ защиты был лучшим не только в банке, но и в его процессе; может быть, этот способ был намного лучше всех тех, которые он уже применял или планировал применить. Увлеченный своей речью, К. совершенно не имел времени на то, чтобы недвусмысленно отвлечь заместителя директора от его работы над балюстрадкой; читая, К. лишь пару-тройку раз, как бы для успокоения, провел свободной рукой по балюстрадке, показывая заместителю директора — хотя он сам почти не отдавал себе в этом отчет, — что нет в этой балюстрадке никаких дефектов и что даже если бы какой-то и был, слушать в данный момент важнее и, вообще говоря, вежливее, чем заниматься какими бы то ни было починками. Но, как это часто бывает

с живыми людьми, занятыми исключительно умственной деятельностью, занявшись этой ручной работой, заместитель директора вошел в раж; в самом деле, кусочек балюстрадки был уже выдернут, и задача теперь состояла в том, чтобы вставить балясинки обратно в свои отверстия. Это было труднее, чем все предшествующее. Заместителю директора пришлось встать, чтобы попытаться двумя руками вдавить балюстрадку в крышку. К., занятый чтением, которое он, впрочем, перемежал значительно более свободными импровизационными вкраплениями, лишь подсознательно отметил, что заместитель директора встал. Хотя почти не было такого мгновения, когда бы К. совсем потерял из виду побочное занятие заместителя директора, он тем не менее решил, что это движение заместителя директора все же каким-то образом связано с его докладом, поэтому К. тоже встал и, держа палец под одной из цифр, протянул тому бумагу. Но заместитель директора тем временем уже понял, что усилия рук недостаточно, и, с мгновенной решимостью воздействовать всем своим весом, уселся на балюстрадку. На этот раз получилось, и балясинки со скрипом вошли в отверстия, но из-за некоторой поспешности одна балясинка отломилась и

в одном месте тонкая верхняя планочка разъехалась надвое. «Негодный материал», — с досадой сказал заместитель директора.

Фрагмент

Когда они вышли из театра, накрапывал мелкий дождь. К. и так уже был утомлен самой пьесой и плохим исполнением, мысль же о том, что он должен поселить у себя дядю, совершенно его подавляла. Именно сегодня ему было очень нужно переговорить с ф. Б., может быть, представилась бы и возможность с ней договориться, но общество дяди полностью это исключало. Был, впрочем, еще один ночной поезд, которым дядя мог бы воспользоваться, но рассчитывать на то, что его можно будет склонить к отъезду сегодня, когда он был так обеспокоен процессом К., кажется, не приходилось. Тем не менее, К., не питая больших надежд, сделал одну попытку:

— Боюсь, дядя, — сказал он, — что в ближайшее время мне действительно понадобится твоя помощь. Я еще точно не знаю, какая именно, но в любом случае она мне понадобится.

— Можешь на меня рассчитывать, — сказал дядя, — я же все время только и думаю о том, как тебе помочь.

— Ты все такой же, — сказал К., — я только боюсь, что тетя на меня рассердится, когда я в следующий раз вынужден буду тебя просить снова приехать.

— Твое дело важнее таких неприятностей.

— С этим я не могу согласиться, — сказал К., — но как бы там ни было, я не хочу отнимать тебя у тети; по всей видимости, ты понадобишься мне в самое ближайшее время, поэтому пока что тебе, может быть, лучше поехать домой?

— Завтра?

— Да, завтра, — сказал К., — или, может быть, сейчас, ночным поездом, это было бы удобнее всего.

Теодор Адорно
ЗАМЕТКИ О КАФКЕ

Посвящается Гретель[26]
Если Господь Бог, творя этот мир, давал имена вещам, то, отнимая у них имена или давая им новые, художник творит его вновь.
Марсель Пруст

1

Кафка в моде; его бесприютность создает уют, из него сделали универсальное бюро справок по всем вопросам человеческой ситуации;[27] ответы даются быстро, и авторитетные толкования гасят как раз тот скандал, на который были рассчитаны его произведения, — участвовать во всем этом, добавлять к набору расхожих мнений еще одно, пусть даже отличное от прочих, — отвратитель-

[26] Примечания: 26

Гретель Адорно (урожд. Карплюс) — жена, сотрудница, секретарь и соиздатель трудов философа.

[27] Примечания: 27

Понятие «человеческая ситуация» ввел Ж.-П. Сартр в работе «Размышления о еврейском вопросе» (см.: Нева. 1991. № 7. С. 148).

но. Но именно эта его ложная слава и выбранный им фатальный вариант посмертной судьбы[28] — забвение, которого он, кажется, так отчаянно желал, заставляют упорствовать в решении его загадки. То, что о нем написано, помогает мало; большая часть этих аналитик — экзистенциализм. Классификаторы приписывают Кафку к одному из учрежденных направлений, не останавливаясь перед тем, что затрудняет подобную классификацию и именно поэтому требует истолкования. Неужели Кафка ничего больше не сказал, кроме того, что человеку уже не будет спасения, что путь к Абсолюту ему перекрыт, что его жизнь темна и запутана — или, как теперь выражаются, «погружена в ничто»[29] — и что человеку остается лишь скромно и без больших упований исполнять повседневные обязанности и приспосабливаться к обществу, которое именно этого и ждет и которое Кафке незачем было оскорблять, если он так солидарен с общим мнением? И для этого требовался такой сизифов

---

[28] Примечания: 28

Кафка умер, не оставив завещания, но в его бумагах были найдены два письма, содержавшие его последнюю просьбу: сжечь все, им написанное.

[29] Примечания: 29

Так говорил Хайдеггер.

труд? И это объясняет подобную Мальстрему силу его произведений? Когда такого рода толкования обосновывают тем, что, мол, Кафка на деле ничего так прямо не высказывал, а, будучи художником, давал символическое изображение реальности, то это хоть и продвигает нас в понимании неадекватности использованных формулировок, но не слишком далеко. Ибо всякое изображение либо реалистично, либо символично; не имеет значения, насколько плотно пригнаны друг к другу символы, и удельное содержание реальности в них не сказывается на символическом характере целого. Так, гетевская «Пандора» по своему «чувственному составу» определенно не уступит какому-нибудь роману Кафки, и тем не менее не может быть никаких сомнений в символичности этого драматического фрагмента, причем символическое значение его образов (например, Эльпоры, воплощающей надежду) может и выходить за рамки непосредственно подразумевавшегося. Вообще, если эстетическое понятие символа (с которым далеко не все в порядке) должно означать нечто существенное, то лишь то, что отдельные моменты художественного произведения выводят к тому, что выше их: они сливаются в некую «тотальность», безобрывно

перетекающую в смысл. Но менее всего это подходит к Кафке. Ведь даже в таких произведениях, как упомянутая вещь Гете, где столь глубока и осмысленна игра с аллегориями, эти аллегории, в силу взаимосвязи, в которой они находятся, уступают свое значение порыву целого. А у Кафки все жестко, определенно и членораздельно настолько, насколько это возможно, — как в приключенческом романе, на знамени которого начертана максима Джеймса Фенимора Купера из предисловия к его «Красному Корсару»: «Истинный „золотой век“ литературы не наступит до тех пор, пока книги не станут по форме точны, как судовой журнал, а по содержанию афористичны, как рапорт вахтенного». Где же свечение ауры бесконечной идеи? где открывающиеся горизонты? — нет их у Кафки. У каждой фразы свой буквальный смысл и свое значение. И они не слиты воедино, как это было бы в символе, между ними зияющая пропасть, и из этой бездны бьет ослепительно яркий луч очарования. Проза Кафки еще и потому граничит с беззаконием, что она, вопреки известным протестам его друга,[30]

[30] Примечания: 30

Имеется в виду австрийский писатель и критик Макс Брод (1884–1968) — ближайший друг и душеприказчик Кафки, его первый биограф и издатель его сочинений.

тяготеет скорее к аллегории, чем к символу. Беньямин[31] не случайно определил ее как параболу. Она высказывает себя не в высказывании, а в отказе от него, в обрыве речи. Это такая параболика, ключ к которой украден, и даже тот, кто именно это попытается использовать в качестве ключа, ошибется, посчитав темноту земного существования — абстрактный тезис Кафки — содержанием его произведений. Каждая его фраза говорит: истолкуй меня — и ни одна из них этого не потерпит. Каждая фраза вызывает реакцию: «Вот так оно и есть» — и вопрос: «Я это знаю, но откуда?»; эффект непрерывного déjà vu.[32] Силой потребности в истолковании Кафка уничтожает эстетическую дистанцию. Он требует от некогда безучастного созерцателя отчаянных усилий, набрасывается на него и убеждает его в том, что от правильности понимания зависит отнюдь не только его душевное равновесие, но жизнь и смерть. То, что это контемплятивное отношение читателя к тексту оказывается в корне нару-

[31] Примечания: 31

Беньямин, Вальтер (1892–1940) — немецкий философ, социолог и литературный критик.

[32] Примечания: 32

В психоневрологии феномен «ложной памяти» (фр., букв.: «уже виденное»).

шенным, занимает не последнее место в ряду предпосылок феномена Кафки. Его тексты рассчитаны на то, что расстояние между ними и их жертвой не остается неизменным: будоража чувства жертвы, они заставляют ее испытывать ужас от ощущения, что рассказанное наезжает на нее, как когда-то локомотив — на зрителей первых стереофильмов. Такое агрессивное физическое сближение парализует читательскую привычку отождествлять себя с персонажами романа. Этот принцип дает основания и для сюрреалистических прочтений Кафки. Он — перелившаяся в литеры Турандот. Кто это заметит и не сочтет за лучшее убежать без оглядки, должен будет подставить собственную голову или, вернее, попытаться пробить ею стену, рискуя тем, что результат окажется не лучше, чем у предшественников. Их судьба, как в сказке, вместо того чтобы отпугнуть, только подзадоривает. И если разгадка не найдена, виновным остается читатель.

2

О Кафке более, чем о ком-либо другом, можно было бы сказать, что не столько verum,[33] сколько

---

[33] Примечания: 33
Правда *(лат.)*.

falsum[34] есть index sui.[35] Однако в дело распространения ложных мнений некоторый вклад внес и он сам. Философемы обоих его больших романов, «Замка» и «Процесса», кажутся «прямо на лбу написанными» — и при всем своем идейном весе отнюдь не уличают в лжесвидетельстве заглавие труда, являющегося неким теоретическим конволютом[36] Кафки: «Рассуждения о грехе, страдании, надежде и пути истинном». Но все же для художественного произведения такое содержание не канонично. Художник не обязан понимать собственное творение, и есть особые причины сомневаться в том, что Кафка был на это способен. Во всяком случае, его афоризмы едва ли поднимаются до уровня таких загадочных историй и эпизодов, как «Забота отца семейства» или «Всадник на ведре». Творчество Кафки уберегло себя от убийственного для художника заблуждения: считать, что философия, закачанная автором

---

[34] Примечания: 34

Ложь *(лат.)*.

[35] Примечания: 35

Пробный камень себя самой *(лат.)*.

Адорно препарирует ставшую крылатой фразу Спинозы: «Verum index sui et falsi» («Истина — пробный камень себя самой и лжи»)

[36] Примечания: 36

Афоризмы, составившие «Рассуждения…», Кафка писал на отдельных, пронумерованных листочках.

в произведение, составляет его метафизическое содержание. Будь это так, вещь была бы мертворожденной: она исчерпывалась бы тем, что ею сказано, и не развертывалась бы во времени. Вот что могло бы стать первым правилом защиты от короткого замыкания на чересчур скороспелое, самой вещью уже заданное истолкование: все принимать буквально, ничего не прикрывать накладными понятиями. Авторитет Кафки — это авторитет его текстов. Тут уж если что и поможет, то лишь верность букве, а не предвзятое понимание. В художественном произведении, которое беспрерывно себя затемняет и дезавуирует, все определенные высказывания уравновешивают генеральное условие неопределенности. Кафка пытается саботировать выполнение этого правила, допуская в одном месте романа заявление о том, что все, сообщаемое из Замка, не следует понимать «дословно». Тем не менее, если мы не хотим утратить всякую почву под ногами, мы должны придерживаться того, что, как сказано в начале «Процесса», кто-то, по-видимому, написал на Йозефа К. донос, «поскольку однажды утром он был арестован, хотя ничего противозаконного не совершил». Точно так же невозможно оставить без внимания то, что в начале «Замка»

К. спрашивает: «В какой это замок я попал?[37] Здесь что, есть какой-то замок?» — то есть никак не может быть приглашенным. Ничего не известно ему и об этом графе Вест-весте,[38] имя которого возникает лишь однажды и упоминания о котором становятся все реже, а затем и вообще исчезают — подобно тому, как в одной из парабол Кафки Прометей сливается со скалой, к которой он прикован, после чего о нем забывают. Как бы то ни было, этот принцип дословности (по-видимому, отзвук экзегезы Торы в иудейской традиции) оправдывает себя в приложении ко многим текстам Кафки. Иногда те или иные слова, в особенности метафоры, вырываются из текста и обретают независимое существование. Йозеф К. умирает «как собака» — и Кафка пишет «Исследования одной собаки». Дословность в некоторых случаях доходит у Кафки до ассоциативного каламбура. Так, в «Замке» в истории семьи Барнабаса, там, где речь идет о чиновнике Сортини, говорится, что во время праздника

---

[37] Примечания: 37

Ошибка в цитате; у Кафки: «В какую это деревню я попал?»

[38] Примечания: 38

У Кафки написание слитное: «Вествест». Возможно, проявляя этимологию имени, Адорно хотел обратить на него наше внимание.

пожарной команды он оставался «у насоса».[39] Разговорное обозначение верного своему долгу человека принимается всерьез, важная персона остается у пожарного насоса — и одновременно, словно бы по недосмотру, возникает намек на грубое вожделение, заставляющее этого человека написать то роковое письмо Амалии (у Кафки, не уважавшего психологию, тексты изобилуют психологическими прозрениями; в частности, это касается связи в характере личности инстинктивного и навязанного извне). Принцип дословности, в меру применения которого многозначное удерживается от расплывания в безразличное, не оставляет места для весьма распространенных попыток соединить в интерпретациях Кафки претензии на глубину с необязательностью выводов. Как справедливо указывал Кокто, введение отчуждающего материала в виде сна всегда снимает остроту. Чтобы предотвратить подобные злоупотребления текстом, Кафка в один из ключевых моментов сам прерывает «Процесс» сном (этот поистине чудовищный фрагмент он

[39] Примечания: 39

Немецкое «bei der Spritze» («у насоса») в обиходной речи употребляется в нескольких значениях: «на своем месте», «на посту», «главная фигура».

опубликовал в сборнике «Сельский врач»[40]) и, по контрасту с этим сном, утверждает в качестве действительности все остальное, даже если все остальное само соткано из тех снов, о которых в «Замке» и «Америке» временами напоминают голоса, увлекающие в такие пучины страдания, что испуганный читатель уже не уверен, сможет ли он вынырнуть. Не последнюю роль в шокирующем воздействии его текстов играет то, что он принимает сны a la lettre.[41] Так как все, что не равно сновидению с его до-логичной логикой, исключается, то исключается и само сновидение. Шокирует не чудовищное, а его обыденность. Не успел землемер выставить из своей комнаты в трактире докучливых помощников, как они уже снова вернулись через окно (не задержав этим движение романа ни на слово дольше, чем необходимо для простого сообщения об этом); герой слишком утомлен, чтобы выставлять их еще раз.

Но как сам Кафка ведет себя по отношению

---

[40] Примечания: 40

Заглавие «Америка» дал роману издатель, Макс Брод, — в рукописи заглавие отсутствовало. В одном из писем, относящихся ко времени работы над романом, Кафка сообщал: «История, которую я пишу… называется „Пропавший без вести“ и разворачивается исключительно в Североамериканских Соединенных Штатах» (Письмо к Фелице Бауэр от 11 ноября 1912 года).

[41] Примечания: 41

Буквально, в прямом смысле *(фр.)*.

к снам, так и читателю следует вести себя по отношению к Кафке. А именно — вживаться в несоразмерные, непроницаемые детали, в «глухие» места. То, что пальцы Лени соединены перепонками, или то, что судебные исполнители похожи на теноров, важнее, чем отступления о законе. Это относится и к изображаемому, и к языку. Часто жесты создают контрапункт к словам: до-речевое, извлеченное из намерений обуздывает многозначность, которая, как ржавчина, разъедает у Кафки всякое значение. «„Письмо, — начал К., — я прочитал. Ты содержание знаешь?“ — „Нет“, — сказал Барнабас, его взгляд, казалось, говорил больше, чем его слова. Может быть, К. ошибался в нем так же, как в крестьянах, и он был не более добр, чем они — злы, но присутствие его действовало благотворно».[42] Или: «Ну, повод смеяться был, — примирительно сказала она. — Вы спросили, знаю ли я Кламма, а я ведь… — здесь она невольно чуть-чуть выпрямилась, и снова ее самоуверенный, совершенно не соответствовавший тому, что говорилось, взгляд скользнул по К., — а я ведь его возлюбленная».[43] Или, в

[42] Примечания: 42
«Замок», гл. 2.

[43] Примечания: 43
«Замок», гл. 3.

сцене расставания Фриды и землемера: «Фрида положила голову на плечо К.; обнявшись, они молча ходили взад-вперед. „Если бы мы, — медленно, спокойно, почти умиротворенно сказала Фрида (так, словно знала, что ей отпущено совсем немного времени отдыхать на плече К., но этим временем она собиралась насладиться до конца), — если бы мы сразу, в ту же ночь уехали, мы сейчас могли бы быть где-нибудь в безопасности, всегда вместе, твоя рука — всегда рядом, за нее можно ухватиться; мне так нужно, чтобы ты был рядом; с тех пор, как я узнала тебя, я так одинока, когда тебя нет рядом; поверь, единственное, о чем я мечтаю, — это чтобы ты был рядом, больше ни о чем“».[44] Такие жесты — это следы впечатлений, прикрытые значением. Это ранняя стадия речи, набухающей во рту того, кто говорит; это второе вавилонское столпотворение, неутомимо сопротивляющееся отрезвленно-четкой в остальном кафковской артикуляции и заставляющее его переворачивать, подобно зеркальному отражению, историческое соотношение понятия и жеста. Жест — это то самое «Вот так оно…», речь же, конфигурация которой должна быть правдой,

[44] Примечания: 44
«Замок», гл. 18.

разломана, и как таковая — неправда. «И особенно в речах вам бы надо посдержанней быть; почти все, что вы только что сказали, можно было понять и из вашего поведения, даже если бы вы всего несколько слов произнесли; к тому же все это не слишком говорило в вашу пользу».[45] За впечатлениями, отстоявшимися в жесты, рано или поздно следует толкование, представляющее собой Mimesis,[46] в котором мы должны узнать всеобщее, вытесненное здоровым человеческим рассудком. «В открытом окне вновь замаячила та же карга, с истинно старческим любопытством перешедшая теперь к окну напротив этого, чтобы и дальше все видеть», — говорится в сцене ареста в начале «Процесса». Кто не чувствовал, живя в каком-нибудь пансионате, что именно так, в точности так и за ним наблюдают соседи? и кому — со всей своей отвратительной обыденностью и непостижимой неизбежностью, — кому не являлся в этом лик судьбы? Умеющий разгадывать подобные ребусы понял бы в Кафке больше, чем тот, кто видит в нем некую онтологию в картинках.

---

[45] Примечания: 45
Наст. том, с. 19–20.

[46] Примечания: 46
Подражание *(греч.)*.

3

Само собой напрашивается возражение, что толкованию, построенному на такой основе, можно доверять не более, чем толкованию, построенному на любом ином элементе искаженного кафкианского космоса. Мол, эти его впечатления — всего лишь индивидуальные, случайные психологические проекции. И тот, кто считает, что соседи наблюдают за ним из окон или что голос, поющий в телефонной трубке, это собственный голос телефона (а тексты Кафки кишат подобными высказываниями), тот страдает навязчивыми идеями и манией преследования, а уж кто на этом выстраивает что-то вроде системы, тот просто параноик, и тексты Кафки нужны ему единственно для рационализации[47] собственного бреда. Это возражение легко опровергнуть, если рассмотреть отношение самого творчества Кафки к указанной сфере. Его фраза «Психология

[47] Примечания: 47

В психоанализе: бессознательное стремление индивида к рациональному обоснованию своих идей и поступков даже в тех случаях, когда они иррациональны.

— в последний раз»,[48] его замечание о том, что все им написанное можно интерпретировать психоаналитически, но эти интерпретации потребуют следующих, и так ad indefinitum,[49] — все эти декларации, равно как и традиционная заносчивость недавней идеологической защиты материализма, не должны соблазнять к выводу об отсутствии у Кафки точек соприкосновения с Фрейдом. Хороши были бы те глубины, за которые его — задним числом — так восхваляют, если бы в них отрицалось то, что лежит под ними. Взгляды Кафки и Фрейда на иерархию почти неразличимы. Одно из мест «Тотема и табу» гласит: «Табу короля слишком сильно для его подданного, так как социальное различие между ними слишком велико. Но какой-нибудь министр может стать вполне безвредным посредником между ними. В переводе с языка табу на обычную психологию это означает: подданный, страшащийся колоссального искушения, которым является для него соприкосновение с королем, вполне может

[48] Примечания: 48

Афоризм № 93 из «Рассуждений о грехе, страдании, надежде и пути истинном».

[49] Примечания: 49

До неопределенности *(лат.);* ср. известное латинское выражение «ad infinitum» — «до бесконечности».

перенести контакт с чиновником, которому у него нет причин так уж сильно завидовать и чье положение в принципе достижимо и для него самого. Министр же свою зависть к королю может умерить сознанием власти, предоставленной ему самому. Таким образом, преодолимых различий вводящей во искушение магической силы следует опасаться меньше, чем слишком больших».[50] В «Процессе» высокопоставленное лицо произносит: «Уже одного вида третьего [стража] даже я не могу вынести»; подобное же происходит и в «Замке». Попутно это проливает свет на некий ключевой прустовский комплекс: снобизм как желание унять страх перед табу посредством вхождения в круг посвященных: «так как не близость к Кламму сама по себе была для него достойна стремлений, ему было важно, чтобы он, К., именно он, а не кто-то другой, — со своими собственными, а не чьими-то желаниями пришел к Кламму, и пришел не для того, чтобы возле него успокоиться, а для того, чтобы пройти мимо него дальше, в Замок».[51] Равным обра-

[50] Примечания: 50

Freud S. Totem und Tabu. 2. Aufsatz, 2. Teil // Gesammelte Werke. Frankfurt a/M, 1960. Bd. 8.

[51] Примечания: 51

«Замок», гл. 9.

зом приводимое Фрейдом выражение délire de toucher,[52] справедливое в сфере табу, касается именно того сексуального волшебства, которое у Кафки притягивает друг к другу людей, принадлежащих иногда к далеко отстоящим друг от друга слоям общества. У Кафки есть намеки даже на заподозренное Фрейдом «искушение», а именно — убийство фигуры, олицетворяющей отца. В конце той главы «Замка», в которой хозяйка разъясняет землемеру, что для него никоим образом невозможно самому говорить с Кламмом, землемер оставляет за собой последнее слово: «„Так чего же вы боитесь? Уж не боитесь ли вы, чего доброго, за Кламма?“ Хозяйка молча смотрела ему вслед, как он сбегал вниз по лестнице, а за ним следовали помощники».[53]

Мы более всего приблизимся к пониманию отношений между исследователем несознаваемого и иносказителем непроницаемого, если вспомним, что Фрейд всякий архетипический сюжет — скажем, убийство отца первобытной орды, доисторическое сказание (например, о Моисее) или наблюдение в раннем возрасте со-

---

[52] Примечания: 52
Страх прикосновения *(фр.)*.

[53] Примечания: 53
«Замок», гл. 4. (Адорно опускает в цитате несколько слов).

ития родителей — воспринимал не как сгусток фантазии, а как совершенно реальное событие. В таких эксцентричностях Кафка следует за Фрейдом с шутовской верностью, доходя до абсурда. Он отрывает психоанализ от психологии. Но психоанализ, выводя индивида из аморфных и диффузных влечений, «Я» — из «Оно», и сам в известном смысле противопоставляет себя собственно психологическому. Личность перестает быть чем-то субстанциональным и становится всего лишь принципом организации соматических импульсов. Одушевленность у Кафки, как и у Фрейда, никакого значения не имеет, поэтому Кафка с самого начала ее почти и не замечает. От имеющих куда более почтенную историю естественнонаучных воззрений его отличает не утонченная духовность, а то, что своим скептическим отношением к «Я» он их, пожалуй, даже превосходит. Этому способствует и кафкианская буквальность. Как в каком-нибудь протоколе медэкспертизы, он исследует, что было бы, если бы показания собранного психоаналитического анамнеза оказались не метафорически и ментально достоверными, а жизненными. Он соглашается с психоаналитическими построениями, когда они изобличают иллюзорный характер культуры и

буржуазной индивидуации,[54] и он взрывает их, когда ловит на слове, понимая их точнее, чем сам психоанализ. Согласно Фрейду, психоанализ роется в «отбросах внешнего мира», под каковыми понимаются явления психические — ошибочные действия, сны и невротические симптомы. Кафка грешит против издавна установленных правил игры, претворяя в искусство не что иное, как сор действительности. Он не изображает картину надвигающегося общества непосредственно, ибо у него, как и вообще в большом искусстве, царит аскетизм в обрисовке будущего, — он монтирует ее из тех отходов, которые формирующееся новое выбрасывает из проходящего настоящего. Вместо исцеления неврозов он ищет в них самих целебную силу — силу познания: раны, которые социум выжигает на теле отдельного человека, прочитываются этим человеком как шифры социальной неправды, как негатив правды. Мощь Кафки — это мощь разрушения. Он сносит декоративные фасады, обнажая то безмерное страдание, с которым рациональный контроль все больше свыкается. В разрушении — никогда это слово не было так популярно, как

[54] Примечания: 54
В психоанализе: самореализация, «путь к себе».

в год смерти Кафки, — он не останавливается, подобно психологии, на субъекте, но добирается до субстанционального уровня, проникая сквозь видимое к тому субстанциональному, которое в субъективной сфере проявляется в ничем не смягченном обвале поддающегося, отказывающегося от всякого самоутверждения сознания. Эпический путь Кафки — бегство сквозь человека в нечеловеческое. Это падение человеческого гения, это судорожное непротивление, которое так идеально согласуется с моралью Кафки, парадоксально вознаграждается императивным авторитетом своего выражения. Этой до разрыва напряженной расслабленности непосредственно, нечаянно достается в виде «духовного тела» то, что было метафорой, значением, смыслом. Словно по мере того, как Кафка писал, развертывалась некая философская категориальная система, оплаченная в аду. «Безоконная» монада проявляет себя в качестве laterna magica[55] — матери всех картин, как у Пруста и Джойса. Всякий по своему опыту может почувствовать, где начинается индивидуация, что она скрывает и что сама из себя изгоняет, но уловить это не удастся

[55] Примечания: 55
Волшебный фонарь *(лат.)*.

без самоизоляции и самопогружения. Тому, кто захочет проследить возникновение аномальных впечатлений, которые у Кафки воспроизводят норму, надо где-нибудь в большом городе попасть в аварию: появляется бесчисленное количество свидетелей, объявляющих себя очевидцами, словно вся тварь господня собралась, чтобы поприсутствовать при наезде громадного автобуса на хлипкий таксомотор. Перманентное déjà vu есть всеобщее déjà vu. В этом исток популярности Кафки, которая превращается в предательство только тогда, когда из его текстов выпаривают всеобщее, сохраняя лишь напряжение смертельной замкнутости. Быть может, технизация, коллективизация этого déjà vu и есть скрытая цель его поэтического творчества. То самое лучшее, что было забыто, восстанавливается в памяти и силой заклятия загоняется в бутылку, как Кумская сивилла. Однако при этом самое лучшее превращается в самое худшее: «Умереть хочу», — но в этом будет отказано. Увековеченную бренность настигает проклятие.

4

Увековеченные жесты у Кафки — это остановленные мгновенья, вызывающие шок подобно

сюрреалистическому «оживлению» старых фотографий. Такая — неясная, почти совсем выцветшая — фотография играет свою роль и в «Замке». Хозяйка, сохранившая фотографию как то, что осталось у нее от соприкосновения с Кламмом (то есть с иерархией), показывает ее К., которому лишь с трудом удается что-то на ней различить. Некогда яркие сцены, вышедшие из-под купола цирка, с которым Кафка, вместе с авангардом своего поколения, чувствовал внутреннее сродство, многократно возникают в его произведениях; возможно даже, что все должно было стать такой сценой, и лишь интенциональная избыточность длинных диалогов предотвратила это. То, что балансирует на острие мгновения, как лошадь на задних ногах, фиксируется так, словно подобная поза должна сохраняться всегда. Очевидно, самый избитый пример мы находим в «Процессе». Стоит Йозефу К. открыть дверь кладовки, в которой днем раньше наказывали его сторожей, как начинается точное — вплоть до вчерашних возгласов — повторение сцены. «К. тут же захлопнул дверь и потом еще стукнул по ней кулаками, словно так она была закрыта надежней». Вот характерный жест кафкианского произведения, которое, как

это уже бывало у По, отворачивается от крайностей так, словно ничей взгляд не в силах вынести таких картин. В этом — взаимопроникновение вечно-одинакового и эфемерного. Снова и снова рисует Титорелли одну и ту же однообразную картину, этот степной пейзаж.[56] Одинаковость или интригующая похожесть элементов множества признается одним из самых навязчивых мотивов Кафки; всякой полутвари оказывается по паре, и пары эти, зачастую отмеченные печатью детскости и дурашливости, колеблются между добросердечием и жестокосердием, как звери из детских книжек. Так трудна стала людям индивидуация и так неуверенно они себя до сих пор чувствовали, что они смертельно пугаются, стоит лишь чуть-чуть приподнять повязку, закрывающую им глаза. Пруст знал чувство легкого дискомфорта, охватывающее человека, внимание которого обратили на его сходство с каким-то неизвестным ему сородичем. У Кафки это чувство разрастается до панического. Царство déjà vu населено двойниками, возвращенцами, паяцами, хасидскими плясунами, детьми, которые передразнивают учителя и вдруг предстают взгляду

[56] Примечания: 56
Наст. том, с. 194–195.

доисторическими, первобытными существами (в какой-то момент у землемера возникает сомнение, вполне ли живые люди его помощники). Но в то же время это — сигналы надвигающегося, экземпляры, произведенные на конвейере, механически репродуцированные копии, эпсилоны Хаксли.[57] Общественное происхождение индивидуума в конце концов разоблачает себя как сила его уничтожения. Творчество Кафки есть попытка абсорбировать эту силу. В его прозе нет и следа помешательства (в отличие от Роберта Вальзера[58] — рассказчика, у которого Кафка перенял все самое главное), — в каждой его фразе запечатлен отчеканивший ее могучий дух, но при этом каждая фраза предварительно была извлечена им из сферы безумия, куда в эпоху всеобщего ослепления, которое лишь усугубляется здравым человеческим рассудком, должно, видимо, решиться войти всякое сознание, чтобы стать сознанием. Этот герметический принцип, кроме прочего, выполняет защитную функцию:

---

[57] Примечания: 57

Персонажи романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

[58] Примечания: 58

Вальзер, Роберт (1878–1956) — швейцарский писатель и журналист; страдал шизофренией, в 1929 году был помещен в психиатрическую больницу, из которой ему уже не суждено было выйти.

не впускать напирающее извне безумие. Но это означает самоколлективизацию. Произведения, расшатывающие индивидуацию, ни в коем случае не должны рождать подражаний; возможно, поэтому Кафка и распорядился их уничтожить. В той области, куда они вступали, не должен процветать туризм; тот, кто не был там и лишь копирует жесты, тот предается чистому бесстыдству: он хотел бы познать соблазн и жестокую власть отчуждения, ничем не рискуя. Следствием была бы бессильная манерность. Карл Краус,[59] а в известной мере — и Шенберг реагировали на подобные явления аналогично Кафке. Однако такая неподражаемость влияет и на ситуацию критика. Его позиции по отношению к Кафке — позиции наследника — уже не позавидуешь: в ней предзадана апология сущего. И не потому, что в произведениях Кафки ничто не может быть подвергнуто критике. Монотонность его больших романов — самый заметный недостаток из тех, что лежат на поверхности.

Изображения многозначного, неопределенного, закрытого без конца повторяются, часто в ущерб той наглядности, к которой Кафка везде

[59] Примечания: 59

Краус, Карл (1874–1936) — австрийский филолог, писатель, публицист, издатель, редактор, режиссер, актер.

стремится. Эта дурная бесконечность изображаемого передается произведению искусства. По-видимому, в этом формальном недостатке сказался недостаток содержательный: некий перевес абстрактной идеи, тогда как сама она есть тот миф, с которым Кафка враждует. Избранная им манера делает неопределенное еще более неопределенным, но провоцирует вопрос: к чему такие усилия? Если и так уже все сомнительно, то почему бы не остановиться на достигнутом? На это Кафка мог бы ответить, что именно к безнадежным усилиям он и взывает, — подобно тому, как Кьеркегор хотел своим многословием разозлить читателя и таким способом вспугнуть его с жердочки эстетического созерцания. Но дискуссии о том, правильна или неправильна такая литературная техника, потому столь бесплодны, что критик может во всяком произведении отталкиваться лишь от того, что хочет предстать образцом, лишь от того, что говорит: «Должно быть так, как здесь». А как раз такие притязания эмфатически отвергаются безутешным кафковским «Вот так оно…». И тем не менее мощное напряжение вызванных его магией картин временами пробивает их изолирующий слой. Некоторые из них подвергают самосозна-

ние читателя, не говоря уже об авторе, суровому испытанию: «Исправительная колония» и «Превращение» — это такие «доклады»,[60] с которыми сравнятся только «доклады» Беттельгейма, Когона и Руссе,[61] — примерно так же снятые с высоты птичьего полета фотографии разрушенных бомбами городов как бы соглашаются с кубизмом после осуществления того, в чем он отказал действительности. Если в творчестве Кафки и есть место надежде, то не там, где воплощение смягчено, а, скорее, как раз в крайних воплощениях, в возможности вынести и эти крайности, обратив их в речь. Но не эти ли вещи дают нам и ключ к толкованию? Это представляется весьма правдоподобным. В «Превращении» можно, продолжая линию дословности, реконструировать путь эволюции впечатлений. «Эти коммивояжеры — как клопы» — расхожее выражение, которое Кафка,

[60] Примечания: 60

Одна из новелл Кафки называется «Доклад для Академии».

[61] Примечания: 61

Беттельгейм, Антон (1851–1930) — австрийский писатель и историк литературы; с 1897 по 1913 год редактор издания «Биографический ежегодник и немецкий некролог».

Когон, Евгений (1903–1987) — немецкий публицист и политолог; с 1939 по 1945 год узник Бухенвальда, описавший пережитое в книге «Государство СС» (1946).

Руссе, Давид (р. 1912) — французский писатель, участник Сопротивления, с 1943 по 1945 год узник концлагеря; в 1946 году вышел его документальный роман «Концентрационная вселенная».

с его самоощущением наколотого на булавку насекомого, должен был подхватить. Не «как клопы», а клопы. Что станет с человеком, если он превратится в клопа размером с человека? Но такими большими и такими же искаженными, с гигантскими, всерастаптывающими ногами и далекими крохотными головками, выглядели бы в глазах ребенка взрослые, если бы удалось проникнуть в зачарованный детский взгляд и полностью устранить влияние испуга; такой снимок можно было бы сделать косо поставленной, задранной вверх камерой. В мире Кафки, чтобы добраться до соседней деревни, не хватает всей жизни, а корабль кочегара и трактир землемера так безмерно огромны, как только в пропавшем без вести детстве видятся людям творения людей. Тот, кто хочет так видеть, должен превратиться в ребенка и многое забыть. Тому в отце снова явится Огер,[62] и придется все время бояться самых ничтожных его движений, и в отвращении к коркам сыра проявится постыдное, дочеловеческое вожделение к ним. А вокруг жильцов меблированных комнат, словно собственное их испарение, начинает зримо клубиться тот ужас,

[62] Примечания: 62
Сказочное чудовище, великан-людоед.

который прежде почти незаметно пульсировал в слове. Писательская техника, ассоциациями привязывающая себя к слову, в сравнении с прустовскими непроизвольными воспоминаниями, привязанными к чувственному, дает обратный результат: вместо воспоминания о человеческом — пробный тест на расчеловечивание. Под ее нажимом субъекты вынуждены как бы биологически регрессировать, словно готовя почву для «звериных» притч Кафки. Но решающий миг равновесия, к которому все у него стремится, — это миг, когда человек осознает, что он не Самость, что он сам — вещь. Длинные и утомительно без-образные многоголосия, первое из которых — разговор с отцом в «Приговоре», имеют целью показать людям, (чего никоим образом не достигнешь) их неидентичность, дополняющую их копиеобразную схожесть друг с другом. Низменные мотивы поступков землемера, наличие которых хозяйка, а затем и Фрида убедительно доказывают, чужды ему, — Кафка блестяще предвосхитил позднейшее психоаналитическое понятие «чуждого Я». Но землемер признает наличие этих мотивов. Между его индивидуальным и его социальным характером — зияющая пропасть, как у чаплинского месье Верду; гер-

метические протоколы Кафки содержат в себе социальный генезис шизофрении.

5

Образы Кафки печальны и ущербны, таков его мир даже там, где видно желание подняться над ним, как, например, в «Оклахомском Открытом Натуртеатре»[63] (Кафка словно предвидел исход работников из своего государства) или в «Заботе отца семейства»; богатые подробностями, будто снятые со вспышкой кадры; меловая бледность монголоидных лиц мелких обывателей, словно вышедших из свадебной картины Анри Руссо; и запах — запах непроветренных перин, и цвет — красный цвет матрацев, с которых сняли и унесли чехлы; страх, который вызывает Кафка, это страх перед рвотой. И тем не менее главное в его творчестве — реакция на неограниченную власть. Беньямин называл эту власть — власть свирепствующих патриархов — паразитической: она пожирает ту жизнь, над которой тяготеет. Но момент паразитизма своеобразно смещен. В кло-

[63] Примечания: 63
«Америка», гл. 8.

па превращается Грегор Замза,[64] а не его отец. Лишшими оказываются не власти предержащие, а бессильные герои; полезной для общества работы не выполняет ни один из них (в строку ставится даже то, что обвиняемый прокурист банка Йозеф К., целиком захваченный процессом, не способен сделать ничего стоящего). Они только ползают взад-вперед среди предметов давно изношенного реквизита, и их существование дается им лишь как подаяние, так как они продолжают существовать за пределами собственной жизни. В этой смещенности отражен идеологический навык прославлять воспроизводство жизни как акт благодеяния вершителя судеб, «работодателя». Она описывает некое целое, в котором те, кого оно охватывает и благодаря которым поддерживает себя, становятся излишни. Но убогое у Кафки этим не исчерпывается. Оно есть криптограмма на блескуче-зеркальной полировке поздней фазы капитализма, которого он умышленно не изображает, чтобы тем точнее определить его по его негативному изображению. Кафка сквозь увеличительное стекло показывает грязные отпечатки пальцев власти на страницах подарочного изда-

[64] Примечания: 64
Герой новеллы «Превращение».

ния книги жизни. Ибо никакой мир не мог бы быть более унифицированным, чем мир подавления, который у Кафки силой страха маленького обывателя спрессован до тотальности, логически совершенно замкнутой и лишенной смысла, как всякая система. Все, что он рассказывает, принадлежит одному и тому же порядку вещей. Все его истории разыгрываются в одном и том же лишенном измерений «подпалубном» пространстве, где так тщательно законопачены все швы, что невольно вздрагиваешь, натыкаясь на упоминание о чем-то, чему там места нет, вроде Испании или Южной Франции в одном месте «Замка», — тогда как вся Америка вписывается в это пространство как имаго[65] жилой палубы. Лабиринтоописания Кафки связаны друг с другом, как связаны между собой мифологии. Но для этого континуума низменное, путаное, порченое так же существенно, как коррупция и преступная асоциальность для тотального господства и как любовь к нечистотам для культа гигиены. Умозрительные и политические системы не терпят ничего непохожего на них. Однако чем больше они укрепляются, чем больше приводят суще-

[65] Примечания: 65

Имаго (*лат.* imago — образ, картина) — в аналитической психологии К.-Г. Юнга: бессознательный значимый образ.

ствующее к единообразию, тем больше они его в то же время подавляют и тем больше удаляются от него. Именно поэтому самое малое «отклонение», угрожающее нарушить общий принцип, становится так же непереносимо, как непереносимы властям чужаки и шатуны-одиночки в произведениях Кафки. Интеграция есть дезинтеграция, и в ней мифологические чары сходятся с господствующей рациональностью. Так называемая проблема случайности, над которой бьются философские системы, порождена ими самими: только из-за их собственной непреклонности смертельным врагом для них становится все, что проскользнуло сквозь их сито, — подобно тому, как мифическая царица не может найти покоя, пока где-то за дальними горами жива соперница, превосходящая красотой ее, сказочную красавицу. Нет системы без осевшей гущи — по ней Кафка и предсказывает. Если все, что появляется в его насильственном мире в облике совершенно необходимого, комбинируется со свойственным убогости обликом совершенно случайного, то проклятый зашифрованный закон прочитывается в своем зеркальном изображении. Законченная неправда содержит противоречие в самой себе, поэтому нет необходимости явно

ей противоречить. Кафка создает портрет монополизма из мусора, оставшегося от либеральной эры, ликвидированной монополизмом. Этот текущий момент истории, а не что-то вневременное, якобы просвечивающее сквозь историю, есть кристаллизация его метафизики, и вечность для него — не что иное, как раскрывшаяся в картинах вчерашнего дня вечность бесконечно повторяющейся жертвы. «Страшный суд отдален от нас только нашим понятием времени, а ведь это, собственно говоря, военно-полевой суд».[66] От заклания нас всегда отделяет лишь один день: жертвоприношение свершилось вчера. Именно поэтому Кафка почти всегда избегает прямых указаний на предысторию (выезжающее верхом на ведре порождение угольной нужды — редкое исключение). Его произведения герметичны и по отношению к истории:[67] на это понятие наложено табу. Вечности исторического мгновения соответствует концепция разрушенности

---

[66] Примечания: 66

Афоризм № 40 из «Рассуждений о грехе…».

[67] Примечания: 67

Адорно использует традиционное разделение понятия истории на «Historie» — «естественную», «природную» историю («сырой материал», по выражению Кьеркегора) и «Geschichte» — действенную историю, которая в качестве места деятельности Бога не подчиняется естественным законам и неподвластна времени.

природы и инвариантности хода истории; это абсолютно преходящее равносильно вечности прехождения, вечности проклятия. Имя истории не должно быть названо, ибо то, что было бы историей, Другое еще не начало. «Верить в прогресс не значит верить в то, что какой-то прогресс уже произошел».[68] Историческое является у Кафки в статичной по виду, зачастую ремесленной или крестьянской обстановке, обстановке простого товарного хозяйства, и является только на суд, но на суд вызывается и сама эта обстановка. В его театре есть только устаревшие декорации; о «низком вытянутом здании», играющем роль школы, говорится, что в его облике «удивительным образом сочетались черты старинного строения и времянки».[69] Едва ли не таковы же и люди. Устаревшее — это позорное клеймо на настоящем, и Кафка дает реестр таких знаков позора. Но в то же время — и такую картину, в которой детям, столкнувшимся с крушением вчерашнего мира, вообще впервые открывается историческое; он дает «детскую картину совре-

[68] Примечания: 68

Первая фраза афоризма № 48 из «Рассуждений о грехе...». (Опущенная Адорно вторая фраза: «Это не было бы верой».)

[69] Примечания: 69

«Замок», гл. 1.

менности» и в ней — завещание надежды на то, что история когда-нибудь еще сможет быть. «Чувство человека, попавшего в беду — и приходит помощь, но он радуется не тому, что спасен — он вовсе и не спасен, — а тому, что пришли новые молодые люди, уверенные, готовые вступить в борьбу, и хотя они наивны в отношении того, что им предстоит, но наивность их такова, что она не вызывает у наблюдателя ощущения безнадежности, она вызывает у него восхищение, радость, слезы. Примешивается сюда и ненависть против тех, к кому относится борьба».[70] А вот воззвание к этой борьбе. «В нашем доме, в этом чудовищном многоквартирном доходном доме, проросшем на окраине сквозь неразрушимую средневековую рутину, сегодня, туманным, промозглым зимним утром, было распространено следующее воззвание:

Ко всем моим товарищам по дому!

У меня есть пять игрушечных ружей. Они висят у меня в шкафу, каждое на отдельном крючке. Первое — мне, на остальные могут подавать заявки все

[70] Примечания: 70
Фрагмент дневниковой записи Кафки от 13 марта 1922 года.

желающие. Если заявителей окажется больше четырех, все лишние должны будут принести свои собственные ружья и депонировать их в мой шкаф. Потому что должно соблюдаться единообразие, без единообразия мы ничего не добьемся. Впрочем, у меня только такие ружья, которые для иного использования совершенно непригодны: механизмы испорчены, пробки оторваны, только курки пока что щелкают. Так что в случае необходимости нетрудно будет достать еще таких ружей. Мы, те, у кого есть ружья, в решительный момент возьмем безоружных в середину. Такой боевой порядок с успехом применялся первыми американскими фермерами против индейцев — отчего же ему не быть успешным и здесь, ведь обстоятельства аналогичны. Таким образом можно даже продолжительное время обходиться без ружей, и даже эти пять ружей не являются безусловно необходимыми, и только потому, что они уже есть, их и следует использовать. Если же вы не захотите нести четыре остальных, то вы должны оставить их там, где они

находятся. Тогда, следовательно, только я понесу одно — как вождь. Но у нас не должно быть вождей, так что и я свое ружье сломаю или отставлю в сторону.

Это было первое воззвание. Читать или, тем более, обдумывать воззвания в нашем доме ни времени, ни желания нет. Вскоре эти маленькие бумажки плавали вместе с мусором в воздушном потоке, который, беря исток на чердаке и подпитываясь из всех коридоров, устремлялся вниз по лестнице и там боролся со встречным, восходящим потоком. Однако через неделю появилось второе воззвание:

Товарищи по дому!

До сих пор ко мне никто не явился. Я — поскольку этому не мешала необходимость зарабатывать себе на жизнь — все время был дома, а в мое отсутствие, во время которого дверь моей комнаты была постоянно открыта, на моем столе лежал лист, на котором каждый, кто хотел, мог записаться. Никто этого не сделал».[71]

---

[71] Примечания: 71
Адорно дает полный текст притчи «Der Aufruf» («Воззвание»).

Это — фигура революции в рассказах Кафки.

6

Клаус Манн[72] настаивал на сходстве кафкианского миропорядка с германским «новым порядком». Прямой политический намек несомненно чужд произведениям, в которых «ненависть против тех, к кому относится борьба», слишком непримирима для того, чтобы подкреплять декоративный фасад даже самой малой уступкой какому бы то ни было эстетическому реализму, принимая декорацию в качестве того, что она изображает; тем не менее «материальное» содержание этих произведений заклинает скорее национал-социализм, чем скрытую власть господню.[73] Его попытка изгнания диалектической

[72] Примечания: 72

Манн, Клаус (1906–1949) — немецкий писатель, сын Томаса Манна, автор известного романа «Мефисто».

[73] Примечания: 73

Подразумевается выдвинутая М. Бродом и развитая Т. Манном религиозно-аллегорическая интерпретация Кафки (см., например: *Манн Т.* В честь поэта: Франц Кафка и его «Замок» // Кафка Ф. Замок. СПб.: Амфора, 1999. С. 398–405).

теологии[74] не удается потому, что многозначность и непонятность приписываются отнюдь не только иному по природе, как в «Страхе и трепете»,[75] но и людям и их отношениям (другая причина — мифический характер властей, о чем справедливо писал В. Беньямин). Именно то «бесконечное качественное различие», на котором настаивают Барт и Кьеркегор, нивелировано: между деревней и замком разницы, вообще говоря, нет. Метод Кафки был верифицирован, когда устарело-либеральные, взятые взаймы и преувеличенные им черты анархии товарного производства возвратились в политико-организационной форме самоопрокидывающейся экономики. Сбылись его пророчества террора и пыток — и не только эти: под лозунгом «Государство и партия» заседала на чердаках и буйствовала в трактирах, как Гитлер с Геббельсом в «Кайзерхофе», банда заговорщиков, ставших полицией: узурпация ими власти разоблачает

[74] Примечания: 74

Диалектическая теология, или теология кризиса, «разрыва», абсолютно разъединяющего человека и несоизмеримого ему, «тотально иного» Бога, — течение в протестантской теологии, возникшее в 20-е годы нашего столетия благодаря усилиям в первую очередь швейцарского теолога Карла Барта (1886–1968), находившегося под влиянием заново «открытых» им в XX веке трудов Кьеркегора.

[75] Примечания: 75

Название работы Кьеркегора.

узурпаторский миф власти. В «Замке» чиновники — как эсэсовцы — носят особую форму, которую не имеющий на нее права в крайнем случае может сам себе пошить, — такой же самозваной была и элита фашизма. Арест превращается в налет, суд — в акт насилия. С этой партией у ее потенциальных жертв постоянно идут некие сомнительные, извращенные сношения — как с кафковскими недосягаемыми инстанциями; формулу «превентивный арест» должен был бы изобрести он, не будь она в ходу уже в Первую мировую войну. Светловолосая учительница Гиза[76] (кажется, единственная у Кафки красивая девушка), жестокая любительница животных, изображенная беспорочной и в своей суровости словно издевающейся над кафковскими пучинами, принадлежит к той доадамовой расе гитлеровских девственниц, которые ненавидели евреев еще до того, как те появились. Необузданное насилие творится креатурами подчиненными — унтер-офицерами, сверхсрочнослужащими, привратниками. Все они, подобно отцу Грегора Замзы, деклассированные элементы, которым при крушении организованного коллектива позволили выжить,

[76] Примечания: 76
Персонаж романа «Замок».

подхватив их на лету. Как в эпоху ущербного капитализма, бремя вины перекладывается со сферы производства на посредников, или на тех, кто обслуживает, на коммивояжеров, банковских служащих, кельнеров. Безработные в «Замке» и эмигранты в «Америке» препарируются как ископаемые эпохи люмпенизации. Те экономические тенденции, реликтами которых они являлись еще до того, как эти тенденции возобладали, вовсе не были так чужеродны Кафке, как это можно было бы предположить, судя по его герметическому методу. На это указывает одно удивительно эмпиричное место из его самого раннего, «американского» романа: «Это было своеобразное комиссионно-экспедиционное предприятие, каких в Европе, насколько Карл мог припомнить, кажется, вообще не бывало. Потому что предприятие это занималось посреднической торговлей, которая отнюдь не доставляла товары производителей потребителям или, допустим, торговцам, а осуществляла поставки все-возможных товаров и исходных продуктов большим фабричным картелям и их взаимопоставки».[77] Именно этот «гигантского охвата» монополи-

[77] Примечания: 77
«Америка», гл. 2.

стический аппарат распределения уничтожил то житье-бытье мелочной торговли, чье «гиппократово лицо» Кафка увековечил. Приговор истории оглашается анонимной господствующей силой, и фантазия включает его в миф о слепом, бесконечно воспроизводящем себя насилии. В его новейшей фазе — фазе бюрократического управления — Кафка вновь узнаёт первоначальную, которую эта новейшая отрицает как доисторическую. Разрывы и деформации нового времени для него — следы каменного века, меловые фигуры на классной доске вчерашнего, которые никто не стер, истинно наскальная живопись. Но тот эффектный сжимающий ракурс, в котором появляются такие «старообразования», в то же время затрагивает и общественную тенденцию. Бюргер уходит, трансформируясь в архетипы. Добровольный отказ от индивидуальных черт, выползание на свет ужасов, кишащих под камнем культуры, означают гибель индивидуальности как таковой. Но весь ужас в том, что бюргер не найдет себе преемника: «никто этого не сделал». Видимо, в этом смысл рассказа о Гракхе[78] — уже не о диком охотнике, а о человеке насилия, которому

[78] Примечания: 78
«Der Jager Gracchus» («Егерь Гракх»).

не удалось умереть. Вот так же не удалось это и бюргерству. История становится у Кафки адом, ибо спасительный шанс упущен. Этот ад открыло само позднее бюргерство. В концентрационных лагерях фашизма была стерта демаркационная линия между жизнью и смертью; живые скелеты и разлагающиеся тела, жертвы, которым не удалось самоубийство, создали некое промежуточное состояние — насмешку сатаны над надеждой отменить смерть. Как в перевернутых эпосах Кафки, там погибало то, что дает меру опыта, — выжившая из себя, до конца изжитая жизнь. Гракх есть полная противоположность той возможности, которая была изгнана из мира: умереть в старости, насытившись жизнью.

7

Герметическое оформление текстов Кафки вводит в соблазн, побуждая не только абстрактно сопоставлять их идею с историей, как это в обширных прениях сторон делается у него самого, но и с общедоступным глубокомыслием вытягивать само его творчество из истории, как секрет из железы. Однако именно в качестве герметического его творчество было частью литературного процесса десятилетия, на которое пришлась

Первая мировая война; одной из «горячих точек» этого процесса была Прага, а питательной средой — окружение Кафки.

Только тот, кто прочтет «Приговор», «Превращение», главу «Кочегар» в контексте черных брошюр «Судного дня» Курта Вольфа,[79] только тот воспримет Кафку в аутентичной перспективе — в перспективе экспрессионизма. Эпический гений Кафки заставлял его старательно избегать экспрессионистской языковой жестикуляции, однако такие фразы, как «Пепи, гордо вскинув головку, с косой, отлетавшей при каждом повороте, и неизменной своей улыбочкой носилась взад и вперед, преисполненная сознания своей значительности...»[80] или «К. вышел на крыльцо, свирепо обдуваемое ветром, и взглянул в темноту»,[81] показывают, что он великолепно владел этой техникой. Фамилии оставленных безымянными персонажей (особенно в малой

---

[79] Примечания: 79

Курт, Вольф (1887–1963) — немецкий издатель, его книжная серия «Судный день» знакомила читателя с произведениями «новой литературы»; в 3-м выпуске серии была напечатана глава «Кочегар», с которой начинается роман «Америка», — это была первая книжная публикация Кафки (1913 год).

[80] Примечания: 80

«Замок», гл. 9.

[81] Примечания: 81

«Замок», гл. 10.

прозе, например: Wese, Schmar)[82] составляют ряд, напоминающий список действующих лиц экспрессионистской пьесы. Язык Кафки нередко дезавуирует содержание, причем так же смело, как в этом упоительном описании маленькой эрзац-служанки в пивной: живой язык денонсирует соглашение с безнадежно застойным сюжетом; такие жесты имеют далеко идущие последствия. Устраняя сон его всепроникающим присутствием, эпик Кафка следует экспрессионистскому импульсу, доходя до крайностей радикальных лириков. Его произведения говорят тоном ультралевых, отличающимся от общечеловеческого; тот, кто нивелирует это различие, уже конформистски фальсифицирует Кафку. Уязвимые формулировки, вроде «трилогия одиночества», сохраняют свое значение постольку, поскольку выделяют необходимую предпосылку любой фразы Кафки. Герметический принцип есть принцип, венчающий отчужденную субъективность. Не зря в тех контроверзах, о которых сообщает Брод,[83] Кафка противился всякому социальному вовлечению (только вследствие

[82] Примечания: 82
Ср.: Wesen — «существо», Schmarren — «пустяк», «дрянь» (нем.).

[83] Примечания: 83
Brod M. Franz Kafka. Frankfurt a/M, 1963. S. 118.

этого сопротивления оно и стало в «Замке» тематическим). Он ученик Кьеркегора только в одном — в «безобъектной аутичности»,[84] и в ней объяснение его крайностей. То, что заключает в себе стеклянный шар[85] Кафки, единообразнее и поэтому еще ужаснее, чем окружающая его система, ибо в абсолютно субъективном пространстве и абсолютно субъективном времени нет места ничему, что могло бы нарушить собственный принцип — принцип бескомпромиссного отчуждения. Пространственно-временной континуум «эмпирического реализма» постоянно нарушается актами мелкого саботажа — как перспектива в современной живописи, — скажем, когда блуждающий вокруг Замка землемер вдруг оказывается застигнут слишком рано упавшей ночью. Безраз-

[84] Примечания: 84

Аутичность (*нем.* Innerlichkeit, *дат.* Inderlighed — букв.: «внутренность»), по Кьеркегору, это «отношение к самому себе перед Богом». В своей книге «Kierkegaard. Konstruktion der Ästhetischen» (Frankfurt a/M, 1966, S. 55–56) Т. Адорно, рассматривая это понятие, отмечает, что оно «в качестве субстанциональности субъекта выводится непосредственно из несоответствия внешнему», и приводит следующие строки из Кьеркегоровой «Болезни к смерти»: «Да, тут нет никакого „соответствующего“, поскольку внешнее, соответствующее замкнутости, было бы явным самопротиворечием, ведь то, что соответствует, — раскрывает. Напротив, внешнее здесь (в состоянии отчаяния. — *Т. А.*) решительно безразлично, — здесь должно решительно преобладать уважение к замкнутости, или, другими словами, к аутичности, закрытой на замок, который заклинило». Отметим также очевидное родство и столь же очевидную нетождественность значений вводимого здесь неологизма «аутичность» и введенного Э. Блейлером в начале века

понятия «аутизм», обозначающего отстранение от внешнего мира и погружение в замкнутый мир личных переживаний.

[85] Примечания: 85

Распространенный в начале века сувенир: в стеклянный шар заключался маленький мир (часто — дом и двор); когда шар встряхивали, в этом замкнутом, отдельном мире шел свой отдельный снег.

личие автаркической субъективности усиливает ощущение неопределенности и монотонность вынужденных повторов. Крутящейся в себе без сопротивления аутичности не дано остановить это дурно-бесконечное движение и не дано понять, что же все-таки могло бы его остановить. Пространство Кафки зачаровано; заключенный в себя субъект затаивает дыхание, словно ему нельзя и касаться того, что не такое, как он сам. Под действием этих чар чистая субъективность оборачивается мифологией, последовательный спиритуализм — подчинением природе. Необычная склонность Кафки к «чистоприродному» и натуропатии, его — пусть даже частично терпимое — отношение к диким суевериям Рудольфа Штейнера[86] — это не рудименты интеллектуальной неуверенности, а подчинение единому принципу, но, неуклонно запрещая себе все отличающееся, теряешь способность отличать, и возникает угроза того самого регресса в многозначное, аморфное, безымянное, которым Кафка так суверенно распоряжается в качестве изобразительного средства. «Дух освобождается и автономизируется от природы, познавая ее в

[86] Примечания: 86

Штейнер Рудольф, (1861–1925) — немецкий философ-мистик и писатель, основатель антропософии.

качестве демонической как во внешней реальности, так и в себе самом. Но когда автономный дух является как воплощенный, природа завладевает им там, где он выступает наиболее историчным, — в безобъектной аутичности… Природное содержание чистого, „историчного“ в самом себе духа можно назвать мистическим».[87] Абсолютная субъективность оказывается бессубъектной. Самость живет только в об-наружении; «сухой остаток» субъекта, инкапсулировавшего в себе все чуждое, становится слепым остатком мира. Чем больше экспрессионистское «я» отражено на самое себя, тем больше оно становится похожим на исключенный вещный мир.

Силой этого сходства Кафка принуждает экспрессионизм (химеричность которого он должен был чувствовать лучше всех прочих «сочувствующих» и которому он тем не менее оставался верен) к некой капризной эпике, а чистую субъективность, по необходимости отчужденную также и от самой себя и ставшую вещью, — к некой предметности, которой удается выразить свое собственное отчуждение. Граница между областью человеческого и вещным миром стира-

---

[87] Примечания: 87
Автоцитата из книги T. Adorno «Kierkegaard…» (S. 97).

ется. В этом основа его отмечавшегося многими родства с Клее.[88] Кафка называл свое письмо «каракулями». Вещное становится графическим знаком, зачарованные люди действуют не по своей воле, а так, словно все они попали в некое магнитное поле.[89] Именно эта внешняя детерминированность внутренних фигур прозы Кафки создает такую бесконечно-обманчивую видимость сухой объективности. Область невозможности умереть — это в то же время ничейная земля между человеком и вещью: на ней встречаются Одрадек,[90] в котором Беньямин видел некоего ангела в стиле Клее, с Гракхом, скромным подражанием Нимроду.[91] Понимание этих наиболее авангардных, «несоизмеримых» порождений его фантазии и некоторых других, также не

---

[88] Примечания: 88

Клее, Пауль (1879–1940) — швейцарский художник, один из лидеров экспрессионизма.

[89] Примечания: 89

«Это заранее обрекает на неудачу всякую попытку драматизации. Драма возможна лишь в той мере, в какой возможна свобода — пусть даже она рождается в муках у нас на глазах; всякие иные действа останутся ничтожными. Фигуры Кафки, еще даже не успев пошевелиться, уже настигаются некой мухобойкой; тот, кто тащит их в качестве героев на трагические подмостки, просто насмехается над ними. Андре Жид, создавший „Грязи“ („Paludes“), не ударил бы в них лицом, не подними он руку на „Процесс“: во всяком случае, даже при прогрессирующем аграмматизме ему не следовало забывать, что произведения искусства, являющиеся таковыми, небезразличны к материалу, в котором возникают. Адаптации надо оставлять культурной индустрии» (*Примеч.*

автора). Автор чрезмерно и без нужды строг. Отметим, что спектакль «Процесс», поставленный в октябре 1947 года Жаном-Луи Барро (авторы инсценировки А. Жид и Ж.-Л. Барро), явился этапным в становлении того направления, которое позднее получило наименование «театра абсурда». И в конце концов, сам Адорно, блестящий знаток как философских, так и музыкальных текстов, все же не упрекал Рихарда Штрауса за то, что его симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» не вполне адекватно воспроизводит первоисточник.

[90] Примечания: 90

Персонаж или, точнее, «фигура» маленького рассказа («фрагмента») Кафки «Забота отца семейства».

[91] Примечания: 91

Библейский персонаж, «сильный зверолов пред Господом Богом» (Быт 10: 9).

укладывающихся в нынешние представления о Кафке, может в определенном смысле прояснить все остальное. Через все творчество Кафки проходит также тема деперсонализации сексуальных отношений. Согласно ритуалу «Третьего рейха», девушка не имела права сказать «нет» носителю высшей власти, точно так же кафкианские чары как великое табу снимают все более мелкие табу, относящиеся к сфере индивидуального. Хрестоматийный пример — наказание Амалии и ее семьи (то есть родовое) за то, что она не покорилась Сортини.[92] Во властных сферах семья как архаический коллектив одерживает победу над своим более поздним, индивидуализированным выражением. Мужчина и женщина должны сходиться без сопротивления, спущенные друг на друга, как звери. Собственное невротическое чувство вины, свою инфантильную сексуальность и свою навязчивую идею «чистоты» Кафка превратил в инструмент, которым выскабливается общепринятое представление об эротике. Лишенные выбора и воспоминаний, связи служащих больших городов двадцатого века становятся — как, позднее, в одном знаменитом месте «Бесплодной

[92] Примечания: 92
«Замок», гл. 15.

земли»[93] Элиота — имаго неких в незапамятные времена исчезнувших отношений, которые были какими угодно, но не гетерическими. Приостанавливая действие своих норм, патриархальное общество выдает собственную тайну: это общество непосредственного, варварского угнетения. Женщины опредмечиваются в качестве простого средства достижения цели — как сексуальные объекты и как полезные связи. Но Кафка в толще этой мутной воды ловит картину счастья. Она возникает из удивления герметически замкнутого субъекта перед тем парадоксом, что все-таки можно быть любимым. Всякая надежда так же непостижима, как симпатия к арестованному всех женщин в «Процессе»; разочарованный эрос Кафки есть в то же время экзальтированная мужская благодарность. Когда бедная Фрида называет себя возлюбленной Кламма, аура этого слова сияет лучезарнее, чем в возвышеннейших местах у Бальзака или Бодлера; когда она, скрывая от рыщущего хозяина присутствие спрятавшегося под столом К., ставит свою маленькую ногу ему на грудь и потом нагибается к нему и «быстро целует» его, она находит такие жесты, в напрасном

[93] Примечания: 93
В третьей главе.

ожидании которых может пройти целая жизнь страстного мужского желания. А те часы, которые они пролежали вместе «в лужицах пива и разном мусоре, которым был закидан пол», это часы исполнения желаний в чуждой стране, «где даже в воздухе нет ни единой составляющей воздуха родины».[94] Этот слой Брехт относил к лирике. Но, как и у него, язык экстаза у Кафки весьма далек от экспрессионистического. Использовав элемент визуализации, он изобретательно справился с задачей квадратуры круга: найти слова для пространства безобъектной аутичности, к которому нужно как-то обратиться, в то время как емкость всякого слова всегда больше, чем абсолютное «это» — противоречие, о которое разбились все экспрессионистские поэтические порывы. В качестве предпочтительного элемента визуализации утверждаются жесты. Рассказывать можно только о том, что можно увидеть, при этом рассказываемое является в то же время совершенно чуждым изображаемой картине. Сохраняя верность этой картине, Кафка спасает идею экспрессионизма тем, что вместо тщетного вслушивания в отзвуки празвуков

[94] Примечания: 94
«Замок», гл. 3.

сообщает поэтике габитус экспрессионистской живописи. Последнюю он использует примерно так же, как Утрилло — видовые открытки, с которых художнику предстояло написать свои промерзшие улицы. Для скользящего взгляда, снимающего с объектов всякую эмоциональную окраску заинтересованности, эти улицы — уже не подражание реальности и не сон, под который можно только подделываться, они застывают во что-то третье: в загадочную картинку с натуры, составленную из ее разбросанных обломков. У Кафки многие ключевые места читаются как буквальные переводы с экспрессионистских полотен, которые должны были быть нарисованы. В конце «Процесса» взгляд Йозефа К. упал «на верхний этаж стоявшего вблизи каменоломни дома. Как вспыхивает в темноте свет, так распахнулись там створки одного окна; какой-то человек, слабый и тонкий на таком отдалении и возвышении, рывком наклонился далеко вперед — и еще дальше простер руки. Кто это был? Друг? Добрый человек?» Вот такая работа по переложению и создает образный мир Кафки. Она основывается на строгом исключении всего музыкального (в смысле музыкоподобного), на отказе от антитетической защиты от мифа; как

свидетельствует Брод, Кафка был, по обычным меркам, немузыкален. Его безмолвный боевой клич в борьбе против мифа: не сопротивляться. И этот аскетизм одаривает его глубочайшей связью с музыкой в таких местах, как уже упоминавшееся пение телефона в «Замке», или музыкальная наука в «Исследованиях одной собаки» и в одном из его последних завершенных рассказов, «Жозефине». Его хрупкая проза, пренебрегающая всякими музыкальными эффектами, в то же время действует как музыка. Смыслы ее обрываются, подобно мемориальным столпам на кладбищах девятнадцатого века, и только эти линии обрыва — иероглифы ее смыслов.

8

Экспрессионистская эпика — это парадокс. Она рассказывает о том, о чем рассказать нельзя, — о целиком ограниченном собой и одновременно, в силу этого, несвободном, да собственно, вообще не вполне существующем субъекте. Неизбежно диссоциированному на различные стороны занятости собой, лишенному самоидентичности, ему не дано никакого срока жизни: безобъектная аутичность есть пространство в столь точном смысле, что все, чему она дает

приют, подчиняется закону отчужденного от времени повторения. Не в последнюю очередь с этим законом связано отсутствие историчности в творчестве Кафки. Для него невозможна ни одна из форм, конституированных временем как единством внутреннего смысла; он приводит в исполнение тот приговор большой эпике, грозное звучание которого Лукач[95] услышал уже у таких ранних представителей жанра, как Флобер и Якобсен.[96] Фрагментарность всех трех больших романов Кафки, которые, впрочем, едва ли уже охватываются понятием романа, обусловлена их внутренней формой. Они не позволяют довести себя до конца в качестве какого-то закругленного до тотальности временного впечатления. Диалектика экспрессионизма приводит Кафку к тому, что его вещи уподобляются авантюрным романам, состоящим из нанизанных в ряд эпизодов. Он любил такие романы. Но, переняв их технику, он в то же время отказался от общепринятых литературных норм. К известным образцам, которым он следовал, надо, видимо,

[95] Примечания: 95

Лукач, Дьердь (1885–1971) — венгерский философ, публицист, критик и литературовед.

[96] Примечания: 96

Енс, Петер Якобсен (1847–1885) — датский писатель и редактор.

добавить, помимо Вальзера, начало «Артура Гордона Пима» По и некоторые главы «Утомленного Америкой» Кюрнбергера[97] (к примеру, описание квартиры жителя Нью-Йорка). Но более всего солидаризируется Кафка с апокрифичными литературными жанрами. Подозрительны все — эта черточка, резко выделяющаяся на физиономии современной эпохи, взята Кафкой от криминального романа. В таких романах мир вещей получает перевес над абстрактным субъектом, и Кафка использует это для того, чтобы претворять вещи в вездесущные эмблемы. Его большие произведения — это одновременно детективные романы, в которых разоблачить преступника не удается. Еще больше для понимания Кафки дает его связь с де Садом, независимо от того, был ли он известен Кафке. Как невинный герой де Сада (или герой американской кинокомедии, или персонаж газетного уголка юмора), кафкианский субъект, в частности эмигрант Карл Росман,[98] попадает из одной отчаянной и безвыходной ситуации в другую, — главы эпической авантю-

[97] Примечания: 97

Фердинанд Кюрнбергер (1821–1879) — немецкий писатель и публицист.

[98] Примечания: 98

Герой романа «Америка».

ры превращаются в этапы мученического пути. Эта замкнутая имманентная связь конкретизируется в форме бегства из мест заключения. Чудовищное, с которым ничто не контрастирует, захватывает, как у де Сада, весь мир, становясь нормой, — в противоположность неотрефлектированному авантюрному роману, который вечно претендует на необыкновенность обстоятельств и этим подтверждает их тривиальность. Но в произведениях де Сада и Кафки разум не спит и на principium stilisationis[99] безумия дает возможность проявиться объективному. Оба принадлежат Просвещению, находясь на разных его ступенях; его отрезвляющий свет преломляется в кафковском: «Вот так оно...» Тоном отчета Кафка сообщает о том, что происходит в действительности, отнюдь не обольщаясь на счет субъекта, который, дойдя до предела осознания самого себя, то есть своего ничтожества, выбрасывает себя в выгребную яму — именно так поступает машина для убийства с преданными ей.[100] Он создал тотальную робинзонаду в той ее фазе, когда каждый человек — сам себе Робинзон, и на

---

[99] Примечания: 99
Основа стилизации *(лат.).*

[100] Примечания: 100
См. новеллу «В исправительной колонии».

плоту, нагруженном поспешно собранными пожитками, влечется куда-то без руля и ветрил. Эта связь робинзонады и аллегории, берущая начало от самого Дефо, не чужда традиции Высокого Просвещения. Она принадлежит к ранней стадии борьбы бюргерства с авторитетом религии. В восьмой части направленных против ортодоксального пастора Гёце «Аксиом» («Axiomata») Лессинга, чей поэтический дар Кафка высоко ценил, рассказывается об одном отрешенном от сана лютеранском священнике из Пфальца и его семье, состоявшей из детей-подкидышей обоего пола. Пережив кораблекрушение в районе Бермуд, семья оказалась на маленьком необитаемом острове, причем священник спас и катехизис. Несколько поколений спустя один гессенский миссионер обнаружил на острове потомков этой семьи. Они говорили на немецком, «в котором, как ему показалось, не было ничего, кроме речений и оборотов из лютеровского катехизиса». Потомки были ортодоксальны — «за некоторыми маленькими исключениями. Катехизис за полтора столетия, естественно, истрепался, и у них от него уже ничего не осталось, кроме дощечек переплета. „На этих дощечках, — сказали они, — начертано все, что мы знаем“. — „Было

начертано, дорогие мои“, — сказал миссионер. „И осталось, и осталось начертано! — сказали они. — Хотя мы-то сами читать не умеем, да и не совсем понимаем, что значит читать, но наши отцы слышали, как их отцы оттуда читали. А те уже знали и того человека, который вырезал эти дощечки. Этого человека звали Лютер, и он жил вскоре после Христа“».

По почерку, пожалуй, еще ближе к Кафке «Притча», которую роднит с ним ее явно непреднамеренная затемненность. Адресат, Гёце, понял притчу совершенно неверно. Но уже сам выбор формы притчи трудно отделить от просветительского намерения. Облекая человеческие значения и учения природным материалом, — не происходит ли и Эзопов Осел от Окносова?[101] — дух вновь узнаёт в них себя. Так, мужественно не отводя взгляда, он разрушает мифические чары. Некоторые места лессинговой «Притчи», которую он собирался переиздать под заглавием «Пожар во дворце», тем более показательны в этом смысле, что они еще очень далеки от того

[101] Примечания: 101

Окнос — персонаж греческой мифологии, дряхлый старик, который не хотел умирать и за свою преступную любовь к жизни был в царстве теней осужден на вечное плетение каната, который тут же поедала ослица.

осознания мифического стечения обстоятельств, которое уже пробуждается в аналогичных пассажах Кафки. «У одного мудрого и деятельного короля одного очень и очень большого королевства был в его столице дворец совершенно необъятных размеров и совершенно особой архитектуры. Размеры дворца были необъятны, потому что король собрал в нем, чтобы было под рукой, всё и вся, что могло ему потребоваться для его правления, — будь то помощники или инструменты. Архитектура дворца была удивительна тем, что уж слишком противоречила почти всем известным правилам… И спустя много-много лет дворец все еще сохранял тот облик чистоты и совершенства, какой он получил от строителей по окончании их работы: снаружи немного непонятно, внутри все — свет и сообразность. Тех, кто считал себя знатоками архитектуры, особенно оскорбляли фасады, прорезанные немногими, разбросанными там и сям, большими и маленькими, круглыми и четвероугольными окнами, но зато тем больше имевшие дверей и ворот всевозможных форм и размеров… Было непонятно, зачем нужно так много — и таких разных входов, когда один большой портал на каждой стороне уж наверное был бы приличнее, служа тем же

самым целям. Ведь очень мало было тех, кто захотел понять, что через множество маленьких входов все вызванные во дворец могли самыми короткими и безошибочными путями попасть туда, где они были потребны. И вот среди этих мнимых знатоков возникли всяческие споры, в которых более всего горячились непременно те, у кого было менее всего возможностей как следует рассмотреть внутренность дворца. И было еще нечто такое, что, как могло показаться на первый взгляд, должно было легко и быстро согласить все споры, а на деле как раз больше всего их запутало и дало самую обильную пищу для самого упорного их продолжения. А было вот что: вспомнили, что где-то же есть всякие старые планы, которые должны были составить первостроители дворца; но эти планы оказались записаны в таких речениях и значках, язык и смысл которых были уже, можно сказать, утрачены… Однажды — когда споры о чертежах уже не столько вспыхивали, сколько тлели, — однажды около полуночи вдруг раздались голоса сторожей: „Пожар! Во дворце пожар!..“ Тут все соскочили со своих кроватей, и каждый, так, словно пожар был не во дворце, а в его собственном доме, кинулся спасать то, что ему казалось самым дорогим из всего имущества, —

свой чертеж. „Его бы только спасти! — думал каждый. — Достоверно не то, что горит там, а то, что изображено здесь!..“ Из-за таких усердных драчунов он, дворец этот, мог и в самом деле сгореть дотла, если б загорелся. Но испуганные сторожа приняли за сполохи пожара северное сияние». В этой истории, перебрасывающей некий мостик между Паскалем и кьеркегоровыми «Diapsalmata ad me ipsum»,[102] достаточно произвести самую незначительную перестановку акцентов, — и она станет кафкианской. Достаточно было бы всего лишь усилить причудливость и монструозность постройки за счет ее целесообразности; нужно было бы всего лишь фразу о том, что горящий дворец не может быть достовернее его изображения на чертеже, подать как резолюцию одной из тех канцелярий, для которых и так уже единственный правовой принцип: quod non

---

[102] Примечания: 102

Букв.: «Диапсалматы ко мне самому» (*греч., лат.*) — первый раздел книги «Или — или». Обычно этот раздел именуют «Афоризмы» или «Афоризмы эстетика», но вот что пишет А. В. Михайлов в статье «Из прелюдий к Моцарту и Кьеркегору»: «...„диапсалматы“ — это инструментальные интерлюдии в библейских псалмах и — на письме — знаки, указывающие на такие инструментальные разделы. <...> В „Диапсалматах“ <...> читатель присутствует при настройке инструмента <...> Это <...> не афоризмы, но звучания музыки мысли» (Мир Кьеркегора. М., 1994. С. 95). Ср.: вводная заметка первого выпуска журнала Кьеркегора «Мгновение» называлась «Настройка».

est in actis, non est in mundo[103] — и из апологии религии против ее догматического изложения получился бы донос на саму божественную власть через посредство ее собственной экзегезы. Затемненность, обрыв притчевой интенции — следствия Просвещения: чем более оно сводит объективное к человеческому, тем сумрачнее, тем не проницаемее становятся для человека очертания существующего, которое он никогда не мог полностью растворить в субъективном и из которого тем не менее отфильтровывал все ему знакомое. На этот откат Просвещения к мифологии Кафка реагирует в духе Просвещения. Его произведения часто сравнивали с каббалой. Насколько обоснованны такие сопоставления, могут судить только знатоки соответствующих текстов. Но если в самом деле иудейская мистика в своей поздней фазе исчезает в тени Просвещения, то появляется возможность прояснить вопрос о сродстве представителя позднего Просвещения Кафки с антиномичной мистикой.

---

[103] Примечания: 103
Чего нет в документах, того нет на свете *(лат.).*

9

Говоря иначе, антиномична у Кафки теология — если о таковой вообще может идти речь — по отношению к тому самому Богу, представление о котором Лессинг отстаивал в споре с ортодоксами, по отношению к Богу Просвещения. Но это deus absconditus.[104] Кафка становится обвинителем диалектической теологии, к адептам которой его ошибочно причисляют. Ее «принципиально иное» смыкается с мифическими силами. Этот совершенно абстрактный, неопределенный, очищенный от всех антропоморфно-мифологических атрибутов Бог становится, как рок, многозначным и угрожающим, вызывая лишь испуг и дрожь. Его «чистота», подражающая тому духу, который у Кафки экспрессионистская аутичность возвышает до абсолютного, воспроизводит в ужасе перед решительно неизвестным древнейшее состояние растворенного в природе человека. Творчество Кафки останавливает то мгновение истины, когда очищенная вера раскрывается как нечистая, а демифологизация — как демонология. Но он все же остается

---

[104] Примечания: 104
Незримый Бог *(лат.).*

человеком Просвещения, пытаясь исправить выступающий в таком обличье миф и еще раз, словно в апелляционном суде, возбудить против него процесс. Вариации мифов, обнаруженные в его наследии, засвидетельствовали его усилия по такой правке. Сам роман «Процесс» представляет собой процесс над процессом. Мотивы кьеркегоровского «Страха и трепета» близки Кафке не как наследнику, а как критику. В кафковских апелляциях к тому, кого это может касаться, суд над человеком описывается с целью изобличения права, в мифическом характере которого он не оставляет никаких сомнений. В одном месте «Процесса»[105] упоминается богиня справедливости, которая по совместительству является также богиней войны и охоты. Кьеркегоровское учение об объективном отчаянии распространяется на саму абсолютную аутичность. Абсолютное отчуждение, покинувшее существование, из которого оно себя вычло, рассматривается как ад, каковым оно в самом себе было, еще не зная этого, уже у Кьеркегора. Если рассматривать этот ад с точки зрения спасения, кафкианское художническое очуждение как средство сделать видимым

[105] Примечания: 105
В седьмой главе.

объективное отчуждение легитимизируется содержанием. Своим творчеством Кафка строит некое мнимое изображение, в котором творение выглядит таким поврежденным и «пространшенным», каким, по его представлениям, должен был бы выглядеть ад. Известно, что религия иудеев уже Тацитом клеймилась как «перевернутая»: так же «перевернуто» в средние века пытали и казнили евреев: осужденных подвешивали вниз головой. И так, как в бесконечные часы умирания должны были видеть земную поверхность эти жертвы, — так фотографирует ее землемер Кафка. Лишь такой ценой — ценой ничем не облегченных мук, не дешевле, дается ему эта оптика спасения. Причислять его к пессимистам, к экзистенциалистам отчаяния или к учителям спасения — было бы ошибкой. Он уважал вердикт Ницше, вынесенный словам «оптимизм» и «пессимизм».[106] Оптимальный источник света — тот, который позволяет увидеть сияние ада в разломах этого мира. Но то, что было светом

[106] Примечания: 106

«Со дня на день уменьшается повод употреблять их; лишь болтуны нынче все еще не могут обойтись без них. <…> Мир не хорош и не дурен — и еще менее есть лучший или худший из миров. <…> От хулящего или славословящего миропонимания мы во всяком случае должны уклониться» (*Ницше Ф.* Человеческое, слишком человеческое, I, 28; пер. С. Л. Франка).

и тенью в диалектической теологии, меняется местами. Абсолютное не поворачивается к ограниченному созданию своей абсурдной стороной (доктрина, которая уже у Кьеркегора вела не только к парадоксальности, но и к вещам похуже, а у Кафки привела к интронизации безумия) — это мир, саморазоблачаясь, показывает себя таким абсурдным, каким воспринял бы его intellectus archetypus.[107] Срединное царство ограниченного, увиденное ангельским взглядом художника, предстает инфернальным. В такие дали заводит Кафка экспрессионизм. Субъект объективирует себя, расторгая последнее соглашение с миром. Этому, однако, как будто противоречит то, что по хрестоматии положено вычитывать из Кафки, — равно как и предания о том византийском почтении, которое он как частное лицо по-своему выражал властям предержащим. Но многими отмечавшаяся ирония подобных его изъявлений сама уже стала хрестоматийной. Не смирение Кафка проповедовал, а рекомендовал самое испытанное средство противодействия мифу: хитрость. Для него единственная, мельчайшая, слабейшая возможность не допустить, чтобы

[107] Примечания: 107
Архетипичный интеллект *(лат.).*

мир оказался в конечном счете прав, — это признать его правоту. Нужно, как младшему сыну из сказки, быть тише воды и ниже травы, прикидываться беззащитной жертвой, не требовать себе справедливой доли по мирскому обычаю — по тому обычаю обмена, который беспрестанно воспроизводит несправедливость. Юмор Кафки стремится умиротворить миф посредством своеобразной мимикрии. В этом он тоже следует той через Гегеля и Маркса восходящей к гомеровскому мифу традиции Просвещения, в соответствии с которой спонтанное деяние, акт свободы есть проявление объективной тенденции. Однако с тех пор тяжесть бремени существования и, вместе с нею, неистинность абстрактной утопии переросли все пределы соразмерности субъекту.

Словно отступив на тысячелетия назад, Кафка ищет спасения в усвоении силы противника. Чары о-веществления должны быть разрушены тем, что субъект сам себя о-веществляет. Что на его долю выпало, то и должно свершиться. «Психология — в последний раз»: оставив души в гардеробе, фигуры Кафки появляются в тот момент общественной борьбы, когда единственный шанс буржуазного индивида заключается в отрицании им своего собственного состава и того классового

положения, которое заставляет его быть тем, что он есть. Подобно своему соотечественнику Густаву Малеру, Кафка на стороне дезертиров с фронта общественной борьбы. Место высшего бюргерского понятия достоинства человека занимает у него благотворное напоминание о звероподобии человека — тема целого ряда его рассказов. Погружение во внутреннее пространство индивидуации, «самостановление», которое завершается в таком самоосознании, наталкивается на принцип индивидуации, на то, что санкционировано философией, на мифическое упорство. Попытка исправить положение состоит в отказе субъекта от этого упорства. Кафка не прославляет мир подчинением, он противится ему ненасилием. Перед лицом такого сопротивления власть должна признать себя тем, что она есть: он надеется только на это. Миф должен погибнуть от собственного отражения. Герои «Процесса» и «Замка» виновны не потому, что на них лежит вина, — нет ее на них; они виновны в том, что попытались добиться для себя справедливости. («Первородный грех, то есть древняя несправедливость, совершенная человеком, это тот упрек, который человек высказал и от которого не отказался, — упрек в том, что несправедливость

совершена по отношению к нему, что первородно согрешили против него»).[108] Потому-то в их умных речах, особенно в речах землемера, есть что-то глуповатое, придурковатое, наивное; здравая рассудительность его героев лишь усиливает заблуждения, против которых они протестуют. Так или иначе, мир требует овеществления субъекта, и Кафка хочет, пожалуй, еще и превзойти в этом мир: вестью о субботнем покое становится заупокойная. Вот оборотная сторона кафковской доктрины неудавшейся смерти: то, что поврежденное творение уже не может умереть, есть единственное обещание бессмертия, которое поэт Просвещения Кафка не казнит запретом изображения. Это связано со спасением вещей, и именно тех, которые, не будучи больше вплетены во взаимосвязь вины, стали необменными, ненужными. Им соответствует у него самый глубинный пласт значений, относящихся к устаревшему. Мир его идей совпадает, как в Оклахомском Открытом Натур-театре, с миром неликвидов; никакой theologumenon[109] не мог

[108] Примечания: 108

Из заметок Кафки, изданных посмертно под заглавием «Er» («Он»).

[109] Примечания: 109

Теологическое исследование *(лат.)* — название одного из не дошедших до нас сочинений Аристотеля.

бы описать его точнее, чем название одной американской кинокомедии: «Shopworn angel».[110] Когда в интерьерах человеческого жилья поселяется беда, убежища детства — нежилые углы, лестничные площадки — становятся убежищами надежды. Воскрешение из мертвых должно было бы происходить на автомобильном кладбище. Невиновность ненужного создает контрапункт к паразитическому. «Праздность — мать всех пороков и дочь всех добродетелей». Творчество Кафки свидетельствует: в этом запутавшемся мире все позитивное, всякий жизненный вклад и даже — почти что можно так подумать — самая работа по воссозданию жизни лишь увеличивает путаницу. «Создавать негативное — эта задача еще возложена на нас; позитивное нам уже дано».[111] Средством излечения от полубессмысленной, непроживаемой жизни могла бы стать лишь полная ее бессмысленность. Так происходит братание Кафки со смертью. Творение получает преимущество перед живым. Самость — глубиннейший пласт залегания мифа — разбивается вдребезги, отброшенная как иллюзия

---

[110] Примечания: 110
Залежалый ангел *(англ.).*

[111] Примечания: 111
Афоризм № 27 из «Рассуждений о грехе...».

голой природы. «Художник подождал, пока К. успокоится, и затем все-таки решился, поскольку не видел иного выхода, продолжить надпись. Первый же нанесенный им маленький штрих был для К. избавлением, хотя и было видно, что художник наносил его, с трудом преодолевая отвращение; не столь красив был уже и шрифт, в особенности казалось, что маловато золота: штрих вытягивался блеклый и неуверенный, только буква становилась уже очень большой. Это была буква „J“, и она была уже почти закончена, но тут художник яростно топнул ногой по могильному холмику, так что брызгами взлетела в воздух земля. Наконец К. его понял, просить у него прощения времени уже не было; обеими руками, всеми пальцами он рыл землю, которая почти не оказывала сопротивления; все, казалось, было подготовлено, тонкая земляная корка была сверху только для видимости, под ней сразу открылись обрывистые стенки большой дыры, и К., опрокинутый на спину каким-то мягким дуновением, канул в нее. Но в то время как он — все еще вытягивая шею — уже погружался вниз, в непроглядную глубину, наверху его чудо-

вищно изукрашенное имя мчалось по камню.[112] Восхищенный этой картиной, он проснулся». Не душа живая, но одно лишь имя, проступающее сквозь естественную смерть, расписывается в получении бессмертия.

[112] Примечания: 112

Имя героя Joseph. Адорно приводит окончание фрагмента «Ein Traum» («Сон»).

Герберт Ноткин
ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Процесс» Кафка писал в период с августа 1914 по январь 1915 года. Непосредственным толчком к началу работы послужил, видимо, разрыв его первой помолвки с Фелицей Бауэр и учиненный над ним в связи с этим «суд» друзей и родных. Берлинский отель «Асканийский двор», в котором произошло это знаменательное событие, Кафка называет в дневнике «судебным двором». Вообще, дневниковые записи и письма к невесте дают основания считать, что отношения с Фелицей связываются в сознании Кафки с представлениями о наказании и подчинении. Элиас Канетти в своем романе-эссе «Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице» пишет: «Процесс, который в течение двух лет развивался в переписке между ним и Фелицей, стал превращаться в нечто другое — в тот „Процесс“, который известен теперь каждому. Да, это тот же самый процесс, Кафка хорошо освоил его механику, и пусть он вобрал в себя неизмеримо больше, чем можно обнаружить в одних

только письмах, — это не должно обмануть нас относительно идентичности обоих процессов. …Официальная помолвка на квартире у Бауэров 1 июня 1914 года и, полтора месяца спустя, 12 июля, „суд“ в „Асканийском подворье“… Остается доказать, что эмоциональное содержание обоих событий самым непосредственным образом вошло в роман „Процесс“, писать который Кафка начал в августе. Помолвка стала арестом первой главы, „суд“ — сценой казни в последней».[113] Доказательства Канетти вполне убедительны; не подвергая их сомнению, отметим, однако, указание ряда исследователей на то, что Кафка испытывал чувство вины не только по отношению к невольно обманутой им девушке, но и по отношению к собственному призванию писателя: для него попытка устроить свою личную жизнь сродни предательству дела жизни (тема предательства в разных вариациях постоянно возникает в романе).

В качестве литературных источников большинство исследователей называют Кьеркегора («…Он — с той же стороны мира. Он подтверждает меня, как друг» — писал о нем Кафка в

---

[113] Примечания: 113

Иностранная литература. 1993. № 7. С. 167–168. Пер. М. Рудницкого.

дневнике) и Достоевского (в особенности, «Двойник», «Преступление и наказание» и сибирские письма, которые Кафка читал непосредственно перед началом работы над «Процессом», в июне 1914 года).

Первые черновые наброски к роману появились в дневнике Кафки 29 июля 1914 года, но в роман они не вошли. Собственно работа над книгой была начата в десятых числах августа и в довольно интенсивном режиме продолжалась до октября. Творческий и эмоциональный подъем (может быть, вызванный чувством освобождения после разрыва помолвки) проявляется как в одновременной работе над несколькими вещами — параллельно «Процессу» он, в частности, пишет рассказ «В исправительной колонии», — так и в отходе от обычного для него «линейного» развертывания замысла: нарушая фабульную последовательность, он создает вначале «рамку» — первую и последнюю главы, а затем «берет в работу» то одну, то другую сцену, не всегда доводя их до завершения. Но к октябрю его энергия иссякает, работать становится все труднее. Он берет неделю отпуска, «чтобы продвинуть роман», потом еще неделю, но занимается, похоже, не тем, чем собирался: во время отпуска он заканчивает

«Исправительную колонию». Дальше работа идет уже рывками, потом — урывками. 19 января в дневнике появляется видение меча, воткнутого в спину спящему древним рыцарем из его сна, а 20 января 1915 года — запись: «Конец писанию». И действительно, в конце января Кафка отложил рукопись и к работе над ней больше уже не возвращался. В 1919 году в сборнике «Сельский врач» он опубликовал два фрагмента романа («Перед Законом» и «Сон»), саму же рукопись, никак ее не упорядочивая — отсутствовало даже заглавие, вместо него стояла одна только буква «П», — передал весной 1920 года Максу Броду, у которого она и осталась.

В 1925 году, спустя год после смерти друга, Макс Брод опубликовал неполный вариант рукописи в берлинском издательстве «Die Schmiede» — это была первая большая публикация из наследия Франца Кафки, а также первое представление в качестве романиста писателя, до тех пор известного лишь своими рассказами. Появление книги стало событием: на публикацию, помимо профессиональных критиков, откликнулись такие писатели, как Герман Гессе, Курт Тухольский, Альфред Деблин, Томас Манн; этот год, собственно, и стал годом рождения великого писателя и

его всемирной — увы, посмертной — славы.

При последующих переизданиях — как это было и при публикациях «Замка» — происходили «последовательные приближения» к оригинальному тексту рукописи. Второе издание «Процесса» вышло в 1935 году в виде третьего тома «Собрания сочинений» Франца Кафки в берлинском издательстве «Schocken Verlag». В этой публикации Брод убрал некоторые свои стилистические поправки и перестановки частей текста, а кроме того, дал в приложении неоконченные главы и вычеркнутые автором места. Окончательный вариант текста, подготовленный М. Бродом, был опубликован в третьем издании в составе «Собрания сочинений» Кафки (Schocken Books Inc., Нью-Йорк, 1946; первое лицензионное издание: S. Fischer, Франкфурт-на-Майне, 1950). В 1990 году во франкфуртском издательстве S. Fischer под редакцией Малькольма Пэсли вышло критическое издание «Процесса», в котором текст рукописи воспроизведен аутентично.

Тем не менее проблема аутентичного воспроизведения оригинального текста и в этом последнем — аутентичном! — издании не была окончательно решена (по отношению к Кафке вообще ничего не удается решить окончатель-

но). Дело в том, что, хотя Кафка и снабдил главы заголовками, но он не пронумеровал их; в 1925 году, готовя рукопись к публикации, Макс Брод определял последовательность глав во многом интуитивно и не мог быть вполне в ней уверен. В 1946 году он «признался», что поставленная им пятой глава «Каратель», по-видимому, планировалась автором в качестве второй. Некоторые позднейшие комментаторы считают, что она должна была идти третьей, но единого мнения о последовательности глав до сих пор нет. И не будет, поскольку первоначально скомпонованную рукопись сам Кафка разрознил по границам глав, очевидно, с намерением расположить их иначе. Поэтому теперь все специалисты, указывающие, как именно должны быть расставлены главы, имеют на это примерно равные права, и не потому, что Кафки нет и «все позволено», а потому, что никому не дано узнать окончательное решение Кафки: его не знал еще и он сам. Так, читатель вправе удивиться упомянутому «признанию» Брода: как это глава «Каратель» может быть второй, когда в ней есть прямая ссылка на главу «Первое слушание», а значит, порядковый номер главы «Каратель» может быть только третьим — или большим. Брод, следовательно, ошибся? Нет.

В исходной рукописи окончание первой главы «Арест» и начало главы «Каратель» написаны на одном листе! Понятно, что впоследствии автор собирался передвинуть «Карателя», но — куда?

В отношении заключительной части романа Макс Брод в послесловии к первому изданию писал: «Перед имеющейся заключительной главой должны были быть описаны еще несколько этапов этого таинственного Процесса. Но поскольку, согласно устным замечаниям автора, этот Процесс никогда не дойдет до суда высшей инстанции, то роман, в известном смысле, вообще не может быть закончен, то есть конец его уходит в бесконечность». Это соображение вполне согласуется с отмеченной выше возможностью перестановки законченных глав и еще более затрудняет определение порядка следования глав неоконченных. Один из возможных вариантов предлагает Хартмут Биндер:[114] после главы шестой — «Фрагмент» и «У Эльзы»; после седьмой — «Прокурор» (начало этого отрывка было написано на том же листе, на который Кафка переписал последние фразы седьмой главы); после восьмой — «Борьба с заместителем

---

[114] Примечания: 114
Kafka-Kommentar. München, 1976. S. 162ff

директора» и «Дом»; после девятой — «Поездка к матери»; изъятый из рукописи и опубликованный отдельно фрагмент «Сон», скорее всего, связан с финальной сценой.

В тридцатые годы в разных странах начинают выходить переводы «Процесса». Вот краткая хронология их появления:

1933 год — Италия, Норвегия, Франция,
1936 — Польша,
1937 — Англия, США,
1939 — Аргентина,
1945 — Швеция,
1947 — Финляндия,
1948 — Нидерланды,
1951 — Израиль,
1953 — Югославия, Япония.

В 1965 году в издательстве «Прогресс» выходит знаменитый «черный томик» Кафки: «Роман. Новеллы. Притчи»; в его состав входит только основной текст «Процесса» в переводе Р. Райт-Ковалевой, приложения к роману остаются непереведенными (по-видимому, опубликовать их в то время было невозможно: уже само появление книжки было маленьким подцензурным чудом, включение фрагментов придало бы публикации некий академический характер, и такая

попытка несомненно была бы сочтена «подрывом основ»). В 1970 году в Италии, в Турине также выходит русский перевод «Процесса» — и также без приложений, но с предисловием Георгия Адамовича (фамилия переводчика и наименование издательства в выходных данных отсутствуют).

В настоящем издании впервые на русском языке публикуется полный перевод «Процесса», выполненный автором этих строк по тексту последнего подготовленного Максом Бродом издания «Собрания сочинений» Кафки.

Обратимся теперь к истории восприятия романа. Эффект, который произвела публикация «Процесса», лучше всего проиллюстрировать на примере одного из первых серьезных откликов — рецензии Курта Тухольского, появившейся в еженедельнике «Die Weltbuhne» 9 марта 1926 года. Удивление, восторг, смущение, досада и восхищение — пожалуй, каждый читатель Кафки найдет здесь отражение тех чувств, которые испытал он сам; это тем более любопытно, что Курт Тухольский был весьма проницательным критиком и уже в 1921 году назвал Кафку представителем классической немецкой прозы. Мы приведем этот отклик с небольшими сокращениями, как правило опуская те места, где Тухольский пе-

ресказывает или цитирует роман (перевод по тексту: Tucholsky K. Gesammelte Werke. Reinbeck bei Hamburg, 1960. Bd. 2. S. 372–376):[115]

«Я закрываю самую зловещую и самую сильную книгу последних лет, „Процесс“ Франца Кафки, и с трудом отдаю себе отчет, в чем причина испытанного мной потрясения. Кто это говорит? Что это?

Первая глава. Два представителя суда пришли арестовывать героя, но они его совсем не арестовывают; „надзиратель“, сидя за ночным столиком, допрашивает его — и он может идти в свой банк. Он свободен. Пожалуйста, вы свободны… А процесс идет.

Все мы, начав читать какую-то книгу, после двадцатой или тридцатой страницы уже, что ни говори, понимаем, с какого рода литературой мы столкнулись, что это за автор, куда он клонит, всерьез он все это пишет или нет, какое — примерно — место мы отведем этой книге в ряду других. Но здесь ты не понимаешь ничего, ты бредешь ощупью в темноте. Что это? Кто это говорит?

Процесс идет, но что это за процесс — не сказано. Человек, очевидно, обвиняется в каком-то

---

[115] Примечания: 115
Подробнее см.: Kafka-Handbuch. Stuttgart, 1979. Bd. 2.

прегрешении, но нигде не сказано, что это за прегрешение. Это не земная юрисдикция, но тогда — какая? Какая-то, прости Господи, аллегорическая? Но повествование продолжается — автор продолжает его с нерушимым спокойствием, — и вскоре я замечаю, что оно совсем не аллегорическое. Начинаешь заниматься толкованием — и ничего не можешь истолковать. Ну, просто ничего. Читаешь, но не знаешь — что.

И совершенно незаметно идея вещи начинает зацеплять тебя; она проникает в тебя, но никакие фрейдисты не объяснят и никакие высокоученые слова не помогут понять, как это происходит.

Выясняется, что Йозеф К. попал в какую-то гигантскую машину, в существующую, работающую, смазанную судебную машину.

(Тухольский пересказывает и цитирует фрагмент главы „Каратель“) ...Я привел этот отрывок, чтобы показать, как составляется жуткая смесь строго реального с неземным, как рядом с учрежденческими клерками возникает черно-кожаный каратель, словно вырезанный из какой-то мазохистской фотографии; палка поднимается и опускается... Процесс идет.

Для процесса нужен адвокат. К. находит его, но тут, кажется, книга уже совершенно отрывается

от земли и, словно какой-то черный шар, повисает в пространстве. У К. появляется товарищ по несчастью, жалкий, забитый, маленький человечек, который существует при адвокате, и есть еще унтер-адвокаты и обер-адвокаты, и самое ужасное, что никто не может увидеть вершину этой пирамиды, никто, кажется, никогда не достигал такой высоты…

Так это, значит, сатира на юстицию? Ничего подобного.

С тем же успехом можно было бы сказать, что „Исправительная колония“ — это сатира на милитаризм, а „Превращение“ — сатира на буржуазию. Нет, это самодовлеющие произведения, которые не позволяют исчерпать себя толкованием.

Преданнейший друг автора, Макс Брод, написавший восхитительное послесловие к роману, рассказал нам, что вещь осталась в виде фрагментов. Это чувствуется, однако мои ощущения в этом плане несколько отличались от высказанных им, и по моей просьбе Макс Брод любезно сообщил мне свое понимание этой вещи. Вот оно:

„Процесс, который здесь ведется, это тот вечный процесс, который всякому тонко чувствующему человеку приходится всю жизнь вести

против своей совести. Герой, К., держит ответ перед своим внутренним судьей. Это призрачное судопроизводство совершается в самых невзрачнейших местах, причем так, что кажущаяся правота всегда на стороне К. Точно так же и мы „правы“ в спорах с нашей совестью и стараемся преуменьшить значение того, что она нам говорит. Необычна лишь чреватая неприятностями чувствительность к внутреннему голосу, которая с каждым шагом становится все острее.

С самим Кафкой о толкованиях, естественно, говорить было невозможно, несмотря даже на самые близкие дружеские отношения. Сам же он толковал так, что эти толкования, в свою очередь, нуждались в толкованиях. И окончательное решение — так же, как и в его „Процессе“ — всегда оказывается невозможным“.

Само собой разумеется, что „Процесс“ — об этом говорит в своем послесловии и Брод — никогда не мыслился автором как аллегория. Он с самого начала задумывался как символ, этот символ обрел теперь самостоятельность, он живет своей собственной жизнью. И это та еще жизнь…

(Тухольский пересказывает и цитирует сцену у Титорелли, заканчивая цитату фразой: „Но ведь судебные канцелярии помещаются почти на всех

чердаках, почему же их не должно быть именно здесь?“)

Так это, значит, сон? По моему ощущению, не может быть ничего абсурднее, чем пытаться прикрепить к Кафке такой затрепанный ярлык. Это куда больше, чем сон. Это сон наяву. Что-то подобное по необузданности бывает еще только в эротических детских фантазиях…

Но книга не безумна, она совершенно рассудочна, по идее она так же рассудочна, как бывают рассудительны некоторые сумасшедшие, она логична, она математически упорядочена, в ней как раз отсутствует та малая примесь иррациональности, которая только и дает разумному человеку внутреннюю опору. Нет ничего страшнее чистой математики рассудка, потому что нет ничего более зловещего. Но Кафка — художник редкостного масштаба, и эта ультралогическая основная идея вся увита самыми реалистическими порождениями фантазии. И уже не возникает более вопроса, существует ли все это, — это существует, это так же истинно, как то, что в исправительной колонии работает машина для убийства, так же истинно, как то, что тот коммивояжер превратился однажды в жука… — это все так и есть.

Как герой умирает, это каждый пусть прочтет

сам. Его последние минуты — видение неслыханной силы. Книга заканчивается оптической иллюзией, которую я не хотел бы вырывать из контекста; это — старинная фотография, внушающая ужас, который нельзя забыть.

За годы, прошедшие со дня его смерти, Франц Кафка вырос. Никого уже не нужно уговаривать войти в его мир: этот мир затягивает. Здесь стены оживают, а шкафы и комоды начинают перешептываться, здесь люди застывают, их связи распадаются, и они остаются стоять, словно налитые свинцом, и только желание еще слегка трепещет в них. Рассказывают, что когда-то Тамерлан приказал замуровать пленных в стену, сложить из них кричащую стену, которая медленно застывала. Вот и здесь происходит что-то в этом роде. Какой-то бог переустраивает мир и складывает его заново; в небо восходит чье-то сердце, но не светит, а бьется; какой-то идол меняет лик, какой-то аппарат оживает только потому, что оказался здесь, и вопрос „почему?“ оказывается таким дурацким, — почти таким же дурацким, как и в реальном мире.

Все части этого мира на месте, но они увидены так, как пациент перед операцией видит инструменты хирурга: предельно резко, чрезмер-

но отчетливо, совершенно осязаемо, и однако за этими сверкающими предметами есть еще что-то другое; из всех пор сочится страх, стоит беспощадный операционный стол. — Имей же сострадание! — говорит больной: — И ты..! Но стол стоит так отчужденно… еще бы, он ведь с ними заодно.

Такой волей создаются секты и религии, а Кафка написал книги, — редкостные, недостижимые книги, которые никогда не будут прочитаны до конца. Имей этот творец иную направленность и родись он в Азии, миллионы людей схватились бы за его слова и размышляли над ними во все дни своей жизни.

На нашу долго выпало читать, удивляться и благодарить».

Отрыв романа от всякой исторической конкретики, его смущающая неопределенность, а также влияние послесловия Макса Брода определили метафизически-религиозный характер первых прочтений, что отразилось в откликах и рецензиях 20-х годов. В то же время были «естественно-реалистические» интерпретации, усматривавшие основной смысл романа в изображении ситуации человека, утрачивающего в условиях смутного времени всякую духовную

опору. И, естественно, не обошлось без психологических прочтений с уклоном в патографию; так, один критик сравнивал «Процесс» с «Inferno»[116] Стриндберга и обнаруживал у обоих авторов смесь врожденной недоверчивости с завышенной самооценкой, другой улавливал близость атмосферы романа и духовного мира примитивного сознания, исследованного Леви-Брюлем, а третий ничтоже сумняшеся ставил автору психиатрический диагноз.

В откликах на второе и, в особенности, на третье, послевоенное издание тенденция реалистической трактовки несколько усилилась; в частности, Дьердь Лукач (1958) рассматривал роман как изображение ситуации потерявшего уверенность в самом себе декадента эпохи конца габсбургской монархии.

В 50-е годы нарастает буквально вал публикаций, в которых роман анализируется с теологических, философских, психологических, политических, а позднее — и с формально-эстетических позиций. Во многих работах, в частности, в эссе Адорно (1953) роман рассматривается как пророчество национал-социалистического и

[116] Примечания: 116

Автобиографический роман писателя, страдавшего, как известно, психическим расстройством.

— шире — тоталитарного террора. В религиозном прочтении Мартина Бубера (1957) основным содержанием романа становится стремление к искуплению извечного человеческого греха и тоска по спасению души. И. Хенель (1963), также обсуждая мотив вины, говорит об экзистенциальной вине, пониманию которой мешает духовная слепота героя. В. Эмрих (1960) полагает, что действительность романа означает совокупное земное бытие, некий модельный мир, представляющий человеческую ситуацию. Х. Политцер (1965) видит в герое типичного современного человека, который не способен к самореализации, и арест — это символ невыносимой противоречивости его существования. Ряд авторов (в частности, Р. Гароди) обращают особое внимание на тему отчуждения человека, а в некоторых работах утверждается, что выбранная форма рассказа с позиции героя вообще исключает предметность изображаемого, и, например, неуловимый суд представляет мир в качестве лишенного всякого смысла пустого пространства.

И это лишь отдельные примеры. Противоречивость многообразных воззрений (библиография посвященных Кафке работ уже к началу 60-х годов насчитывала более пяти тысяч публикаций) сама

по себе говорит о том, что проблема истолкования романа и после всех предпринятых попыток осталась нерешенной. Да и вообще, «однозначные и категоричные утверждения, основанные на представлении об абсолютности истины и непреложности понимания, противоречат самой эстетике многозначной неопределенности текста; сомнительная правомерность таких утверждений находит отражение и в романе — в попытках героя понять, что за суд его обвиняет».[117]

Остановимся теперь на некоторых интерпретациях содержания романа, представляющих особый интерес.

Одним из первых на публикацию «Процесса» откликнулся Герман Гессе в 1925 году: «…редкостная, захватывающая, дарящая радость книга». В ней, по его словам, «возникает жуткая, напоминающая отражение в вогнутом зеркале мнимая реальность. Поначалу она действует, как ужасный сон, подавляя и устрашая, пока читатель не постигнет тайного смысла этого сочинения… Смысл его поэзии… — не в искусстве исполнения, а в религиозном чувстве. …Ибо речь здесь не о

[117] Примечания: 117
Kafka-Handbuch. Bd. 2. S. 422.

том или ином отдельном прегрешении, из-за которого обвиняемый оказывается перед судом, а об извечной греховности всякой жизни, что искупить невозможно».[118]

В 1935 году, когда «Процесс» вышел вторым изданием, Гессе писал: «Основная проблема Кафки — отчаянное одиночество человека, конфликт между глубоким, страстным желанием понять смысл жизни и сомнительностью любой попытки наделить ее таковым — исследована в этом великолепном, увлекательном романе с проницательностью, от которой приходишь в отчаяние, это устрашающее и почти жестокое произведение. Но в гнетущем, по сути дела, лишающем надежд романе каждая деталь несет в себе столько красоты, столько нежности и тонких наблюдений, дышит такой любовью и выполнена с таким искусством, что злые чары обращаются в благие, неизбывная трагедия бессмысленности существования оказывается проникнутой предчувствием благости и внушает мысли не кощунственные, а смиренные».[119] Разумеется, в

---

[118] Примечания: 118

Гессе Г. Письма по кругу. М., 1987. С. 249–250. Пер. Н. А. Темчиной и А. Н. Темчина.

[119] Примечания: 119

Там же. С. 251.

восприятии Гессе отразился и опыт его собственных духовных исканий.

Совершенно иное впечатление произвел роман на Георгия Адамовича (не будем забывать, что их отклики разделяют несколько десятилетий); в предисловии к упоминавшемуся туринскому изданию «Процесса» он пишет: «В чем заключается содержание „Процесса“, да впрочем и всех других повестей и рассказов Кафки, если отделить их сущность от фабулы, от бесчисленных, зорко подмеченных, отчетливо и кропотливо обрисованных бытовых мелочей? В нескольких словах это содержание можно бы определить так: человек есть раб, а кто или что над ним безраздельно властвует, неизвестно никому. С человеком может произойти все, решительно все, без того, чтобы кто-либо оказался в состоянии оправдать или хотя бы только мотивировать происшедшее. Борьба бесполезна, бессмысленна, призрачна: бороться не с кем и не с чем, пустая трата сил ни к чему не приведет, и Иосиф К., ищущий опоры, помощи, совета, суетится и мечется именно бессмысленно. Кто превратил его из свободного, преуспевающего по службе человека в затравленное, ошеломленное существо? Иосиф К. этого не знает. Кафка этого не объясняет. „Закон“,

говорит он. Но это Закон с прописной буквы, не подлежащий отмене или пересмотру, очевидно возникающий вместе с возникновением мира. В мире, может быть, и есть порядок, но это порядок нам непонятный и к нашей участи безразличный».[120]

Мысль о том, что в «Процессе» воплощено представление об абсурдности человеческого существования в чуждом ему мире, высказал Альбер Камю в работе «Надежда и абсурд в творчестве Франца Кафки», опубликованной в 1948 году в качестве приложения к «Мифу о Сизифе». Но Камю говорит и о том, какими средствами это сделано. «Вполне понятно, что в „Процессе“ речь идет о человеческом уделе. Это несомненно, но в то же время все и проще, и сложнее. Я хочу сказать, что у романа особый, глубоко личный смысл. В известной мере он говорит от первого лица, словно исповедуется. Он живет, и он осужден. Он осознает это на первых страницах романа, действие которого развертывается в этом мире, и даже, пытаясь избегнуть кары, не удивляется ей. Удивительней всего то, что он вообще ничему не удивляется. По этим проти-

[120] Примечания: 120
Кафка Ф. Процесс. Torino, 1970. С. 6–7.

воречиям узнаются черты абсурдного романа. Трагедия уже перенесена в конкретное. Эта проекция осуществляется при помощи постоянно возобновляющихся парадоксов, позволяющих выразить пустоту посредством цвета и дающих повседневным жестам возможность претворения вечных устремлений».[121]

Указания на символический характер произведений Кафки и сближение изображаемых им картин с картинами сновидений стали уже обидим местом кафковедения. Тем не менее у Теодора Адорно свой взгляд на этот счет (как, впрочем, и почти на все остальное): «Вообще, если эстетическое понятие символа (с которым далеко не все в порядке) должно означать нечто существенное, то лишь то, что отдельные моменты художественного произведения выводят к тому, что выше их: они сливаются в некую „тотальность“, безобрывно перетекающую в смысл. Но менее всего это подходит к Кафке.

Авторитет Кафки — это авторитет его текстов. Тут уж если что и поможет, то лишь верность букве, а не предвзятое понимание». — Это выглядит почти прямой полемикой с высказываниями

---

[121] Примечания: 121

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 94. Пер. А. М. Руткевича.

Камю: «…детальная интерпретация Кафки невозможна. Символ пребывает в стихии всеобщего… буквальный перевод символа невозможен. Нет ничего труднее понимания символического произведения. Символ всегда возвышается над тем, кто к нему прибегает: автор неизбежно говорит больше, чем хотел».[122] В то же время и Камю предостерегает далее от предвзятости и, что особенно любопытно, от поиска истоков: «Поэтому самым верным средством уловления символа будет отказ от употребления других символов при истолковании, подход к произведению без предвзятых схем, без отыскания его тайных истоков. В случае Кафки следует честно принять правила игры, подойти к драме со стороны ее внешнего проявления, а к роману — через его форму».

Но, разумеется, это не единственный подход; так, Эрих Фромм в своей книге «Забытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов» пишет: «„Процесс“ Франца Кафки — выдающийся пример произведения, написанного на языке символов. Как и во многих сновидениях, здесь представлены события, каждое из которых само по себе конкретно и реалистично,

---

[122] Примечания: 122
Там же. С. 93.

но общая картина при этом неправдоподобна и фантастична. Чтобы понять этот роман, его нужно читать так, как будто вам рассказывают сон — длинный, сложный сон, в котором внешние события, происходящие в пространстве и во времени, выражают мысли и чувства человека, видящего сон, в данном случае — героя романа Йозефа К.»[123] Разумеется, сон понимается здесь не как «небывалая комбинация бывалых впечатлений» — такая формула механической смеси имеет малое отношение к языку символов. «Язык символов — это язык, в котором внешний мир есть символ внутреннего мира, символ души и разума».[124] Связь символа и сна требует пояснения, и Фромм дает его на примере, который приоткрывает и один из истоков творчества Кафки: «Возьмем, например, состояние, когда мы испытываем чувство потерянности, опустошенности, когда все представляется в сером цвете, мир пугает, хотя на самом деле никакой опасности нет. Вам хочется рассказать о вашем состоянии другу, но вы вновь и вновь ловите себя на том, что с трудом подбираете слова, и в конце

---

[123] Примечания: 123

Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 292. Пер. Т. И. Перепеловой.

[124] Примечания: 124

Там же. С. 185.

концов видите, что ничего из сказанного вами не годится для того, чтобы передать многочисленные оттенки вашего состояния. Ночью вам снится сон. Вы видите себя на окраине какого-то большого города перед самым рассветом, улицы пустынны, ездят лишь молочные фургоны, дома выглядят убого, все вокруг чужое, вам не на чем добраться до знакомых мест, откуда вы, должно быть, сюда попали. Когда вы просыпаетесь и вспоминаете свой сон, вы вдруг осознаете, что во сне испытывали именно это чувство потерянности и серости, о котором накануне пытались рассказать своему другу. Перед вами предстала всего лишь картина, и вы наблюдали ее менее секунды. И все же эта картина гораздо живее и точнее передает ваше состояние, чем рассказ о нем. Картина, которую вы видите во сне, есть символ того, что вы чувствуете».[125] Это древний и мощный язык. Валерий Подорога в работе «Ф. Кафка. Конструкция сновидения» дает такую формулу: «…сно-видящий глаз высвобождает из видимого потенциальную энергию невидимого и движется на ее волне в мгновенном огляде

[125] Примечания: 125
Фромм Э. Душа человека. С. 185.

мира».[126] Для понимания сказанного Кафкой ограничиться только логикой, только анализом, только буквальным прочтением текста не удается. Об этом говорит Фромм: «То, что кажется причинно-следственной цепочкой внешних событий, есть выражение смены состояний души, находящихся между собой в ассоциативной внутренней связи. Эта связь так же логична, как и последовательность внешних событий, но это уже другая логика».[127]

В другой своей работе, «Человек для самого себя», Эрих Фромм, рассматривая на материале «Процесса» взаимосвязь между авторитарной и гуманистической совестью, в свою очередь касается проблемы вины героя: «…его действительная вина заключалась в том, что он понапрасну растратил жизнь и не мог ничего в ней изменить, потому что не понимал настоящей своей вины. Трагедия его в том, что он наконец понял, чем бы могла быть его жизнь, но было уже слишком поздно».[128]

---

[126] Примечания: 126
Логос. 1994. № 5. С. 146.

[127] Примечания: 127
Там же. С. 190.

[128] Примечания: 128
Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993. С. 134. Пер. Е. А. Жуковой.

Сходное мнение высказывает и Морис Бланшо: «Грех Йозефа, как несомненно и тот, в котором Кафка упрекает самого себя во время написания этой книги, состоит в том, чтобы хотеть выиграть процесс в самом мире, которому он считает себя принадлежащим, но где его остывшее и пустое сердце, его существование холостяка и бюрократа, его безразличие к семье — все эти черты, найденные Кафкой в самом себе, — не позволяют ему обосноваться».[129] И далее: «Процесс имеет, по крайней мере, то преимущество, что позволяет К. узнать, как в действительности обстоят дела, рассеять иллюзию, обманные утешения, которые, в силу того, что у него была хорошая работа и несколько незначительных удовольствий, позволили ему верить, что он существует, существует как человек мира».

Чтобы подвести некоторые «предварительные итоги» многочисленных попыток интерпретации «Процесса», обратимся снова к Георгию Адамовичу. Упомянув притчу о Законе, он пишет, что этот фрагмент «вызвал в западной критике, пожалуй, больше комментариев, чем какие-либо другие страницы Франца Кафки. Некоторые из них инте-

---

[129] Примечания: 129

Бланшо М. От Кафки к Кафке. М., 1998. С. 113–114. Пер. Д. Кротовой.

ресны, находчивы, остроумны, содержательны. Но едва только тот или иной критик пытается объяснить этот рассказ, — объяснить, то есть свести его к чему-то логически приемлемому, — как безнадежность подобной попытки становится очевидной: разуму в творчестве Кафки делать нечего».[130] Вывод, пожалуй, чересчур категоричный (еще одно «окончательное решение»), но основания для него есть. В качестве резюме можно привести весьма изящные высказывания Бланшо: «Мнения комментаторов не слишком расходятся (из продолжения цитаты сейчас будет видно, что Бланшо несколько противоречит самому себе, но это свидетельствует лишь о том, что он на верном пути „от Кафки к Кафке“. — *Г. Н.*). Они употребляют приблизительно одни и те же слова: абсурд, совпадение, стремление найти себе место в мире, неспособность в нем удержаться, желание Бога, отсутствие Бога, отчаяние, беспокойство. И все же, о ком они говорят? Для одних — это религиозный мыслитель, верящий в абсолют, даже возлагающий на него надежды, во всяком случае, без конца борющийся, чтобы его достичь. Для других — это гуманист, который

[130] Примечания: 130
Там же. С. 12.

живет в мире, не имея прибежища, и, чтобы не приумножать в нем беспорядка, остается по возможности неподвижным».[131] «Тот, кто придерживается повествования, погружается, не отдавая себе отчета, в нечто темное, а тот, кто придерживается смысла, не может достичь тьмы, в отношении которой смысл оказывается разоблачительным светом. Два читателя никак не могут воссоединиться, мы становимся то одним, то другим, мы понимаем то слишком много, то слишком мало из того, что требуется понять. Настоящее прочтение остается невозможным».[132] «Эти тексты отражают болезнь чтения, пытающегося сохранить и загадку, и ее разрешение; непонимание и выражение этого непонимания возможность чтения при невозможности интерпретации прочитанного. Даже двойственность не удовлетворяет нас…».[133]

Задержимся на этой особенности романа, чрезвычайно важной и для восприятия всего творчества Кафки. Альбер Камю в цитированной

---

[131] Примечания: 131
Бланшо М. От Кафки к Кафке. С. 61.

[132] Примечания: 132
Там же.

[133] Примечания: 133
Там же. С. 62.

выше работе писал: «Искусство Кафки вынуждает вновь и вновь перечитывать его произведения. Его развязки (или отсутствие таковых) подсказывают объяснения, но последние только приоткрывают завесу и требуют — чтобы выглядеть обоснованными — чтения заново, под иным углом зрения. Иногда возможны два истолкования, откуда также возникает необходимость повторного прочтения. Этого и добивается автор».[134] Заметим в скобках, что этого добивается не автор: этому автору ничего от нас не нужно, подобно суду из его романа, он принимает нас, когда мы к нему приходим, и отпускает, когда мы уходим. Но мы не можем уйти. И добивается этого произведение. (Автор лишь кое-где позволяет себе полуиронический намек. Вспомните совершенно одинаковые картины художника Титорелли. Это абсурд? Да, если не увидеть в этом проникновенно-комически выраженного обращения всякого произведения искусства к зрителю: «посмотри, посмотри еще раз!»). Но все классические произведения тем и отличаются, что их глубина не исчерпывается однократным прочтением. В чем же особенность Кафки? В

[134] Примечания: 134
Там же. С. 93.

органичной многомерности не только изображаемого, но и изображения. Его изображения можно было бы назвать «голографическими»: измените вашу точку зрения — и картина изменится, и вы сможете увидеть то, что было от вас скрыто. Однако если вы захотите для проверки впечатления вернуться на вашу прежнюю точку зрения, вы окажетесь в некотором замешательстве: картина не восстанавливается в своем первоначальном виде, она снова меняется. Но на это уже и голография не способна, такая изменчивость — это уже свойство живого объекта. Да. Живой объект в этом процессе действительно присутствует, этот объект — вы. С изменением точки зрения менялось не только изображение, менялись и вы. И вернуться вам уже не удается, пока вы перебирались с точки на точку зрения, эти изображения необратимо изменили вас самих. Вы скажете, что это уже не анализ, а аналогии и эмоции на почве мистики и магии. Возможно. Но и мистика выплывает, и магия длится уже три четверти века (проза Кафки была названа «магическим реализмом» еще в 1927 году).

Оставим мистику Кафки, этого «Нострадамуса XX века», веку грядущему и зададимся вопросом: в чем, собственно, его магия, в чем ее, так сказать,

«материальная основа»? Отчасти в том, на что указал в своих блестящих «Заметках о Кафке» Теодор Адорно, — в эффекте непрерывного déjà vu, в пробуждении «ложной памяти». Это — поразительное свойство текстов Кафки: мы все это словно бы уже знаем, и механизм воздействия ускользает. Мы воспринимаем его тексты, как ультрафиолетовые лучи, — не осознавая, как мы это делаем. Мы можем лишь смутно ощущать, как подбором ускользающих слов, интонацией, искренностью, прячущейся за невозмутимо нейтральным изложением, улыбкой, проступающей сквозь эту невозмутимость, и еще какой-то прикосновенностью к спрятанному в нас он передает то, что не имеет названия, потому что это, как имя мифического героя, нельзя называть: назовешь — уплывет. Камю пишет: «Секрет Кафки в… фундаментальной двусмысленности. Он все время балансирует между естественным и необычайным, личным и универсальным, трагическим и повседневным, абсурдом и логикой. Эти колебания проходят сквозь все его произведения и придают им звучание и значимость».[135] Но почему? в чем основа этого звучания и этой

[135] Примечания: 135
Камю А. Бунтующий человек. С. 94.

значимости? Или его колебания, его двусмысленность — просто формальный прием, некое «остранение», нечто сродни известной актерской уловке: «…если не знаешь, как играть, играй странно»? Но тогда должно было появиться много равных ему писателей, ведь формальные приемы поддаются воспроизведению, а подражателей Кафке несть числа. Не появилось ни одного. С другой стороны, если его неоднозначность — искусственный прием, тогда в записях, сделанных для себя, в дневнике, он должен был бы писать иначе, проще, яснее. Этого нет. Вот как характеризует его «приватный стиль» Жорж Батай: «Когда Кафка решал четко выразить свою мысль, он всегда осуществлял задуманное (в своем дневнике или просто на страницах лирических отступлений), но в каждом слове оказывался тайник (он возводил опасные сооружения, где слова не подчинялись логическому порядку, а налезали одно на другое, будто хотели удивить и запутать, будто они были адресованы самому автору, казалось, не устающему постоянно переходить от удивления к заблуждению)».[136] В чем же здесь дело? Разумеется, дело во внутреннем устройстве душевного

[136] Примечания: 136

Батай Ж. Литература и зло. М., 1994. С. 106. Пер. Н. В. Бунтман.

аппарата Кафки, в том, на что он был настроен и что он был способен выразить. Все дело в предмете описания. Кафка пишет то, что нельзя, но очень хочется прочесть: он передает в словах то, для чего в языке нет слов, он переводит в текст взгляды, интонации, неосознанные намерения и неоформившиеся душевные движения. Но все это — область несформулированного, неопределенного, и отнюдь не по формальным причинам, а именно в силу этого своеобразного «соотношения неопределенности»: чем глубже изображаемое, тем менее определенное выражение оно допускает, — возникают двусмысленности, колебания, неустойчивая зыбкость связей, утративших жесткий причинно-следственный характер; так возникают парадоксы, расщепления простых, кажущихся элементарными объяснений и мотивов, их отрицания и перетолкования — достаточно вспомнить толкования притчи о Законе, — а естественной материальной средой, «носителем», формой для выражения этого ускользающего содержания служат ситуации реальной или возможной неопределенности, именно поэтому столь характерные для произведений Кафки вообще. И поэтому в тексте романа так много условных форм, так часто возникают

эти внешне манерные «словно», «как будто», «как если бы», — это не манера, это душа. Поэтому и слова у Кафки настолько часто означают не то, что значат, и говорят не то, что сказано, что кажется, будто это просто вошло у них в привычку. И уже не удивляешься их намеренному озорству, когда описания мест коллективного пользования превращаются в описания причинных мест, архитектурно-планировочные подробности оборачиваются анатомическими, а ответом на вопрос «как пройти?» становится наставление на путь истинный, истинность которого внушает сомнения.

Такие изменчивые конструкции требуют соответствующего строительного материала — и в тексте возникают многозначные слова, порождающие раздвоение смысла. (Один броский пример: орудие наказания охранников в главе «Каратель» обозначено словом Rute, а Rute — это и «прут, розга», и «мужской половой орган».) К этому же ряду выразительных средств относятся и отдельные «говорящие фамилии». Кроме того, одни и те же значимые слова возникают в романе в разных частях текста и в разных контекстах, нечувствительно связывая их. Так, «непоколебимо» сидящими цилиндрами на головах палачей

начинается последняя глава и «непоколебимой» логикой она заканчивается, а «неизменный» вой, который звучит в судебных канцеляриях, оказывается таким же «неизменным» и в банке. В одних случаях смысл возникающих связей очевиден, в других он не столь прозрачен, но совершенно ясно, что эти переклички везде неслучайны; экономия классического текста не терпит «праздношатающихся» слов. (Неоднозначность возникает у Кафки даже там, где ее, возможно, и не должно было быть. Вспомните, как зовут дядю героя. В начале шестой главы он появляется как «дядя Карл», но чуть позже представляется адвокату уже как Альберт. Это можно объяснить «техническими причинами»: в незавершенных вещах такие расхождения встречаются, достаточно вспомнить «Неточку Незванову» Достоевского. Это можно объяснить и рационально: у дяди могло быть двойное имя, для племянника он Карл, а для старого друга и соученика — Альберт. Но это не так важно, существеннее здесь момент неопределенности, колебаний, выбора, потому что именно это приводит к многозначности, проявляющейся даже в таких забавных деталях.)

Надо отметить, что иногда игра значений и

смыслов непритязательна и едва ли не вульгарна. В этом смысле «Процесс», пожалуй, уникальное явление во всем творчестве Кафки: нигде более трагедия не смешивается столь явно с фарсом и нигде более нам не приходится всматриваться в бездны бытия сквозь щель рискованного анекдота. Так, например, метафизика двери, о которой писал Мартин Бубер в связи с притчей о Законе, насмешливо сопрягается в романе с эротическим символом непорочности. Мы к этому не готовы, и мы этого от Кафки не ждем. А почему, собственно? По свидетельству Макса Брода, когда Кафка читал в кругу друзей первые главы романа, и сам автор, и слушатели хохотали. Томас Манн называл Кафку религиозным юмористом. Мы открываем Кафку не для того, чтобы смеяться? Но тот, кто слишком хорошо знает, для чего он открывает Кафку, рискует ошибиться. Впрочем, в Кафке не ошибался лишь тот, кто не ошибался в себе. Поэтому неудивительно, что попытки понять его продолжаются уже на новом уровне, на основе достижений современной герменевтики, трудов Гадамера и Хабермаса. Это естественно и это прекрасно, но послушаем еще раз Георгия Адамовича:

«Литература — слишком зыбкое дело, слиш-

ком широкое и разностороннее понятие, чтобы можно было подвести ее сущность под формулы, близкие к математическим. Что поймем мы в творчестве Кафки, в духовной исключительности этого творчества, ограничившись рассмотрением того, как это „сделано“, как „устроен“, например, роман „Процесс“?».[137]

Произведение литературы нельзя «разобрать», об этом замечательно сказал Владимир Набоков в своей лекции, посвященной подробнейшему разбору рассказа Ф. Кафки «Превращение»: «Можно разъять рассказ, можно выяснить, как подогнаны одна к другой его детали, как соотносятся части его структуры; но в вас должна быть какая-то клетка, какой-то ген, зародыш, способный завибрировать в ответ на ощущения, которых вы не можете ни определить, ни игнорировать».[138]

В нас есть этот ген, и мы не утратим способности читать, понимать и любить.

Г. Ноткин

---

[137] Примечания: 137
Кафка Ф. Процесс. Torino, 1970. С. 4–5.

[138] Примечания: 138
Иностранная литература. 1997. № 11. С. 214. Пер. В. Голышева.